

избранное  
Треденшиков  
Теории



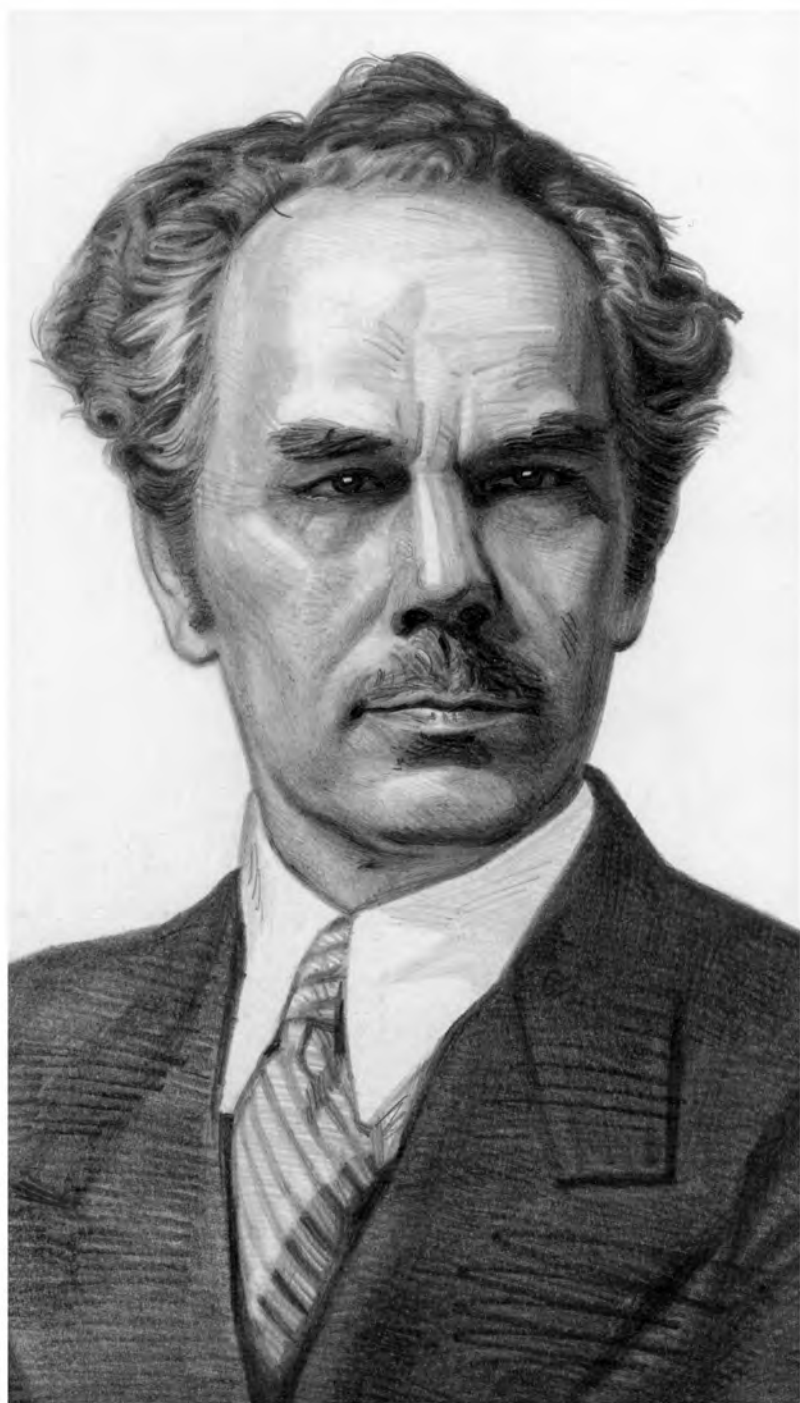












избранное

Треденщиков  
Теории

БАРНАУЛ  
2022

Издание подготовлено по заказу и при финансовой поддержке  
Правительства Алтайского края  
в рамках губернаторского издательского проекта

**Гребенщиков Г. Д.**

Г79 Избранное / Георгий Гребенщиков ; [ред.-сост.  
А. В. Онофрейчук] ; М-во культуры Алт. края, Гос. музей  
истории лит., искусства и культуры Алтая. — 2-е изд.,  
изм. — Барнаул : Алтайский дом печати, 2022. — 480 с. :  
[1] лит. порт.

ISBN 978-5-98550-546-7

Творчество Г.Д.Гребенщикова можно считать выдающимся явлением не только сибирской, но и русской литературы начала XX в. Его художественные и публицистические произведения, посвященные различным сторонам быта алтайской деревни, личности крестьянина, его религиозному мировоззрению, а также проблемам коренных народов были высоко оценены критиками.

Издание включает в себя избранные повести, рассказы и очерки сибирского периода жизни писателя, ставшие отправной точкой его литературной деятельности.

Книга адресована широкому кругу читателей и любителей литературы.

ISBN 978-5-98550-546-7

ББК 84(2Рос-Рус)1-4

© Г. Д. Гребенщиков, 2022

© КГБУ «Государственный музей истории литературы,  
искусства и культуры Алтая», 2022

© КГБУ «Алтайская краевая универсальная  
научная библиотека им. В. Я. Шишкова», 2022



## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В настоящее время имя русского сибирского писателя Георгия Гребенщикова (1883?-1964) все чаще звучит как на его малой родине, Алтае, так и по всей России. К его творчеству обращаются исследователи, издаются сборники его произведений. Спадает постепенно пелена забвения, коей он, покинувший родину в 1920 г., был покрыт практически весь период Советской власти.

Первые попытки приподнять ее предпринял еще при жизни Георгия Дмитриевича литературовед Н. Н. Яновский. Собирая материал для «Краткой литературной энциклопедии» (1962–1978), а затем и для серии «Литературное наследство Сибири» (1969–1988), он переписывался с женой Г.Д. Гребенщикова Татьяной Денисовной (сам писатель в то время тяжело болел и не мог отвечать на письма) с целью уточнения его биографических данных, а также провел внушительную работу по составлению списка публицистических и литературных произведений Г.Д. Гребенщикова, опубликованных в дореволюционной сибирской периодике. Полученная информация легла в основу статьи «Георгий Гребенщиков в Сибири», которая сопровождала первый и единственный в СССР сборник произведений Г.Д. Гребенщикова «Чураевы», вышедший в серии «Литературные памятники Сибири» в 1982 г., и на долгое время стала определяющей в изучении сибирского периода жизни писателя. Именно она открывает данное издание.

Значительный вклад в исследование и популяризацию творческого наследия Г.Д. Гребенщикова внесла кандидат филологических наук, доцент Алтайского государственного университета Т.Г. Черняева (1947–2020). Под ее редакцией вышли сборники «В просторах Алтая» (Бийск, 2006), «Сибирские повести и рассказы» (Бийск, т. 1-2, 2007-2008), «Письма в Сибирь и Петербург» (Бийск, т. 1-2, 2008, 2010), а также «Собрание сочинений Г.Д. Гребенщикова в шести томах» (Барнаул, 2013), получившее награду как «Лучший издательский проект» 2013 года.

Первое биографическое издание о сибирском классике «Сын Белухи. Жизнь Георгия Гребенщикова» (Барнаул, 2021), вышедшее в серии «Алтай. Судьба. Эпоха», подготовил российский историк-востоковед, кандидат философских наук, доктор исторических наук, заведующий отделом наследия Рерихов Музея Востока В. А. Росов. Справедливо указывая в предисловии, что как большой писатель — романист и драматург — Г.Д. Гребенщиков раскрылся за рубежом, он отмечает, однако, и то, что «литературная судьба Гребенщикова неразрывно связана с Алтаем. Его лучшие романы, пьесы, рассказы написаны на алтайском материале», и с этим трудно не согласиться.

В данное издание вошли как избранные произведения художественной прозы, так и некоторые публицистические очерки Г.Д. Гребенщикова, написанные им в сибирский период жизни и демонстрирующие любовь и уважение автора не только к прекрасной природе Сибири и Алтая, но и, что важно, к людям, живущим здесь и нашедшим-таки в лице писателя «своего певца». Можно сказать, что это и есть тот исток, который спустя время вольготно разольется в крупных литературных формах, таких как роман-эпопея «Чураевы» или

«Былина о Микуле Буяновиче», и в полную мощь явит себя в автобиографической повести «Егоркина жизнь».

При подготовке текстов повестей, рассказов и очерков к публикации они были приведены в соответствие с современными нормами и правилами, при этом сохранены (в большинстве) индивидуальные особенности авторской орфографии и пунктуации. Пропущенные в оригиналах слова взяты в угловые скобки. Встречающиеся устаревшие слова и выражения из народного быта, религиозные и другие специализированные термины, а также фамилии, упоминаемые Г.Д. Гребенщиковым в очерках, снабжены сносками внизу страницы и пронумерованными (в квадратных скобках) ссылками на примечания, помещенные в конце книги.

*А. В. Онофрейчук*





## Н. Н. ЯНОВСКИЙ

### Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВ В СИБИРИ

С 1910 года в столичной печати все чаще и чаще стали появляться произведения Георгия Гребенщикова — в «Сибирских вопросах», в горьковских журналах «Современник» и «Летопись», в «Ежемесячном журнале» Миролубова. В 1913 году в Петербурге вышел первый том повестей и рассказов Гребенщикова «В просторах Сибири», в 1915 — второй. Вслед за этим появились сборники по преимуществу новых рассказов — «Змей Горыныч» (Петроград, 1916), «Степь да небо» (Петроград, 1917). Помимо положительных оценок этих книг в тогдашней периодике, теперь известны отзывы таких писателей, как В. Г. Короленко, А. М. Горький, А. И. Куприн.

В. Г. Короленко писал дочери из Италии: «А знаешь, Наталочка, книга Гребенщикова, которую ты — помнишь? — похвалила в Болье (сибирские рассказы), действительно оказалась хороша. Хочу написать автору»<sup>1</sup>.

А. М. Горький, рекомендуя рассказы Гребенщикова для журнала «Современник», советовал В. С. Миролубову: «Обратите внимание на рассказы Гребенщикова. Автор — сын алтайского калмыка и донской казачки, молодой парень, самоучка, ныне постоянный и видный сотрудник «Сибирской жизни». Рассказы, помещенные в этой газете, очень хороши»<sup>2</sup>.

А. И. Куприн, по свидетельству Ф. А. Березовского, сказал после знакомства с книгами Гребен-

---

<sup>1</sup> Отдел рукописей ГБЛ, ф. 135, 11, 4, 20.

<sup>2</sup> Материалы в исследовании. Литературный архив. Т. III, М.: АН СССР, 1941, с. 55. (Здесь и далее в статье примечания Н. Яновского)

щикова: «Наше поколение писателей может быть спокойно за судьбы русской литературы... ибо вместо нас останутся молодые и талантливые — Гребенщиков, Чаплыгин и другие»<sup>1</sup>.

Имена эти названы у Куприна не случайно. После революции 1905 года в самом деле выдвинулась целая группа талантливых писателей из народа — И. Вольнов, А. Чаплыгин, И. Касаткин, А. Бибиц, С. Подъячев. Среди них занял свое место и выходец из алтайских крестьян Георгий Дмитриевич Гребенщиков. В 1916 году в лекции, названной «Судьбы русской литературы», А. И. Куприн так определяет характер идейно-стилевого направления, берущего свое начало от Л. Толстого и А. Чехова: «В Москве теперь сложилась школа бытовиков, кропотливых описателей окраин: Шмелев, Замятин, Тренев, Верхоустинский, Гребенщиков и другие. Мы не знаем своей родины, а ее нужно знать. Поэтому роль этой школы весьма крупная». Иначе сказать, речь идет у Куприна о реализме, активно познающем мир. С ним он связывает будущее русской литературы.

В Сибири 1910-х годов Гребенщиков приобрел довольно широкую популярность наряду с Вяч. Шишковым, А. Новоселовым, Г. Вяткиным, И. Тачаловым, И. Гольдбергом... Но имя его современному читателю почти неизвестно. Это объясняется тем, что большую часть жизни Гребенщиков провел за рубежом и произведения его в Советской России не издавались. Он эмигрировал в сентябре 1920 года из Крыма сначала в Турцию, затем во Францию (1921) и в США (1924), где и умер 11 января 1964 года.

Причина выезда за границу в тот самый сложный момент была, естественно, мировоззренческой. Этого вопроса ниже мы коснемся подробнее. Здесь же следует сказать, что по сохранившимся документам — воспоминаниям, письмам и произведениям — видно, что писатель тяжело переживал эмиграцию и неоднократно выражал желание вернуться на Родину.

---

<sup>1</sup> «Сиб. Огни», 1923, № 5-6, с. 254.

Неизвестно, с чьих слов М. Горький считал, что Гребенщиков — сын алтайского калмыка. В автобиографической повести «Егоркина жизнь» (закончена в 1954 году, опубликована в 1968) Гребенщиков писал, что «дедушкин дед был калмыком», а мать происходила от потомков тех донских казаков, которые «сто, а может быть, полтора ста лет назад» прибыли в Сибирь «для охраны русских владений». Елена Петровна Гребенщикова (1850–1920) — действительно дочь вдовы-казачки, была трудолюбива, умела бойко читать (писать так и не выучилась), знала бесчисленное количество народных песен и хорошо, душевно их исполняла. Отец Гребенщикова, Дмитрий Лукич (1844–1920) — сын горнозаводского служащего по «конторской части», образования не получил (по письменному совсем плохо читал), рано начал работать на руднике (отборщиком), а с 1888 года стал хлебопашцем.

Хозяйство Гребенщиконовых было скудное — несколько десятин земли и одна лошадь, а детей много — четыре сына и две дочери. Кроме Егора, который родился третьим — 24 апреля (ст. ст.) 1882 года [1], — никто из семьи тогда не учился. Егора отец взял на лесозаготовки с экзамена за четвертый класс. Так и остался он на всю жизнь с неоконченным... начальным. И с этого 1894 года начались мытарства Егора по людям.

С согласия матери, но тайно от отца он был отвезен в Семипалатинск для поступления к мастеру каучуковых и штемпельных дел. Через два месяца, несправедливо обвиненный в воровстве, убегает и работает мойщиком посуды на заводе фруктовых и шипучих вод. Вскоре за хороший почерк Егора берут в аптеку, где он служит более года. Городской врач, заметив старательного и смышленного мальчугана, берет его в больницу санитаром. Работа тяжелая, но нравится Егору, и он делает попытку сдать экзамены в фельдшерскую школу в Омске, но тер-

пит неудачу и остается не у дел. В 1898 году отец отвез его к лесничему в Шемонаиху. Здесь Гребенщиков много месяцев «выписывал билеты на порубку, забавлял детей лесничего и читал». «Унизительная была эта служба», — скажет он впоследствии в автобиографии. Но тут же произойдет и нечто необычное: «Напал на «Записки охотника», и точно с глаз моих повязка спала. Вся эта цветущая природа — вот она, за окном, за рекой Убой. Как же я ее не видел! Раньше для меня это была лишь «пашня» с тяжелой работой. Теперь это красивый божий сад. Отсюда и пошло расти то любопытство к жизни, к природе, литературе, которое в следующие десять лет сделало из меня начинающего писателя»<sup>1</sup>.

«Унизительная служба» продолжалась до тех пор, пока лесничий не разыграл Егора в карты. «Да, да, — рассказывает писатель в «Егоркиной жизни». — Приехал сам исправник... остался на карты и однажды... приказал Егору собирать свои пожитки...» Подростка с хорошим почерком увезли в Змеево, где он сначала работал писцом в полиции, а потом, через три месяца стал, писарем у мирового судьи Цвилинского в Шемонаихе.

Судья Цвилинский был хорошим юристом, культурным, начитанным и добрым человеком. Вместе со своей тетюшкой он руководил чтением Егора, учил его писарскому делу, поведению в обществе. Тетюшка Цвилинского — вспоминал писатель все в той же «Егоркиной жизни» — «сама принесет в канцелярию книжку, проэкзаменует». Строгая, чопорная, наказывала: «Читай, но хорошо служи. Жалование не за чтение получаешь». Гребенщиков оказался усердным книгоцеем, способным учеником. В 1902 году нотариус из Семипалатинска пригласил Гребенщикова на работу в качестве старшего письмоводителя с приличной оплатой. Он согласился, быстро обжился, завел в 45 верстах от города хозяйство, поселил туда родителей, женил-

---

<sup>1</sup> Клейнборг Л. М. Очерки народной литературы. (1880—1923), Л.: Сеятель, 1924, с. 150.



ся. Так на 21 году жизни, отработав по найму более восьми лет, Гребенщиков приобрел и положение, и независимость.

В 1905 году в газете «Семипалатинский листок» под псевдонимом «Крестьянин Г-щ...» появились первые печатные произведения Гребенщикова. Это были рассказы, очерки, статьи, стихи и корреспонденции. В апреле 1906 года уже издана книга «Отголоски сибирских окраин», куда вошли многие из напечатанных в «Листке» произведений под настоящим именем.

Ни эту первую свою книгу, ни тот факт, что он писал под псевдонимом «Крестьянин Г-щ...» автор упорно нигде не упоминал, считая началом творческой работы 1906 год и первым произведением — «Васюткин праздник». Очевидно, он быстро понял незрелость этой книги.

Однако и произведения, появившиеся в «Семипалатинском листке» в грозный 1905 год, и сама книга, которую автор явно поспешил издать, точно передают чувства, настроения и образ мыслей начинающего писателя.

Показательно, что «Крестьянин Г-щ...» выступает в 1905 году по двум злободневнейшим вопросам — о войне с Японией и о русском крестьянстве, от состояния и позиции которого многое зависело в дни революции.

Писатель осуждал войну с Японией. Авторская позиция выражается в рассказе «Наяву бредят». Вечер в доме статского советника. Сам хозяин и его гости — чиновники и офицеры — жаждут продолжения войны. «Помилуйте, господа, просить мира, да ведь это позор», — говорит полковник. «Просить мира теперь, когда действительно все проиграно, было бы весьма глупо», — вторит ему чиновник. И только один «молодой человек» возмущен, он всех обвиняет в лицемерии и в равнодушии к судьбам своих соотечественников, погибающих на

фронтах, и прежде чем уйти, хлопнув дверью, восклицает: «Да мы все в бреду, вся Россия в бреду, в ненормальном состоянии все ее члены... Полечиться бы надо!..» «Молодой человек» требует немедленного прекращения войны.

Три публицистических выступления — «О мужике», «О деревенской бабе», «В дороге» — своеобразное политическое кредо автора в тот момент, так как все они о бедственном положении русского крестьянства.

Отвечая на прямо поставленный вопрос: что такое мужик, автор статьи сначала напоминает о том, что не есть мужик, хотя живет он, как все, в деревне. Это — кабатчик, торговец или какой-нибудь Евлан Мартыныч, разбогатевший в неурожайные годы. Мужик — это тот, у кого «ни избы как след, ни скотинушки, ни одежды, пашет на измученных лошаденках, у богатого работает». «А между тем, — с пафосом обобщает автор, — мужик — это ядро государства, это наш столп общества, главный трудовой двигатель его, двигатель подневольный, из-за куска хлеба, двигатель, находящийся в условиях не лучших каторжного работника».

Здесь сказались народнические воззрения молодого Гребенщикова, однако его критическое отношение к сложившимся в деревне взаимоотношениям мужика и богатея, мужика и начальства несомненно.

Самый первый из известных нам рассказов Гребенщикова «Нахал» настолько беспомощен, что вряд ли стоило его здесь упоминать, ели бы он не послужил основой для пьесы «Сын народа», завершённой в 1907 году; 14 апреля 1908 года она впервые была поставлена в Усть-Каменогорске и имела успех у зрителей.

В пьесе изображался молодой человек из крестьян, который рвался к знаниям, читал Дарвина и Энгельса, Достоевского и Толстого, хотел понять

современное ему общество, изменить судьбу крестьянина. В городе, куда он приехал учиться, он добрался до третьего курса университета и вдруг оставил его. Это «дикое» и «безумное» решение, по определению его товарищей-студентов, было вызвано разочарованием в городской жизни — он не увидел в ней смысла и цели. Кроме того, он узнал, что его родная деревня становится все более и более нищей, нуждающейся в разумной оздоровляющей силе. «Ах, ты идешь спасти народ!» — смеялись над ним. Федор отвечал: «Не спасать, а спасаться. А народ спасает себя сам».

Твердость Федора, его жажда правды и реального дела, безусловно, вызвали симпатии зрителей. Пьеса шла в Томске и в Омске. Однако печать идейной ограниченности пьесы налицо. Автор развивает все тот же тезис, окончательно изживший себя после революции: деревне нужны в первую очередь образованные просветители и лучше, если из среды самого народа.

«Васюткин праздник» (1906) имеет подзаголовок «рождественский рассказ». Но нет в нем традиционной для таких произведений умиленности. В нем — суровая правда о гибели всей Васюткиной семьи. Умер крестьянин Софонов, оставив жену с тремя детьми. Очень скоро наступил для них час испытания голодом, и решилась мать перед рождеством поехать с грудным ребенком в другие села за обильным подаванием. Дорогой, сбившись в пути, они замерзли. Характерно, что его высокородие, глава местного уезда, повстречал в поле повозку Федосьи, но помочь ей не пожелал — из начальственного презрения к черни, из-за душевной черствости.

Публицистические статьи и рассказы, входившие и не входившие в книгу «Отголоски сибирской окраины», рассказ-зарисовка «Васюткин праздник» и пьеса «Сын народа» идейно в той или иной степени

отвечали потребностям революционного времени, входили в тот поток, который прямо или косвенно противостоял охранительным тенденциям.

В 1908 году Гребенщиков начинает печататься в популярной тогда газете «Сибирская жизнь» (Томск), а в конце года сам организует газету «Омское слово», издававшуюся почти полгода (с декабря 1908 года по май 1909). В ней Гребенщиков впервые выступает как организатор литературы в Сибири, как редактор, журналист и профессиональный писатель.

Что это была за газета, и почему она так быстро была закрыта генерал-губернатором Степного края Шмидтом, а редактор и издатель посажены в тюрьму сроком на две недели?

Большая часть газеты была занята перепечаткой сообщений из других газет, конечно, соответствующим образом подобранных. В них, например, можно было узнать, что полиция запретила продавать в деревнях сказки Льва Толстого, военный суд Иркутска приговорил 15 человек к смертной казни за побег из Александровского центра... Корреспонденции из городков и селений, названные «письмами из захолустья», нередко насыщены взрывчатым критическим материалом: о загрязнении частными заводами вод урочища Боровое и об ужасающих условиях труда на этих заводах, о безработице в Сибири.

Интересно, что газету в качестве редакторов подписывали два тогда начинающих писателя — Г.Д. Гребенщиков и А. И. Жилияков, оба выходцы из народных низов. Естественно, что в газете печаталось немало литературных материалов — стихов, рассказов, очерков, рецензий и статей на литературные темы. В значительной степени это была и литературная газета.

Г. Гребенщиков в рецензиях и статьях довольно многословен, анализ подменяет пересказом или туманными обобщениями, где точность приносится



в жертву красоте слова. Но круг его интересов так широк, и он так часто в газете выступает, что, в конечном счете, можно более или менее ясно определить его общественные и литературные позиции. Тут рецензии на спектакли по пьесам Шекспира, Гюго, Островского, Андреева, тут рецензии на книги Сумбатова, Чирикова, Немировича-Данченко, Вяткина... И, пожалуй, ярче всего общественный темперамент Гребенщикова сказался в статье, посвященной 100-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. Целая полоса газеты отдана великому писателю, а статья Гребенщикова называлась «Плодовитость гоголевских типов». В ней автор доказывал жизненность и актуальность, прямо-таки злободневность гоголевских обобщений. Здесь Гребенщиков красноречив и ядовит. Он не только подчеркивает реальное существование собакевичей и хлестаковых во всех сферах русской жизни тех лет, но говорит и о том, что писать о них сейчас прямо и конкретно недозволено: «А вот что касается собакевичей, то их в Омске так много, что куда ни плюнь — везде Собакевич. Для такого рода типов в Омске удивительно благоприятная почва... Есть эти собакевичи и в сферах, но... Уж это проклятое «но» — так липнет язык к гортани!»

В газете Гребенщиков выступает с многочисленными рассказами, зарисовками, эскизами, набросками. В них добрые намерения автора утопали в риторике, в растянутых и слащавых пассажах, окрашенных нередко глубоким религиозным чувством.

Старик вернулся в родные, исключительные по красоте места. Он, видимо, многое пережил, во многом разочаровался, и вот здесь его охватывает умиление перед тайнами природы. «Поймите, люди, природу! — восклицает он. — Здесь есть кому молиться — чистоте и величию бога!» Для него тогда типичны такие лирические признания, выраженные в зарисовке «У подножия Алтая»: «...Молюсь

порфире царственных твоих густых лесов, ревниво спрятавших в себе неподдающиеся человеку тайны...» И одновременно появляется у Гребенщикова рассказ «Опора» (1909), тоже сентиментальный, тоже растянутый и с трепетным уважением к религиозным обрядам, но с точно и зримо написанным бытом беднейших деревенских жителей и с таким огромным сочувствием к обездоленным людям, что можно говорить уже о Гребенщикове-реалисте, осознающем необходимость такого изображения тогдашней сибирской деревни, темной, страдающей, с резкими социальными контрастами. Рассказ этот войдет потом во все отдельные издания произведений Гребенщикова и будет одобрительно встречен критикой.

После тюрьмы и ликвидации дел по газете «Омское слово» Гребенщикова осенью приглашают в Томск на должность секретаря журнала «Молодая Сибирь», созданного усилиями томского литературного кружка. Начинающий писатель поступает вольнослушателем в университет, знакомится с Г. Н. Потаниным, близко сходится с томскими литераторами. Степень участия его в журнале, прекратившем свое существование в ноябре 1909 года, ничтожно мала, он успевает опубликовать один маловыразительный рассказ «Жница». Но в новом журнале, возникшем в начале 1910 года, «Сибирская новь», он выступает уже в качестве редактора.

Состав участников нового журнала почти тот же, что и в «Молодой Сибири», но его лицо определяли теперь два человека — редактор и издатель (им был прозаик Г. Я. Крекнин). Общее его направление оставалось прежним: демократизм, критика господствовавшего общественного строя, областническая программа, требования реализма в области художественного творчества. Журнал продержался около трех месяцев, выпустив всего семь

тощих номеров. Причина его «гибели», видимо, та же самая, что и в первом случае: отсутствие средств и гнет цензуры.

Самым крупным событием в жизни Гребенщикова в 1910–1911 годах были его поездки на Алтай с целью «этнографических и бытовых наблюдений», как он писал в автобиографии. Поездки на Алтай, по настойчивому совету Г. Н. Потанина, в самом деле определяли на какое-то время характер его идейно-творческих устремлений. Во-первых, расширилось, естественно, поле наблюдений за жизнью современного общества, во-вторых, сложилось сознательное отношение к вере вообще и к старообрядчеству в особенности, обострилось внимание к так называемой инородческой проблеме, наступила пора ее художнического освоения и осмысления.

Начиная с 1911 года, Гребенщиков выступает со статьями о путешествиях по Алтаю, делает доклад о староверах на Убе в Обществе изучения Сибири (Томск), читает лекцию о бухтарминцах в Сибирском собрании Петербурга. Вскоре эти историко-этнографические очерки будут опубликованы — «Река Уба и убинские люди» (Алтайский сборник, Барнаул, 1912), «Алтайская Русь» (Алтайский альманах, С.-Петербург, 1914).

Чем интересны эти работы Гребенщикова? Прежде всего их идейным пафосом. Гребенщиков соглашается, что «староверье должно уступить духу времени», измениться, исчезнуть; рассказывает он и о расколе в расколе вплоть до их уродливых форм, замечает классовую подоплеку в стремлении сохранить некоторые патриархальные обычаи в быту («Мы не ставим такую патриархальность за образец крестьянского семейного уклада... ибо Фирсов богат не от трудов своих...»), осудительно говорит он и о том, что староверы

Убы «киргизов эксплуатируют с деспотической настойчивостью», но тут же полемически заявляет: «И если близко присмотреться к жизни простого народа долины Убы, не тронутой цивилизацией, то можно увидеть столько своеобразной красоты и прелести, что нетрудно полюбить ее больше, чем современную издерганную и выдохшуюся интеллигенцию, потерявшую пути к истинной жизни и способную только ныть и нытьем своим отравлять все светлое и яркое в жизни... Недаром же Лев Толстой... из затхлой атмосферы города звал на чистый воздух, в просторное поле народной простой жизни». Этот столь убежденно высказанный тезис, подкрепленный авторитетом Льва Толстого, хорошо объясняет появление в творчестве Гребенщикова таких рассказов, как «Убежище» или «Пришельцы».

«Убежище» — выразительный рассказ о старообрядцах Алтая, стойко вынесших все невзгоды, вызванные постоянными преследованиями за то, что книги старинные хранят, за то, что тайно по-своему молятся. Преданно, мужественно ведут себя эти люди. И давно уже из поколения в поколение передается их вера, охраняемая не только одними стариками. Ивойла Терентич и его сын Кирила успели до обыска скрыть и вывезти священные книги в лес, в пещеру, где и назначено было очередное тайное моление. Как и автор, мы невольно восхищаемся Ивойлом и Кирилой, их чистотой и цельностью.

Рассказ «Пришельцы» не связан непосредственно с верой. И все-таки он очень близок к рассказу «Убежище». Злободневная в те дни тема о переселенцах приобретает у Гребенщикова неожиданное ультраобластническое истолкование. В нем переселенцы из России изображаются как пришельцы, чуждые всему вековому экономическому и нравственно-бытовому укладу сибиря-

ков-старожилов. Сибиряки приветливы, богобоязненны, честны, бескорыстны, чистоплотны, а вот «расейские» — все наоборот. Даже элементарной благодарности за то, что их когда-то на сибирской земле приветили, они не испытывают, закабаляют сибиряков-старожилов, сживают их с насиженных мест... Налет идеализации сибирской старины, прозвучавший в очерках об Алтае, в рассказе приобрел самодовлеющее значение. Да и противопоставление такого рода политически было неуместным и по природе своей антиисторичным. М. Горький в письме к Гребенщикову заметил: «“Пришельцы” — очень уж перегружена “областным национализмом” — оставьте сей вопрос публицистам, если не чувствуете в себе силы быть объективным в этом вопросе, когда пишете рассказ»<sup>1</sup>.

Гребенщиков здесь оказался явно необъективным, и «областной национализм» еще не раз прозвучит в его ранних произведениях, хотя и не столь обнаженно. Писательское дарование Гребенщикова и впредь будет постоянно развиваться в процессе преодоления противоречий и в характере, и в мировосприятии, насыщенных крайностями. Эти противоречия, естественно, объясняются и происхождением писателя, и средой, в которой он воспитывался, созревал, и особенностями образования. События, связанные с откровенным курсом правительства на подавление революционных умонастроений и действий, усиление пораженческих тенденций после разгрома революции 1905 года, начавшееся в текущей литературе осмысление действительности с опорой на реалистические традиции Льва Толстого и Чехова, Короленко и Горького, наконец, само положение писателя из крестьян, глубоко потрясенного трагедийной судьбой своего класса, определяли свойства и особенности творчества начинающего автора.

---

<sup>1</sup> Литературное наследство Сибири. Т. 1, Новосибирск, 1969, с. 22.

В эти годы и создает Гребеншиков несколько содержательных талантливых рассказов, затрагивающих значительные общественные проблемы, акцентирующих внимание на совершенно нетерпимом положении разных народов Сибири — аборигенов сибирского края. До сих пор потрясает нас рассказ «По указу». Рассказ примечателен тем, что в нем, пожалуй, впервые с такими психологическими подробностями изображена жизнь алтайских крепостных рабочих рудничных заводов, принадлежащих так называемому Кабинету, иначе сказать, лично царю.

Калистратычу было без малого лет девяносто. Доживал он свой век на попечении всего села, кормясь и ночуя у кого-либо по очереди... Староста откровенно, без обиняков говорил ему: «Чего не умираешь? Сидишь на шее у общества. Возись с тобой — корми, пои тебя. Тут и у самих жрать-то нечего!..» И остается у старика единственное утешение — уйти на старый завод, соприкоснуться со своей молодостью, вспомнить ее, будто вчера отшумевшую. А вспоминать-то нечего, кроме непосильного труда, полуголодного существования и жестоких, бессмысленных порок... На недоуменный и возмущенный возглас молодой Авдотьи, слушающей иногда воспоминания старика, он с удивлением отвечает: «А как же? Такой устав был: не токмо шо не поспел, а коли и переробил сверх заданного, и то порка. Иной двести и даже пятьсот получить должен». Рабство было вбито прочно, возможно, навсегда, и в этом — трагедия целого поколения.

В рассказе «Свора» господствует тенденция прямолинейно-агитационного свойства, и стилистически он неприбран, но зато в тот момент очень характерен для писателя. Молодую сельскую учительницу, с жаром начавшую свою работу, пригласил к себе местный поп Семен и укорил-выговорил: зачем это она газеты крестьянам

дает? Мотив поведения у отца Семена один: он за себя боится, его в случае чего потянут, и глаза его потому наливаются злобой. Зашел еще к попу Максим Федотыч, сельский богатей, он быстро уловил суть разговора и поддержал попа: газету мужикам давать не следует, так как и без того они «всякую совесть потеряли, стыд... Да их, варнаков, розгами сечь надо, а не газету им!»

Неопытная учительница сидела испуганная и придавленная этой «сворой» деревенских хозяев, «только ее чистые доверчивые глаза расширились, темнели и говорили о неизъяснимой душевной боли...»

В это же время Гребенщиков публикует еще несколько рассказов, в которых запечатлены быт крестьянина, его характер, мирозерцание, религия, моральные устои — «В глуши», «Представление», «У хлебов», «Весною». Рассказ «Весною», например, не касается каких-либо социально-значимых проблем, как и большинство подобных рассказов, он о повседневном труде землепашца, о его весенних радостях и заботах, о природе, которую писатель любит и призывает беречь: «Артем еще поглядел на распчатый омет сена и, увидев веточку засохшей клубники, бережно взял ее в руку и съел, улыбнувшись при этом». Потом пошли привычные и радостные сборы, первая ночевка в поле и первая заря, которую Артем любил встречать на пашне, и нетерпение пахаря, и запахи свежей земли... Все это, для Артема непередаваемое, завершилось первой бороздой и первой горстью пшеницы, которую он бросил в землю. «На краю он снял шапку, перекрестился трижды и, взяв полную горсть золотистой пшеницы, смелым, привычным размахом рассыпал ее крупным дождем на землю... И величественно пошел по рыхлой черной мякоти, твердо и уверенно, как много лет хаживал». Не часто таким величественным изображался обыкновенный русский мужик в нашей литературе. Понятно, почему М. Горький, перечисляя лучшие



произведения первой книги Гребенщикова, назвал и этот рассказ. Однако наиболее значительной среди них оказалась повесть «В полях». Здесь живописный дар Гребенщикова выявился в полную силу. Его проза приобрела и строгость, и лаконизм, и возвышенность, добываемую не красивыми словосочетаниями, а внутренней гармонией всех составленных элементов повествования. Ранее в его произведениях можно было встретить описания, казавшиеся автору прекрасными: «А вот и сам царь Света в пламенной ризе и венце из золотых колосьев...» и т. п. Теперь он так оступается редко, стремясь к естественности, к поэтической содержательности картин, сцен, портретов. И сразу углубилось психологическое проникновение в душевный мир героев. Осложненные чувства Архипа, главного героя повести, рождаются из живого переплетения крестьянского быта и размышлений его о своем предназначении на земле, размышлений, непривычных для него и смутных, тревожных. Как и многие бытописательские рассказы того времени, «В полях» — произведение бессюжетное, оно держится на искреннем воодушевлении автора, трепетно влюбленного в своих крестьян, в их труд и заботу, в их глубинные человеческие переживания. И сам Гребенщиков не раз писал о страшном быте крестьян, об «идиотизме деревенской жизни» (вспомним рассказ «Колдунья», например, рассказ об изуверском избиении ни в чем не повинной молодой женщины). Здесь, «В полях», все выдержано в другом ключе, в других красках. На первом плане поэзия крестьянского труда, поэзия простой жизни, поэзия природы, с которой у крестьянина такая близкая, такая органическая взаимосвязь. И если рассказ пронизан грустью, если властно звучат в нем трагические ноты, то обусловлены они не дикостью нравов, не рабской забитостью, не фанатизмом веры — в

том смысле в большой семье Архипа все нормально и светло, — а какими-то иными причинами, лежащими в иных пластах Архиповой жизни.

Внешне Архип живет деятельно и полнокровно. Но однажды, уже на склоне лет, он по-новому, необычно услышал обычную песню лебедей, и она целый день неотступно, «как слабое эхо, откликалась внутри Архипа, бередила что-то давно забытое и сокровенное». Об этом сокровенном в душе Архипа мы узнаем лишь после того, как познакомимся с семьей Архипа и убедимся, сколь согласно и дружно она живет, как красиво и увлеченно работает в ней каждый от малого до старого, как, наконец, хороши и прочны их нравственные стремления и требования.

Источник Архиповой тоски и щемящей душу безысходности не только в обстоятельствах, могущих сложиться хуже или лучше, а еще и в духовной неудовлетворенности, Архипом завлеченная неутолимая жажда понять жизнь, самого себя и мир вокруг. Не отвлеченным философствованием о смысле жизни занимался здесь писатель, а задумывался о судьбе русского крестьянина, в котором для него все — и боль, и радость, и надежды. О сокрытых и огромных силах народа говорится в рассказе и, конечно, в духе всей его лирико-эпической тональности.

«Откуда-то издалека с полей еле слышно доносилась песня, — рассказывает Гребенщикова о своем Архипе, уставшем от тяжелых дум. — Раздольная и одинокая, она то обрывалась, исчезая где-то бесследно, то вновь плыла по заснувшим полям и, плавно качаясь, звала куда-то далеко-далеко...»

Так поэтично и с такой убеждающей энергией выражалась авторская позиция по отношению к русскому крестьянству, соприкасавшаяся тогда с позицией М. Горького и шедшая в унисон с позицией молодого

Вяч. Шишкова в рассказах того же времени «Ванька Хлюст» и «Чуйские были». В годы, когда сменовеховцы призывали интеллигенцию поосторожней общаться с народом, М. Горький поддерживал писателей, изображавших русского мужика с верой в его здоровые силы.

Архип у Гребенщикова в рассказе умирает. И причина его гибели, если разобраться, не в том лишь, что он отморозил ноги, захваченный в дороге рано упавшей зимой (не случайно дед ворчит: «Што за народ нынче стал?.. Ровно мы раньше не мерзли да не простывали!»), а в том, что он уже не мог жить по-прежнему, инерция обычной для него жизни оборвалась, а новое, промелькнувшее с мыслями о бесцельно прожитой жизни, не пришло, не успело хоть как-нибудь укрепиться в его сознании. Но умирает Архип достойно, а то, что происходит после его смерти в убитой горем семье, несет на себе отблеск последних беспокойных Архиповых дум. Размеренно, по заветному порядку совершается все в семье Архипа во время его отсутствия, болезни и смерти, но читатель ощущает, что эта обычность и размеренность теперь кажущаяся и что в народном сознании уже зреет нечто свое, необычное, новое.

Рукописи повести «В полях» и рассказа «Настасья» в числе других опубликованных произведений Гребенщиков отослал М. Горькому в 1911 году. По своему обыкновению М. Горький внимательно прочитал рассказы, ответил автору и принял меры для публикации понравившихся ему произведений.

Выход молодого писателя за пределы сибирских газет сопровождался поддержкой М. Горького. И это не было случайностью. К этому времени М. Горький уже приступил к планомерному собиранию писательских сил из крестьянской и рабочей среды. Он стремился объединить писателей-реалистов, для которых органически свойствен исторический опти-

мизм и демократизм, для которых характерен прежде всего обостренный интерес к социально-значимым вопросам и проблемам.

1912–1916 годы у Гребенщикова будут самыми плодотворными в его жизни сибирского периода, годами решительного творческого подъема, своеобразного взлета писательской популярности в среде сибирской общественности, заметного роста известности в общероссийских литературных кругах.

С начала 1912 года Гребенщиков по рекомендации Г. Н. Потанина становится редактором барнаульской газеты «Жизнь Алтая». Здесь он снова проявил себя как хороший организатор и талантливый активный журналист. Именно в эти годы он издает двухтомник рассказов и повестей «В просторах Сибири», начинает сравнительно часто печататься в столичных журналах, составляет и издает в Петербурге «Алтайский альманах», в котором публикует новые произведения И. Тачалова, Вяч. Шишкова, Ст. Исакова, В. Бахметьева, А. Пиотровского, П. Казанского и других тогда молодых писателей, активно печатавшихся в газете «Жизнь Алтая» и нередко попросту «открытых» и поддержанных Гребенщиковым. В качестве редактора газеты он проработал года полтора и примерно с год формировал литературно-художественный ее отдел.

Здесь следует обратить внимание на начавшуюся в эти годы дружбу двух писателей — Георгия Гребенщикова и Вяч. Шишкова. В 1912 году Гребенщиков писал: «Слушая эту повесть — «Суд скорый», — я с необычайным удовольствием убедился, что Вяч. Шишков, этот скромный и малозаметный писатель, способен нежно и любовно взять читательскую душу и унести ее на дальний-дальний север Сибири, как ни один еще из русских писателей, побывавших в холодном изгнании, и показать не только грустные картины тайги и тундр, но и примитивную полудетскую душу обитателя их...»<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Гребенщиков Г. Письма друзьям. — Жизнь Алтая, 1912, №237, 25. X.

Несомненно, духовная близость и питала их дружбу. Спустя много лет, в 1926 году, уже став широко известным советским писателем, Вяч. Шишков скажет в «Автобиографии»: «На одном из потанинских вечеров я познакомился с беллетристом, уже известным в Сибири, Г.Д.Гребенщиковым, который принял самое горячее участие в моих литературных начинаниях и стал моим другом»<sup>1</sup>.

Общее отношение к творчеству Гребенщикова выражено во многих шишковских документах — в автобиографиях, в рецензии, в письмах. В 1913 году Вяч. Шишков писал в рецензии на первый том книги «В просторах Сибири»: «Автор любит свою родину... Он любит Сибирь тихой влюбленностью, с оттенком грусти, с затаенными, едва уловимыми слезами, которые иной раз, однако, явственно сказываются. Он любит и по-особому чувствует дикую красоту и мощьность Алтая, любит киргизские степи с вольной жизнью ее обитателя — киргиза. Он внушает эту любовь и читателю, заражает своим настроением. У него на палитре, правда, мало ярких красок, нет бьющих в глаза слов и образов, но он умеет создать из обыкновенных будничных тонов правдивую картину жизни...»

Рецензия, как видим, характеризует не только Гребенщикова, но в какой-то мере и самого Шишкова — ведь и его произведения тех лет проникнуты тем же настроением, тем же чувством, близки гребенщikovским по целенаправленности и даже по форме. В этом отношении особенно примечательна концовка рецензии: «В таланте автора мы видим бодрую молодую силу Сибири, расправляющую свои крылья над могучей, самобытной, полной огромного интереса страной»<sup>2</sup>. Сила бодрая, страна могучая, полная огромного интереса... Мажорная тональность, замеченная у Гребенщикова, так созвучна Шишкову! В 1916 году в письме к В. И. Анучину Шишков так говорил о «Егорушкиных» возможностях и своих

<sup>1</sup> Автобиография, Вяч. Шишков. Соб. соч.: В 12-ти томах, Г. И. М. Л.; ЗИФ, 1926.

<sup>2</sup> Заветы, 1913, № 5. с. 213.

желаниях, продиктованных духом дружеского соревнования: «Егорушка уехал. Ну и способный же парнюга. Написал первую часть романа «Чураевы» — хорошая вещь... Я перед ним такая маленькая шавка, что ужаси. Сначала мне тоже все хотелось написать что-нибудь покрепче, по мере сил не отставать от Егорушки на много-то, а теперь вижу — нет, мало каши ел. Сижу, ем кашу...»<sup>1</sup>

В эти годы Гребенщиков создает несколько значительных произведений, с которыми и сегодня нельзя не считаться и в читательско-познавательном, и в историко-литературном плане.

Несомненна любовь Гребенщикова к народам Сибири. Она выражена во многих произведениях, целиком направлена против колониальной политики русского царизма. Особенность этих повестей и рассказов «Болекей ульген» (1912), «Ханство Батырбека» (1913), «На Иртыше» (1913), «Степные вороны» (1915), «Кызыл-тас» (1915) в том, что в них изображены реальные социальные процессы, характерные не для одной Сибири. Русские промышленники и кулаки набирали силу, в хозяйстве страны они начали занимать командные высоты. В равной мере закабалились и русские бедняки, и бедняки национальных меньшинств, с той существенной разницей, что представители других наций имели еще меньше прав.

Трагическая история двенадцати молодых ребят-киргизов изображена в рассказе «Степные вороны». То джут, то засуха вконец обездолили народ. Старики молятся, уповая на бога, а молодежь собралась и отправилась на постройку железной дороги. Как они откупались от местных властей, как шли-ехали, неясно представляя куда, как их дорогой избил и ограбил — все это лишь горестная прелюдия к основным событиям.

Еле добрались до каменоломни, измученные и голодные, они согласились работать на любых услови-

---

<sup>1</sup> Сиб. огни, 1961, № 4, с. 184.

ях и тем самым невольно снизили расценки работ вообще («Пошто сбиваете цену? И так, почитай што, даром робим»). Русские рабочие, испытывавшие крайнюю нужду, в них увидели виновников своих бед («Черт-от принес собак остроголовых!»). И сознательно разжигаемая правительством национальная рознь породила непримиримую вражду и национализм худшего свойства: ребят-киргизов начали преследовать. Одного из них утопили, другого зашибли бревном, третий — инициатор, единственный знавший русский язык, сбежал. Испугались оставшиеся и решили тайно уехать.

«Ехали и озирались, будто боялись, что за утопленного Тюлибайку и избитого Мусу злой урядник будет догонять их, чтобы засадить в тюрьму. Будто молчаливый и сердитый Петр Иванович, подрядчик, задержит их за то, что, убежав, они недополучили с него свои деньги. Ехали и озирались: не скажут ли откуда-нибудь русские, чтобы поймать их у хлебов и обвинить в потраве, либо в намерении украсть рабочих лошадей...»

Дорогой умер раненый Муса, и чаша терпения переполнилась: они, доведенные до отчаяния, озлобившись, угоняют табун лошадей, принадлежавший русским. За ними организована погоня. Домой вернулось только двое.

Хотел того автор или нет, но у него здесь прозвучала актуальнейшая тогда мысль: национализм, кем бы он ни исповедовался, — обоюдоострое оружие, и оно неспособно разрешить назревшие в обществе противоречия, облегчить чью-либо судьбу и, в частности, судьбу как русского, так и киргизского рабочего.

В повести «Ханство Батырбека» отношения русских и киргизов, вместе работающих на шахте, показаны Гребенщиковым иначе, без такого резкого антагонизма, как в рассказе «Степные вороны». О Сарсеке в повести сказано: «С русскими рабочи-



ми он не дружил, но и не ссорился, с любопытством присматриваясь к их еще более горькой, чем киргизская, жизни». А русские рабочие иногда добродушно подтрунивали над коноводом Ахметбайкой или косились в сторону киргизов-шахтеров и говорили между собой: «Вот, черти, ровно каменные: жрут хуже нашего, а вырабатывают вдвое больше». А жизнь шахтеров была столь неприглядной и тягостной, что даже Сарсеке, плохо понимавший по-русски, когда все-таки понимал, чем русские живут, о чем мечтают, «дивился и жалел их».

«Ханство Батырбека», по общему признанию критики, — несомненная удача Гребенщикова-художника. М. Горький напечатал повесть в «Современнике», назвав ее «в общем интересной, но местами слишком этнографической» вещь<sup>1</sup>. В. Львов-Рогачевский после публикаций повести в исправленном виде (по замечаниям Горького) высказался более определенно: «В этом сборнике «Ханство Батырбека» далеко не этнографическое описание жизни степных кочевников, а сильная, глубокая и значительная вещь, полная глубоко захватывающего драматизма и в то же время полная значения картина гибели патриархальной, первобытно-библейской жизни под натиском культуры, но культуры нашей, «российской»<sup>2</sup>.

В том-то и дело — не «культуры», а российско-го капитализма и в формах самых отвратительных — националистических, колониальных, рассчитанных на сознательное или бессознательное фактическое уничтожение народа.

Гребенщиков, как и Шишков в своих ранних рассказах, запечатлел в повести «Ханство Батырбека» картину бедствия народов Сибири в полном соответствии с действительностью и с тем, о чем неоднократно до него писали с фактами в руках ученые — С. С. Пашков, А. П. Щапов, В. В. Радлов, Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев и другие. Ядринцев,

<sup>1</sup> Горький и Сибирь. Новосибирск, 1961, с. 98.

<sup>2</sup> Ежемесячный журнал, 1910, № 1, с. 174.

например, рассказав, как русские колонизаторы «лишают инородцев последних средств пропитания» и как «джут и гибель скота во время гололедицы довершают опустошение», подчеркнет: «Трудно не заметить, что инородческое население начинает представлять сплошной пролетариат, над будущим которого стоит задуматься»<sup>1</sup>. На такого рода «пролетаризацию» и обращал внимание Гребенщиков. Он эмоционально заряжал своего читателя недоумением и негодованием, общественно столь необходимым в канун революции.

Гребенщиков создал убедительную картину вытеснения киргизов русскими купцами, промышленниками и крестьянами (чаще всего кулаками) со своих земель. Старый мир, вековой уклад рушится, хороня под своими обломками тысячи ни в чем не повинных людей. Для позиции Гребенщикова в этом произведении весьма показательны, что классовые взаимоотношения внутри «первобытного» общества кочевников рисуются отнюдь не в идиллических красках. Батырбек — хан, пусть захудалый и обедневший. Весь скот в ауле принадлежит ему. В пяти юртах живут родичи хана и пастухи. Батырбек спесив, неумен и груб. Пастуха Байгобыла, привезшего худые известия, он избивает, не зная, на ком и как сорвать свой гнев. Пастух Сарсеке вынужден помогать ему решать вопросы о вырубке лошадей, угнанных русскими за траву, «так тонко, как будто их выдумал и утверждал сам Батырбек, который сегодня выдавал вчерашний план Сарсеке уже за свой». И переговоры с русскими вел Сарсеке. Батырбек после первой комически-драматической стычки с мужиками «сидел на лошади, понурился, бледный и осунувшийся, совсем, казалось, не понимал, что у него спрашивали». Гребенщиков отлично понимал, что он рисует определенный характер, социальный тип, а не просто обличительный портрет последнего из ханов. Когда кто-то из мужиков

---

<sup>1</sup> Н. М. Ядринцев. Сибирь как колония. С-Петербург, 1982, с. 160-161.

ударил Батырбека плетью, он показал свою ханскую силу, да так, что мужики «опешили и отступили».

Многогранен образ живого степняка и по-своему неповторим, что в сочетании с поэтической легендой, так увлеченно рассказанной в самом начале повести, позволяло упрекать Гребенщикова в поэтизации былой степной вольности.

Это была легенда о том, как «знатный старый пес», состарив двух жен, пожелал взять третью — юную Алтынсы. Но у молодого Бекмурзы, далекого предка Батырбека, хватило ума и мужества состязаться со стариком в байге не на коне, а на верблюде. Необычное состязание — белый конь и белый верблюд, необычен приз — невеста Алтынсы...

На самом деле Гребенщиков рассказывал о национальной самобытности народа, по-своему выраженной и в смелом Бекмурзе, и в покорной Алтынсы, и в разорившемся Батырбеке, и в сметливом Сарсеке, уже знающем, что он может покинуть нынешнего хозяина — спрос на его умелые и сильные руки есть. Общественное устройство кочевников изживало себя не только по причинам внешнего порядка.

Патриархально-натуральный уклад интенсивно заменялся товарно-денежными отношениями. Хороша сцена «отрезвления» Батырбека, который, возвращаясь с торга, только дорогой обнаружил, что его обсчитали на целых пятьдесят рублей. Разве хан из легенды унизился бы до таких мелких расчетов! Новые времена — новые песни. Не за сохранение патриархальных обычаев и нравов ратовал здесь Гребенщиков, он беспокоился о будущем целого народа, поставленного сложившимися экономическими обстоятельствами, национальным угнетением и стихийными бедствиями на грань полного уничтожения.

Если же говорить о проповеди патриархальных нравов и обычаев, то следует вспомнить рассказ

«Змей Горыныч», написанный в 1914 году. В нем у Гребенщикова молодой человек, механик на строящейся железной дороге, выступает как злая сила, которая разрушает такую хорошую, давно сложившуюся жизнь «кряжистого старожилого населения» села Язеве на Алтае. Железная дорога не просто вытеснит ямщину — источник дохода, но изменит весь нравственный климат деревни, и это обескураживало писателя, он метнулся в сторону категорического осуждения всего нового, что несет с собою и железная дорога, «змей-горыныч», и городская культура.

Рассказы «Волчья жизнь» («Современник», 1913) и «Лесные короли» («Ежемесячный журнал», 1914), повесть «Любава» («Летопись», 1916) и некоторые другие произведения, опубликованные, как видим, в лучших журналах десятых годов, и сегодня должны быть признаны художественными достижениями русской литературы.

Названные здесь повести и рассказы примечательны тем, что они целиком направлены против собственничества, против индивидуализма, разжигаемого ростом капиталистических взаимоотношений, против самого капитализма, разрушительно действующего на нравы всех слоев общества, наконец, против хищнического отношения к природе. В картинах природы нет слепого преклонения перед величием бога, как в зарисовке «Степь да небо», а есть поэзия и правда, данная по всем «законам» точного реалистического письма.

«С осин и берез, как крупный золотой буран, сыпались желтые листья, под ногами шелестели подсохшие травы. Верхушки елей и пихт, роняя на землю колеблющиеся синие тени, мягко шипели, шептались с ветром. С высоты смотрела бездонная и страшная синяя пустыня...» («Волчья жизнь»).

Почему «страшная»? Потому что таково «восприятие» неба волчицей, которая поселилась вместе с выводком невдалеке от избушки лесника, так как ей, уже старой, рыть где-либо другую нору нелегко.

Лесник киргиз Чеке давно, едва ли не семь лет назад, приметил волчью нору и не трогал ее, потому что до сих пор волчица жила по-соседски мирно, даже казалось, будто бы охраняла хозяйство Чеке, за то что некий Михалка Иваныч, старший объездчик, который хуже волка мужиков за порубки бьет, Чеке ругает и совести не имеет.

Рассказ «Лесные короли» начинается с характеристики лесничего Михаила Григорьевича: «Часто, отправляясь в лес, он чувствовал какую-то отеческую нежность к каждому деревцу, ко всякому ручью, дорожке, камешку, как будто все это были давнишние друзья, которых надо заботливо любить и охранять».

Читатель сразу проникается симпатией к этому человеку, понимает важность его миссии — охранять лес, заботиться о нем, сочувствует Михаилу Григорьевичу во всех перипетиях его жизни.

Однако как в случае с Чеке и волчицей, так и в случае с Михаилом Григорьевичем на их пути встают люди, которым нет никакого дела до природы, до сохранения равновесия в ней, до ее красоты, к богатству природы они относятся как хищники-потребители, действующие по принципу «после меня — хоть потоп».

У Митьки была возможность осесть на землю, но с ружьем он охладел к хозяйству, запустил его до полного разора, и осталась в нем «лишь звериная хищность и жажда добыть хоть какую-нибудь живую тварь». Две сцены потрясают душу читателя: как безобразно, с угрозами и побоями выведаль Митька тайну волчьего логова у забитого и беспомощного Чеке и как добывает он живьем волчат, жестоко над ними измываясь. Всем существом

Митьки владеет жадность, она-то и сделала его жестокосердным до полной потери человеческого лица: «Он в злобном исступлении схватил волчонка голыми руками за шерсть, потом за горло и, все больше зверея, барахтался с ним на земле... Слова «злоба» и «ярость», «исступление» и «хищность», «потерял самообладание» и «озверел» всюду сопровождают Митьку.

В рассказе «Лесные короли» мы не сразу познаем суть характера Антропа. Сначала кажется, что и он сам, и семейство его богобоязненны и смиренны, а трудолюбие и стремление к справедливости — их нравственная основа. Старовер Антроп выбрал в свое время место поглуше, так как его «за веру притесняли нещадно», и основательно осел:

«Огромные дворы раскинулись обширно, их звеня плотны и высоки, повети покрыты сплошной жердью, столбы, ворота — из лучшего строевого кедрача... Коренастые амбары расселись важно, как бояре, с туго нахлобученными тесовыми крышами... И посреди амбаров, как древний царь посреди бояр, возвышается суровый, серый, крепкий дом в два этажа. Его крутая крыша, решетчатая загородка на глухом крыльце, маленькие, точно прищуренные окна и низенькие двери, — все говорило о том, что строил человек тугой, расчетливый и осторожный, ревниво берегущий свое добро и предрассудки дедов».

К этому отлично переданному нутру Антропа через внешнее, казалось бы, безразличное к характеру, следует добавить, что и браконьерствовал Антроп, лес воровал и вообще жил «неограниченным хозяином», негодуя, что теперь, когда он тут все сам освоил, ему приходится платить за покос, лес, пасеку и усадьбу. Но психология взбесившегося собственника в полной красе проявилась по отношению к Зеновее, к сироте, задавленной нуждой, которую он, молоденькую, приспособил в жены на исходе

седьмого десятка лет. Потом подозревал то меньшака сына, то иногда приезжавшего к ним главного лесничего. Он загубил судьбу Зеновее, но этого ему мало. Подозревая Михаила Григорьевича (и не без оснований), он стравил его медведю.

В рассказе «Волчья жизнь» волчица мстит и Чеке, который предал ее (она загрызла у него жеребенка), и Митьке, который замучил ее детеныша (она вырвала у него горло). Смертельно раненная волчица зарывается в норе, чтобы побыстрее прекратить свои мучения. Эта осознанность действий волчицы несет отпечаток предрешенности всех событий, их трагической неотвратимости, хотя в рассказе и звучит мысль об истинной причине уничтожения необходимого и прекрасного в природе.

В «Лесных королях» главный лесничий вдруг неизвестно почему становится пассивным и по отношению к Зеновее, которую он искренно любит, и к самому себе. Предупрежденный Зеновеей, он почему-то приказывает молодому, бойкому и услужливому леснику остаться и идет на медведя с сыном Антропа Самойлой. Так великолепный рассказ о лесных собственниках, о лесных королях, не останавливающихся даже перед убийством, завершается необъяснимой тайной поступков Михаила Григорьевича, фатальностью его судьбы.

В повести «Любава» нет налета каких-либо противоречий. В ней добротный художественный анализ рождения эгоизма в душе засидевшейся в девках Любавы. С отчаяния выскочила она замуж за богатого и старого калмыка, не испытывая к нему никаких чувств, кроме отвращения. Постепенно забирает все хозяйство в свои руки, фактически губит мужа, мечтает женить на себе молодого Сапыргая, действует, стремясь к обогащению, не брезгуя никакими средствами. Вскоре почувствовала отчуждение окружающих, но это не остановило ее: «Все, изжаби их в сердце, отвер-



нулись... Всем чужая стала! А обдирать — дак ни у кого рука не дрогнет... И тому отдай лошадь, и тому корову подари. Нет, врете вы! Без вас я справлюсь! Знаю я, что сделать, знаю!» Индивидуалистическое общество как бы автоматически порождает себе подобных, уверяет автор, превращает их в стяжателей и преступников против человечности. Гребенщиков никакие иные нормы жизни здесь не проповедует, как у него получилось в рассказе «Змей Горыныч», он обличает капиталистические основы жизни и предупреждает, нагнетая в образе Любавы самые отвратительные, «какие-то новые», как он полагает, черты: «В больших прищуренных глазах Любавы сверкало лезвие какой-то новой, ядовитой хищности, как жало на конце стрелы, пущенной самой судьбою». Неопределенность, прозвучавшая в этой конечной фразе повести («судьба», «какой-то новой хищности»), типична для позиции Гребенщикова: он отлично видит, что происходит в России, в душах людей типа Любавы, Антропа, Митьки, проникнуть же в природу явления, сам чувствует, не в состоянии.

Лучшие свойства прозы Гребенщикова, а равно и ее недостатки, противоречия, пожалуй, наиболее полно отразились в первой части романа «Чураевы», созданной в эти же 1913–1916 годы (в предисловии к первому изданию романа Гребенщиков написал, что «общий пересмотр романа» был завершен к 5 февраля 1917 года). Во всяком случае, в 1916 году роман прочитали и Вяч. Шишков, и М. Горький, и оба одобрительно к нему отнеслись. 19 февраля 1916 года Горький писал Гребенщикову: «Первая часть повести Вашей, Георгий Дмитриевич, вызвала у меня очень хорошее впечатление. Все написано крепко, уверенно, надолго и с большим знанием.

Есть некоторые колебания в языке, вообще хорошем и в меру сохранившем местный колорит. Но — местами вы впадаете в нарочитый тон

---

Андрея Печерского, который вам — не учитель. Растянуто описание женитьбы Чураева. Очень хороша первая глава. Все это — мелочи, но вы пишете большую вещь, и мелочи, хотя бы чуть-чуть затеняющие ее красоту, необходимо устранить.

Обязательно продолжайте писать, мне кажется, эта повесть — ваше лучшее, т. е. лучшее из всего, что вами уже сделано»<sup>1</sup>.

Роман «Чураевы» увидел свет после этого почти через пять лет и в Париже (журнал «Русские записки», 1921). Хотя роман и не стал совершившимся фактом литературы десятых годов, он все же органично примыкает к крупным произведениям писателей-сибиряков, которые появились в эти же годы: «Темное» Ис. Гольдберга (сб. «Северные зори», 1916), «Тайга» Вяч. Шишкова («Летопись», 1916), «Беловодье» А. Новоселова («Летопись», 1917). Повести разные, но их и роман «Чураевы» объединяет общая тема. Писателей волновала судьба русского крестьянства, его состояние, его будущее. С огромной верой в силы народа написал свою повесть Вяч. Шишков. «Темное» Гольдберга, завершенное в 1911 году, отразило в себе и немалую долю разочарований в народе. До соприкосновения с ним народ представлялся писателю отвлеченно, так сказать, идеально, без ошеломляющей, как он признался впоследствии, «обнаженности и жестокости борьбы за существование». «Эта тема пришла ко мне, — писал Ис. Гольдберг, — от действительно «темного», что переполняло окружающую меня деревенскую жизнь»<sup>2</sup>. Темное в деревне «переполняло», «ошеломляло» — этим и определялся тонус всей повести. Иначе рисовал крестьян А. Новоселов.

Чрезвычайно близки друг другу произведения Гребенщикова и Новоселова. И это понятно. Тот и другой исколесили весь Алтай, изучая его как этнографы, тот и другой пристально вглядывались в предысторию

---

<sup>1</sup> Литературное наследство Сибири, т. 1, с. 26.

<sup>2</sup> Гольдберг Ис. Поэма о фарфоровой чашке. М.: Сов. писатель, 1965, с. 631-632.

и историю старообрядчества в Сибири, оба отмечали в своих исследованиях интенсивно продолжающееся разложение старообрядчества как сообщества, некогда более или менее монолитного, и как религиозно-нравственной идеи, некогда более или менее единой. Наконец, оба выступали с художественными обобщениями на одном и том же материале — на материале алтайских старообрядческих деревень.

Эту особенную общность романа «Чураевы» с повестью «Беловодье» отметил еще В. Правдухин в 1922 году, т. е. сразу после выхода романа отдельным изданием. Подчеркнув, что мы имеем дело с «творчеством настоящего художника» и что «Гребенщиков обладает определенно незаурядным талантом», сказав, что в романе «все написано в естественных тонах, переплетено настоящим сибирским бытом, поэзией и жутью тайги, первобытностью прекрасной природы Алтая», В. Правдухин тут же напишет и свое «но»: «Целый ряд русских писателей уже исчерпали данную тему в этой постановке». Далее критик перечисляет произведения Мельникова-Печерского, Сургучева, Рукавишникова и, наконец, «самое главное» — «прекрасную повесть «Беловодье» Новоселова». «Основная неудача романа «Чураевы», — обобщает В. Правдухин, — в том, что почти ничего не дает сверх того, что дано вышеуказанными писателями. Новоселов ярче, свежее раскрывает эту же тему — и в основном содержании, и в зарисовке быта и природы Алтая. История гибели старика Чураева и внутренне, и частично внешне совпадает с картиной гибели новоселовского героя...»<sup>1</sup>

С тем, что повесть Новоселова написана и «ярче», и «свежее», чем роман «Чураевы», можно согласиться. Но с тем, что тема была исчерпана и у Гребенщикова нет ничего сверх того, что уже сделано другими писателями и более всего Новоселовым, согласиться нельзя. Напомним прежде всего, что содержание

---

<sup>1</sup> Правдухин В. Чураевы. — Сиб. огни, 1922, № 5, с. 182—183.

произведений не исчерпывается темой и материалом. Есть еще разница целей и идей. Известно, например, что знаменитые романы П. И. Мельникова-Печерского дают широкую и правдивую картину жизни России в самых различных ее аспектах и одновременно выражают задушевные мысли автора — приспособить позднее старообрядчество, без гибельного фанатизма и обомшелых догм, на службу новой тогда буржуазной монархии. Ничего подобного в условиях начавшегося войной и революцией XX века родиться не могло ни у Новоселова, ни у Гребенщикова, демократов, видевших неизбежность гибели старообрядчества, понимавших несостоятельность его в деле устройства крестьянского счастья, признававших необходимость его уничтожения.

Новоселов, рисуя своих красивых и сильных мужиков-старообрядцев, как бы говорил читателю: возьмем идеальный случай — хорошие люди в полном согласии со своей давней мечтой устремляются на поиски Беловодья, возьмем и попробуем вжиться в их внутренний мир. Таким образом поняв их самих, проникнув в смысл их верований, изучая их средства достижения счастья (Беловодья!), мы обнаружим, что все это даже в лучшем своем выражении давно уже не способно нас удовлетворить, чем-то ценным обогатить или как-то приблизить к желанной цели. Будущее принадлежит не правоверным, пусть идеальным Панфилам, а таким, как взбунтовавшиеся Хрисанф и Ванюша. Спокойно и уверенно выражал Новоселов свой «исторический оптимизм», свою веру в здоровые силы народа и тем самым в главном переключался с Вяч. Шишковым.

Чем отличается изображение алтайской старообрядческой деревни у Гребенщикова от ее изображения у Новоселова? Тем, что он густо, неистово, иногда захлебываясь от многословия, рисовал ее в состоянии растущего классового рас-

слоения, тем, что она у него все еще дико-темная, домостроевская, лишенная спокойного благолепия, тем, что верхушку того или иного раскольнического толка, беспоповцев или спасовцев, он обязательно связывал с каким-нибудь совершенным или совершаемым преступлением. И это — правда, которую тогда нельзя было вычитать ни у Новоселова, ни у другого какого-нибудь писателя.

Фирс Платонович Чураев — внук бежавшего лет сто назад в глушь Беловодья «ревнителя истинного благочестия» Агафона. Фирс преданно хранит его заветы и устав, часто поет старинные стихи, и дед как живой встает перед ним. Тут он очень похож на новоселовского Панфила. Но наставник беспоповцев Фирс Платонович еще и самый богатый в деревне человек, лавочник и кулак-мараловод. Он и в округе фигура приметная, в город вывозит воск, мясо, масло, хлеб, шкуры зверей и скота. Усердно справляют моления Чураевы в специально выстроенном для этих целей пятистеннике, но и о деле никогда не забывают. Тут же после богослужения нанимают мужиков то рога снимать у маралов, то сено косить.

«Так устроена жизнь Чураева, что все его хозяйство под руками, на виду. Из дома видны: пашни, пасеки, маральник, а с пашни, из пасеки, из маральника как на ладошке дом и вся деревня. Река же — как надежная городьба между деревней и божьей благодатью. Как боярин, князь удельный, всем располагает Чураев. И не чувствует ни угрызения совести, ни страха перед богом: все добыто трудом, все дано богом, землей, водой, солнышком».

Естественно, чуть-чуть патетично передано в самом начале романа и самодовольство преуспевавшего Чураева-старшего, и ироническое отношение к нему автора. Крепко живет Чураев. Лавка в деревне — дело богу, конечно, неудобное, но ею занимается сын Викул, энергичный, «пробойный

парень». Что-то неладное ощущает Чураев в том, как ведется дело в маральнике, но в нем хозяин сын Ананий, человек азартный, злой и жадный. Дочь Анну надо бы замуж выдать, но жениху Самойле не пообещал Чураев в день сватовства ни маралов, ни пасеки, а Груне, младшенькой, запретил встречаться с иноверцем Антоном, клятву принудил дать... Из непримиримых противоречий соткан характер Фирса Чураева. А когда мы читаем его письмо к сыну Василию, который был отправлен в Москву, чтоб стал он там образованным начетчиком [2], преемником отца, то еще более окунаемся в атмосферу духовного оскудения всего старообрядчества. Приглашая Василия домой и побыстрее, Фирс писал: «Вер разных больно много в нашем крае стало. Окромья спасовцев, в горах объявились самокресты и дырники, прости господи. Потом беглопоповцы да федосеевского толку. Собираюсь я собор созывать да побеседовать со всеми. Прошу у бога помощи — наставить всех на истинную и единую веру... Добро бы нам призапасть словесами света истины...» К собору готовятся многие, не один Чураев. Особенно рьяно Данило Анкудинов, рвущийся к богатству и к власти человек. Идут жуткие сцены искусственного превращения обыкновенной запуганной богом женщины в святую с единственной целью — свалить Чураева, доказать, что только лишь сочиненная «новая вера» истинней любой другой веры. Темнота, забитость и запуганность «обыкновенных» страшная, а некоторые мужички живут, как пауки в банке, — неистово молятся и столь же неистово поедают друг друга.

Приезд домой образованного Василия, утратившего в Москве веру в старообрядческие догматы, не облегчил разрешения возникших разногласий, наоборот, неожиданно привел к самой плачевной для Чураевых развязке.

Василий — наиболее симпатичное автору лицо романа. Он и в самом деле образован, умен, по-чураевски силен и горяч, по-чураевски упрям и непримирим, если это касалось пострадавших им убеждений и нравственных требований. Приехал он к отцу подавленным, так как в Москве у него брат Викул «отбил» невесту — недалекую Наденьку. Первое, что он сделал дома как человек передовой и гуманный, это пообещал сестре Груне: «Не потерплю насилия!» — и выполнил обещание: помог ей убежать с Антоном.

Очень хотел Василий серьезно поговорить с отцом, открыться ему: не верю! Но то духу не хватало (уж больно отец был искренен и величествен в вере своей: «Шаляпину его играть!»), то момент оказывался неподходящим: Викул из ревности избил Наденьку по деревенскому обыкновению, и надо было ее как-то выручать.

Решающим толчком к заявлению — «в вашего бога я не верю!» — и толчком к страстному и страшному обличению и обвинению оказались новые факты, ранее Василию неизвестные. Выяснилось, что его благочестивый отец — обыкновенный преступник, и сын его, родившийся от погубленной им девушки, — бродяга, каторжник, убийца. Всплыло, накалилось, взорвалось все в моленной, где народ собрался, и Василий «вдруг исступленно закричал»:

«— Послушай, отец!.. — и Фирс Чураев подался назад от сына, увидел перед собой острый и упрямый, непреклонный чураевский взгляд. — Я все скажу!.. Я ничего не скрою! Мне нечего бояться и нечем дорожить. В вашего бога я давно не верую... потому что ваш бог уживается со злодейством! — Василий строго, почти с ненавистью впился взглядом в оторопевшего, безмолвного и неподвижного Анания. — Потому что вы еще не люди, а животные, все звери



кровожадные... — У Василия сорвался голос, а Аналий, отступив в передний угол, размашисто перекрестился и слезливо просипел:

— Господи, господи! Накажи ты его, батюшка, порази за слова непотребные...

Фирс Чураев поднялся со скамьи с перекошенным судорогою лицом, угрожающе поднял свой костыль и глухо, не владея своим голосом, через силу произнес:

— Богохульник! Еретик!.. Ты не сын мой... Будь проклят!..»

Накал истинно драматических событий нарастает от страницы к странице. Потрясенный Фирс бросается к лодке, направляет ее на пороги и погибает. А мы убеждаемся, что и внешне и внутренне гибель Фирса у Гребенщикова не совпадает с гибелью Панфила у Новоселова. Панфил погибает как герой своей «святой мечты», своей «святой идеи», хотя и ложной. Он достоин уважения. Фирс никакого сочувствия у нас не вызывает. Он кончает жизнь самоубийством, так как с него сорвали маску показного благочестия, показали людям его настоящее нутро стяжателя и собственника, не останавливающегося и перед преступлением. Обличительный пафос романа «Чураевы» очень выразителен и бесспорен. Развернутая писателем критика старообрядчества изнутри — одно из первостепенных достоинств романа. Изображенные несколько лет назад в рассказе «Убежище» сильные духом, крепкие в вере и находчивые приверженцы старообрядчества теперь решительно осуждены.

Но возникает существенный вопрос: с каких позиций и во имя чего ведется беспощадный анализ социальных корней старой веры в умах крестьян разных состояний, к чему в конечном счете призывает нас писатель? Отвечая на этот вопрос, В. Правдухин правильно сказал в своем кратеньком отзыве

о бесперспективности устремлений положительно-го героя романа Василия Чураева и о том еще, что сам писатель «не ощутил живой цели своего произведения», «будущих социальных далей».

«И даже то, — обосновывает свой тезис В. Правдухин, — что Василий прозревает и осознает «грехи отцов», их неправду и безмерное лицемерие старой веры, начинает понимать ее социальную, разбойничью подоплеку, все это не порождает нового, нужного жизням активного и дерзкого мировоззрения. В конечном счете «диалектика» романа не оправдана: столкновение противоречий остается несинтезированным и заводит внутренне героя в новый тупик — в этом основной художественный грех этого романа, снизводящий его на роль хорошей беллетристики, полуискусства!»<sup>1</sup>

Последнее замечание о «полуискусстве» отбрасывает нас к полемике другого свойства. Романы Мельникова-Печерского не стали «полуискусством» на том основании, что их автор не был на высоте передовых идей века, не поднялся да исторически не мог подняться до нашего «активного и дерзкого мировоззрения». Тем не менее В. Правдухин нашел точные слова для характеристики прохристианской позиции Гребенщикова. Завершающий роман отъезд Василия на поиски «настоящего бога» и философски, и исторически несостоятелен. Время, насыщенное социальными катаклизмами, требовало от писателя способности заглядывать дальше и глубже. Эта особенность мировоззрения писателя, истоки которого, надеюсь, теперь ясны, снижает значение романа, но не обесценивает его окончательно и для нашего времени.

Критика раскола, всяческих старых и новых вер в условиях, когда разное христоролюбивое воинство существует и действует, еще жива. Критика российского, а с ним и всякого другого капитализма, сильно звучащая со страниц романа, тоже не от-

---

<sup>1</sup> Правдухин В. Чураевы. — Сиб. огни, 1922, № 5, с. 183.

носится к далекой истории. Критика индивидуализма и собственничества актуальна так же, как и полвека назад. Наконец, несомненна общепознавательная и художественная ценность произведения, запечатлевшего целый пласт нашей истории. А сколь заразительна любовь писателя к родному Алтайскому краю, его постоянное желание и умение «писать» природу Алтая во всем богатстве ее живых и неповторимых красок!

С. Г. Скиталец, вспоминая о своем первом впечатлении от романа «Чураевы», видимо, имел в виду и других известных ему читателей-современников, когда писал, что «роман этот, яркой и сильной кистью живописующий... быт почти допетровской Руси, по капризу истории нашей страны чудом уцелевший в глухих углах необъятной Сибири, произвел на читающую публику ошеломляющее впечатление открытия новой, неведомой доселе страны, подобно тому, как если бы вдруг всплыла со дна океана затонувшая когда-то легендарная Атлантида или ожил сказочный древнерусский град Китеж... Фирс Чураев — выпуклая, словно из металла вылитая фигура первобытной, суровой и обособленной жизни»<sup>1</sup>.

Понимая, что в отзывах по первому впечатлению возможны преувеличения, все же хочется именно здесь напомнить, что так же с большим одобрением говорили и писали о романе крупные деятели русской культуры — Ф. И. Шаляпин, Н. К. Рерих, Н. А. Рубакин, С. Т. Коненков и другие.

Не менее сложен и труден творческий путь Гребенщикова и в годы, предшествовавшие его отъезду из России (1916—1920). Мы не будем касаться его со всеми подробностями, ибо это сейчас не входит в нашу задачу. Нам необходимо ответить лишь на один вопрос: почему писатель Гребенщиков покинул родину в ответственной момент ее истории? Легко напи-

---

<sup>1</sup> Скиталец С. Г. Автор «Чураевых». — ЦГАЛИ, ф. 454, оп. 3, ех. 13.

сать и потом повторять — «революцию воспринял как личное оскорбление» (В. Правдухин), труднее понять трагедию талантливого человека, который по иронии судьбы, посетив в 1907 году впервые чужие страны, писал: «Я не мог бы здесь остаться навсегда! Я не мог бы работать здесь, и быстро сторевшая любовь к новизне сменилась бы острой тоскою по родине»<sup>1</sup>.

С начала 1916 года Гребенщиков — в действующей армии. В письме от 5 февраля он сообщал Е. А. Ляцкому: «Теперь еду на войну как старший санинструктор при одном сибирском отряде и как корреспондент “Русских ведомостей”». <sup>2</sup> С февраля 1916 года и до самого закрытия этой газеты Советами в марте 1918 года Гребенщиков систематически и много в ней печатается: рассказы, зарисовки, корреспонденции с почти постоянными подзаголовками «Из страничек военного быта» или «Из писем с фронта» и т. п.

О «Русских ведомостях», вероятно, нет необходимости говорить подробно. Известно, что с 1905 года газета стала воинствующим органом кадетов, а с февраля 1917 года активно выступала против большевиков. Ее литературный отдел с неперменной писательской публицистикой был поставлен умело. В газете участвовали В. Г. Короленко, А. Н. Толстой, А. С. Серафимович, И. С. Шмелев, Е. Н. Чириков, В. Я. Брюсов, С. А. Ауслендер, А. Н. Белый.

Позиция Гребенщикова хорошо просматривается по его отношению к войне. Рассказы и зарисовки, помеченные 1914—1916 годами, если они касались тем войны, непременно с антивоенными мотивами и настроениями («Белые поля» или «Деталь», например).

О том, что война — это кровь, грязь, безмерные людские страдания и смерть, говорится во многих очерках с фронта: «Охвостье», «Братская могила», «Наши будни», «Веселый мотив», «В одном

---

<sup>1</sup> В Венеции: впечатления сибиряка. Август 1907 г. — Омское слово, 1909. № 94 и 95.

<sup>2</sup> Рукописный отдел библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, ф 163, оп. 2, ех. 160.

купе»... Особенно удручает читателя лирический рассказ «Деталь». Он об ужасах и бессмысленности войны. Подробные описания нечеловеческих трудностей передвижения «перевязочного отряда» под грохот канонады и стоны раненых перемежаются лирическими отступлениями:

«И все эти живые серые движущиеся картины на фоне грязной, холодной и разрушенной природы притупляют чувства, нервы, слух... О, как больно, как остро вонзилась в душу тоска!.. Я хочу осмыслить, охватить бессмысленное и непостижимое, но мои мысли разбиваются... все приближающейся канонадой... А в глубине души робко и болезненно встает вопрос: “Не потерял ли я рассудок?”»

Но в мае 1917 года в очерке «О чем кричали гуси» Гребенщиков рассказывает о солдате Федоре Трунове, который, получив после февраля свободу, обнаружил здравое понимание обстановки и принял присягу Временному правительству. А в августе того же года он уже называет «вороньим карканьем» всякие слухи об отступлении русских войск под Ровно и Дубно. Объективно Гребенщиков за продолжение войны. Историки, — писал он, — «придут в ужас от той неприличной брани, которой осыпают друг друга наши политические партии» .

Замечание многое в нем проясняет. Видимо, Гребенщиков полагал себя вне политической борьбы. В марте 1919 года в письме из Крыма родным он сформулировал свое кредо с большей ясностью:

«В смысле политическом я по-прежнему вне всяких партий и смотрю на себя как на живого свидетеля великих потрясений и мечтаю все потом вложить в литературно-художественные работы. Потому не могу, не должен быть партийным узким человеком, но обязан объективно и честно наблюдать и отражать» .

Сознательная «беспартийность», декларируемый «объективизм», принцип «над схваткой» — источник заблуждений для многих честных русских интеллигентов, источник их человеческой трагедии, ибо часто и, к сожалению, долго они не замечали, что логика классово́й борьбы тащи́ла их в стан реакции. Именно этим объясняется тот факт, что Гребенщиков, восторженно встретив февральскую революцию, не принял революцию Октябрьскую и в общем потоке беженцев покинул Крым в конце 1920 года. Но эти же принципы, вероятней всего, и удержали его в свое время от агрессивных антисоветских откровений и заявлений. По сохранившимся документам — воспоминаниям, письмам и произведениям — видно, что писатель тяжело переживал эмиграцию и неоднократно выражал желание вернуться на Родину.

Е. Г. Ватман-Орлова, хорошо знавшая Гребенщикова еще по Сибири, вспоминает теперь о встрече с ним в Берлине, где она в 1923 году вместе с мужем работала в советском посольстве: «О Сибири он очень скупал... Он жадно и с огромным сочувствием интересовался жизнью новой России».

В 1927 году в письме к советскому писателю А. Демидову Гребенщиков заявлял: «Несмотря ни на что, все же думаю о возвращении в Сибирь и о работе на родной земле». И в этом же году делает попытку связаться с советскими печатными органами, посылает статью о Николае Рерихе и фото его картин в «Сибирские огни».

В 1928 году, отправив рукопись книги «Первая помощь человеку», Гребенщиков просил А. Демидова: «Можете при этом заявить от моего имени, что несмотря на мое семилетнее отсутствие... я неизменно оставался искренним другом всех трудящихся, за рубежом занимался исключительно культурной работой и в ближайшем будущем намерен

продолжить такую в России» . Одна из глав книги «Моя Сибирь», созданной в Америке, начинается словами: «Когда я вспоминаю о своей родине, то мои мысли о ней складываются, как псалом».

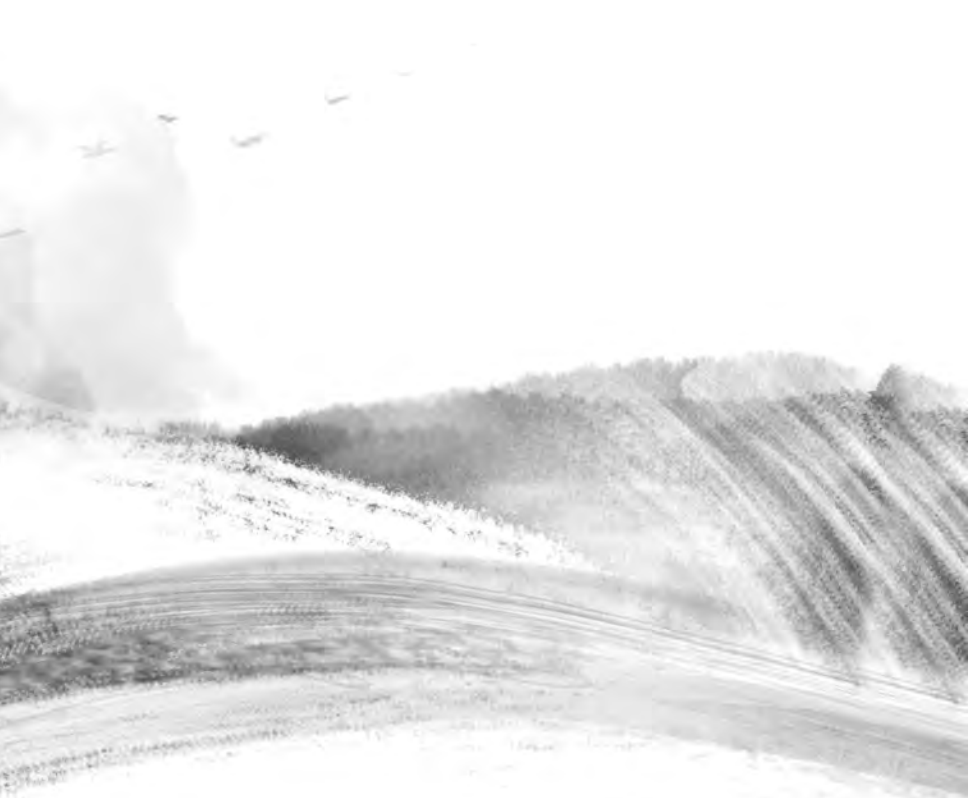
В 1943 году Гребенщиков пишет Вяч. Шишкову: «С самого начала Отечественной войны мы оба (с женой — Н. Я.), кроме очередных наших работ, кое-что делаем для помощи СССР...» Снова выражает желание сотрудничать с советскими журналами и издательствами, и снова виден жадный интерес к советской литературе: свое новое произведение «Письмо на Родину из-за морей» он написал «в стихах под Симонова», следит, как оценивают в печати произведения Вяч. Шишкова: «Недавно прочел статью о твоём новом романе “Пугачев”. Верю, что это опять сильно и широко, как и все твоё творчество».

За время с 1917 по 1920 годы, перед тем как покинуть Россию, Гребенщиков написал много, но это были преимущественно газетные работы. Если и появлялись новые рассказы, как «Ярышка», «Синяя птица», «Дремель» и другие, то они не возвышались над лучшими произведениями прежних лет.

Эмиграция, оторванность от истоков творчества не могли не сказаться на писательских возможностях Г.Д. Гребенщикова. Но разговор о сорока четырёх годах, прожитых за рубежом,— особая глава. Сейчас же мы можем с полным основанием сказать, что все значительное и подлинно прекрасное в наследии русского писателя является частью нашего национального достояния, и оно должно быть нами принято и освоено, как всякое другое наследство в огромной культуре нашего народа.







Художественная  
проза

Тобесму

## В ПОЛЯХ

### I

Высоко над полями на юг летели лебеди. Длинной, искривленной ниткой бисера летели они в голубой бездне неба и стройными кликами роняли на землю прощальную песню:

— Кув... Ку-вы!..

Архип был один на полосе. Стоя у суслонов [3] пшеницы, он ждал, пока две телеги, поскрипывая и пошатываясь, свезут на гумно [4] наложенные снопы и подъедут снова.

Услышав лебедей, он поднял широкую и длинную полуседую бороду, так что чуть не свалилась кошменная шляпа [5], и долго искал белый бисер... Нашел и долго смотрел, как лебеди плыли по синему простору, словно по опрокинутому бездонному морю. Затем поправил шляпу, оперся на суслон и подумал: «Ишь, полетели, снег, надо быть, скоро выпадет. Успеть бы отмолотиться», и глубоко вздохнул, устремив печальный, завешанный густыми бровями взгляд на окованные в золото осенние поля.

А лебеди все дальше уносили свою песню, и от этого казалась она еще печальнее.

— Плачут будто... — и опять откинул назад голову, но уже не нашел белой нитки в небе, а только слышал отрывки далекой стихающей песни:

— Кув-ку-вы... Кув-ку-вы!..

И потому, что песня лебедей, как слабое эхо, откликалась внутри самого Архипа, бередила что-то давно забытое и сокровенное, он еще раз поправил шляпу, домовито подобрал на полосе несколько растерянных колосков, подоткнул их под вязку верхнего снопа на суслоне и опять вздохнул. Затем, прислонившись к суслону, стал смотреть в конец полосы, где пышными золотыми сугробами рисовалось гумно, замкнутое скирдами хлеба, ометами [6] соломы и возами снопов.

Из середины гумна вместе с облаками легкой мякины неслись бойкие крики младшего Архипова сына, Игнатки, который, стоя в кругу бегающих лошадей, щелкал бичом и покрикивал на них:

— Н-но вы! Пова-алива-ай!

Голос его был звонкий, серебристый и звучал в прозрачном осеннем воздухе, как веселая песня.

— Пова-ли-ва-ай, милья-а!

Архип улыбнулся, вспомнив, что и двенадцатилетний Игнатка уже стал помощником, и удовлетворенно наблюдал, как возле гумна растет новый скирд, на котором, проворно взмахивая снопами и мелькая красной рубахой, работал его старший сын Максим.

С возов снопы ему подавал дюжий, на время нанятый работник Иван, подхватывая их длинными вилами и подавая вверх броскими движениями упругих рук. Верхом на одной из запряженных лошадей сидела Анисья, младшая дочь Архипа. Краснощекая и чернобровая, в свалившемся на плечи платке и красном сарафане, она бойко дергала за повод старика лентяя Рыжку и сочным, низким голосом перебрасывалась с работником и братом веселыми словами.

А краем гумна, с граблями в руках, в пестром подтыканном сарафане, ходила молодуха Федосья, Максимова жена, и громко сдерживала Игнаткин задор.

— Помаленьку! Не гони, а то лошадь упадет, изувечится... Помаленьку!..

Все это, сливаясь в общий гомон, несло к Архипу, который стоял на сжатой ниве, как на широко раскинутом ковре, и любовался дружной работой семьи, всегда такой веселой, послушной и выносливой. Но маленькое то, что разбредили в нем лебеди, не унималось и потихоньку ныло в темной глубине сознания.

— О Господи, прости! — прошептал он с новым вздохом и, глядя в усыпанные суслонами и гумнами волнистые дали, устремил свои думы на обычные осенние заботы:

«Надо дров наготовить до ненастья, чтобы бабы зимою не маялись с сырьем. Надо дворы заново перебрать, чтобы скотина не мерзла в бураны и морозы... Печку поправить в старой избе — жалуются бабы, что не печет хлеб как следует. Подати больше двух красных [7] отдать надо... Как ни виляй, в город с хлебом ехать еще до дороги, осенью, доведется. Кругом нехватка, девка на возраст, семья... Всем по рубахе и то — штука!.. А тут как бы парня в старосты не выбрали, молодой, неграмотный — горе! Да и от работы оторвут... Хлопота чистая!»

А в сердце скорбной ноткой все еще звучит осенняя песня лебедей:

— Кув... Ку-вы...

Они уже давно скрылись из виду и далеко унесли свою песню, а в нем все еще живет ее печальное эхо.

Подъехала с порожними телегами Анисья и звонко спросила:

— Тятенька, Макся спрашивает, как вершить скирд-то — стогом или амбаром?

— Поближе, доченька, поближе подъезжай!.. Вот так, ладно, — и, посмотрев на гумно, сказал: — Амбаром пускай вершит. Может, в зиму останется.

Ишь вон лебеди полетели уж... — И, став на телегу, начал принимать от дочери тяжелые снопы, укладывая бережно, как грудных детей.

Анисья опять уехала, а Архип медленно пошел к другим суслонам по мягкой полосе, подбирая колоски. Подошел и устало сел на поваленный сноп.

Солнце, обвеянное розовой пылью заката, тихо спускалось к далекому ровному горизонту и, освещая бронзовое, густо заросшее лицо Архипа, бросило на желтое жнивье длинные, косые тени — и от него, и от суслонов, и от разбросанных по полям приземистых стогов и скирд.

Вся ширь полей, покрытая необъятным, светло-голубым куполом неба, устало смолкла, ожидая сладкой вечерней дремоты...

Вдали, в кривой впадине, брошенное серым плоским лоскутом виднелось село, и медленно и плавно донесся оттуда звон вечернего благовеста [8]... Архип встал, снял шапку, перекрестился. Возвышаясь над серыми избами, маячила зеленая колокольня церкви и один за другим посылая в поля уныло-певучие звоны:

— О-он!.. О-он!..

Стоял Архип без шляпы и слушал певучий стон церкви, и отчетливо слышалась запавшая в сердце лебединая песня:

— Кув... Ку-вы...

Никогда еще эти звуки для него не были так скорбны, как нынче.

«Што так? — спросил себя Архип. — Сердце вешует, знать-то!..» — тут же продумал он и пошел навстречу возвращавшейся Анисье.

— Будет, дочь!.. Завтра воскресенье Христово, надо управиться пораньше.

## II

Гумно кипело молодой, веселой жизнью.

Максим на заостренной вершине скирда укладывал последние снопы и шутил, как ловко можно полететь оттуда вниз.

— Не бойся!.. — утешал Иван. — Вон они, вилы-то, успею подхватить.

— Ловили твои деды да покаялись и внукам заказали, — звенела издали Федосья и, плутовски скривив запыленное загорелое лицо, смеялась.

— Ишь жалко доморощенного-то, — огрызнулся Иван и подмигнул Анисье: — Ты так же своего-то любить будешь?..

— Смотря какой будет! — отчеканила та, распрягая Рыжку. — Такой будет, как ты, так сама при случае вилы подставляю...

Все громко смеются, а Игнатка, знай себе, звенит со своими друзьями-лошадьми:

— Гоп-ти-ну-у, залетняя-а!

А залетные уже устало ходили по измолоченному посаду шагом и жадно хватали зернистую мякину...

— Своди, сынок!.. Своди, заворачивать [9] станем, — кричит Архип, повеселев в обществе проворной молодежи.

Анисья распрягала Рыжку и, снимая с него хомут, строго приказала задней лошади:

— Тпру ты, отощала!.. Ишь, воротит к снопам — смышленая!..

Максим уложил последний сноп, выпрямился и потребовал веревку, чтобы спуститься, а пока отвязывали ее от телеги, он подбоченясь стоял, гибкий и высокий, и смотрел в даль на дорогу, в село.

— У-у, как далеко отсюда видно! — весело крикнул он. — А э-вон, надо быть, дедка едет... Он и есть, ишь Сивуха-то ковыляет... Тятя! Слышишь, мы с Иваном сосчитали — дедке с Сивухой ровно сто годов. Ей-богу!...

Опять все рассмеялись и стали проверять. Верно, дедушке Трофиму восемьдесят два да Сивухе восемнадцать...

— И оба хромые! — отозвалась Анисья...

— И оба сивые! — поддакнула Федосья, и Архип не выдержал, громко рассмеялся и сказал: — А, штоб вас всех клеймило!

— Держи крепче! — приказал Максим Ивану и, взявшись за веревку, поплыл со скирда, а когда спустился, то, одергивая рубаху, отошел в сторону и полюбовался на свою работу: — Не клад, а картина! — похвалил он. Затем, плюнув на руки, проворно схватил грабли и скомандовал:

— Ну, все на гумно, живо!.. Сейчас ворох с большую колокольню нагребем... Но-но, молодуха, не уступай удалым-то! — подпрягаясь к жене, добавил он и уперся головками граблей в рыхлый посад пшеницы.

Обильная пыль поднялась над гумном, и люди проворно ходили в ней, как в дыму пожара.

— Ай да Игнат! — смеясь, похвалил Архип меньшака, который наперекор всем бегал по гумну во всю прыть.

Анисья поодаль от гумна направляла таган над разведенным костром, и голубой дымок кудрявым, гибким столбиком поднялся над золотом тускнеющей соломы. Где-то близко радостно заржала Сивуха. Дедушка Трофим подъезжал к гумну на старой скрипучей телеге, и давний друг его, лохматый Пестря, виновато повизгивая и виляя крючковатым хвостом, подскочил к лицу Анисьи и лизнул ее в розовые губы.

— Тыфу ты, окаянный!.. — смеясь и вытирая губы, ответила она на его приветствие и, посмотрев на приближавшуюся телегу, крикнула на гумно: — Эй, Федосья, «приплод» твой едет!..

Совсем белый и сгорбленный, в старой сермяге [10] и без шапки на лысой голове, дедушка Трофим в коленях держал правнука Тимку — Максимова первенца.



Розовый и довольный, Тимка высоко поднимал голову в отцовской праздничной шапке, чтобы видеть из-под нее укутанное в золотую солому гумно.

Дружно приветствовали его несколько радостных голосов:

— Ти-имка-то... Тимка приехал!

— Вот молодец, Тимша! Ступай сюда, бери скорее грабли, помогай...

— Тимонька моя золотая!.. — закричала Федосья и, бросив грабли, побежала целовать сынишку.

Пестря, принимая все приветливые возгласы на свой счет, поочередно подскакивал к лицу каждого, стараясь дружески лизнуть... А дед, остановив Сивуху, все еще напевал Тимке скрипучим шамкающим голосом:

И сорока скок,  
И ворона скок,  
И лягушка скок,  
Все скок-поскок...

— и смеялся веселым, совсем детским, дробным смешком.

Он передал Тимку Федосье, подал Анисье мешок свежего хлеба, туесок молока и крынку сметаны и, кряхтя, стал вылезать из телеги.

Тимка побежал вслед за матерью на гумно, а дед, распрягая Сивуху, кричал ему:

— Ступай скорей, пособилай им, а то ишь они все копаются там... А, штобы те постреляло! — и опять рассыпался мелким ласкающим смешком, а потом заботливо добавил вдогонку: — Да смотри, в глазки не напорошили бы тебе... А, будь ты благословёнай!..

Дед и Тимка, несмотря на разделяющие их почти восемьдесят лет, были большими друзьями и редко расставались. И всякое их появление в семье вносило много оживления и смеха, потому что было над кем шутить и балагурить. И если обижали Тимку, дед быстро уговаривал его, а если

обижали шуткой деда — Тимка защищал его с оружием в руках, схватывая грабли, метлу или лопату... Деду же приходилось усмирять его...

Так вышло и теперь. Когда Тимка в новых крошечных чирках и в длинной красной рубашонке, без штанишек, вбежал на гумно и, запнувшись, упал, то завернувшаяся рубашонка обнажила его розовые ножки, а работник крикнул:

— Фу-у, да это не Тимка, это девчонка какая-то!

Тимка рассердился и сначала хотел было с Иваном вступить в единоборство, но предпочел заплакать, и дед, бросив Сивуху, уже ковылял на гумно, крича:

— Вот я их, штов их постреляло!..

Архип, ухмыляясь в бороду, смотрел на самого старого и самого малого из членов своей семьи и думал: «Уж и правда: што — старый, то — малый!» — и, невольно взглянув на свою посеребренную седую бороду, вспомнил, что ведь и он уже немолодой, что Тимка-то ведь внук ему...

И опять больно шевельнулось в душе печальное:

— Кув, ку-вы!..

Диво, да и только, никогда раньше ничего похожего Архип за собою не замечал, хотя в осеннюю пору уже пять десятков лет проносится над ним эта жалобная лебединая песня. Никогда так подолгу не оставалась она в его сердце, а пронеслась мимо и тотчас же растворялась в заботах вечного недосуга. А теперь и недосуг, и заботы те же, а она осталась и, запав в самое сердце, бедит в нем какую-то новую заботу, не то тоску какую... Трудно и некогда разбираться в том, и он сумел только, глубоко вздохнув, сказать про себя: «Господь его знает!» И, взглянув на алый полукруг зари, стал проворнее заметать гумно.

Анисья звонко кричала от костра:

— Кончайте вы скорее, а то каша-то пригорит!  
— и голос ее, круглый и упругий, как длинный бич, подстегнул всех...

Заря уже потухла, когда все тесным кружком уселись вокруг черного котелка, прямо на притоптанном жнивье полосы. Тимка с прадедом и Пестря внесли много оживленного веселья. Не смеялся лишь Архип. Не торопясь, он вставлял свои короткие приказания, на которые даже не требовалось слов согласия, настолько они были тверды и неоспоримы. Домой назавтра поедут только Анисья да Игнатка. Анисья сходит в церковь, свечку богу поставить, Игнатка поможет в хозяйстве матери; Максим с Федосьей и Иваном завтра после обедни, должны с луга лен собрать и замочить его в озере, а сам Архип попасет лошадей, которые теперь неподвижно стояли у коновязи и, уставшие, понурились головы и отвесив нижние губы, дремали.

Выслушав распоряжения, все молчали. Не всем хотелось работать в праздник, но всем известно, что даже дедушка не может отменить распоряжений Архипа. Уже давно сдав управление сыну, дедушка и сам теперь был младшим членом семьи, трудясь по силам и по доброй воле.

Оспаривала распоряжения Архипа, и то изредка, только его жена, домовитая и хлопотливая Даниловна. Она теперь дома одна, и потому Архип, наевшись раньше всех, уже запряг Рыжку и потопрапливал Анисью и Игнатку, давая им разные наставления. Положили в телегу сноп овса на ночь голодному Рыжке, и Анисья с Игнаткой, немного отъехав, затянули песню.

Но вот затихло бормотание их телеги, и погасли голоса задорной песни. Ночная мгла придвинулась к гумну, поглотила окружающие пашни и черными стенами уперлась ввысь, в самое обрызганное серебром и потому смеющееся небо.

Уставшие за длинный день труда Максим и Федосья как были в запыленных одеждах, так и сунулись друг возле дружки в душистую и мягкую солому. И дедушка с Тимкой утонули где-то в пушистом борту гумна. Укрывши Тимку тяжелым зипуном [11] и закрыв себя соломой, дедушка бубнил сиповатым голосом Тимке посказульку, но по частой попевоте было ясно, что старый скоро уснет на полслове.

— Ты наробился, паря, ложись, давай! — сказал Архип Ивану. — Я один отведу лошадей-то!..

Иван нырнул под край омета, а Архип пошел пощупать плечи лошадей. Лошади еще не «выстоялись». Архип прошелся по чисто выметенному гумну и подобрал оставленные на нем вверх зубьями грабли.

— Ишь вот, бросают как, набежит лошадь — ногу испортит!..

Постоял возле соломы, накинул на плечи сермягу, прислушался и сам прилег возле скирда. Но сердитый и внезапный лай Пестри вскоре поднял его.

«Ишь, шельма, подкрался как близко...» — мелькнуло у Архипа при виде рванувшихся лошадей и поджавшей хвост и оцетинившейся собаки.

Архип схватил вилы, обежал вокруг коновязи и громко крикнул по-пастушечьи:

— А-гый!.. А-гый!..

Собака кинулась было вперед, но снова с визгом отскочила, а тихо выплывший месяц осветил пару неохотно и с чувством достоинства удалявшихся волков...

— Осень... Голодать начинают... — как бы сочувствуя серым, проговорил Архип и погладил все еще тявкавшего Пестрю.

Он хорошо знал эти ночные набегии: подбегут, напугают лошадей, а те оторвутся да бежать. Волкам этого и надо: угонят куда-нибудь в кусты под яр и — за горло.

Архип решил не спать.

### III

Месяц был полный, и его холодный свет сплошной серебряной пеленой скользнул в поля и осветил тихо лежащий в соседней низине мельничный пруд, черные силуэты юртообразных стогов на лугу и кружево кустарников, окаймлявших речку.

Архип поглядел на дальний, прижавшийся одним краем к речке, а другим — к крутому увалу клин луга и подумал: «Отава [12] там добрая — туда надо будет отвести лошадей. А то тут в хлеб уйдут».

Не торопясь отвязал их от коновязи, крепко взял в руки поводья, сел на одну из лошадей и, позвав Пестрю, медленно поехал на луг. Гулко гудя по земле твердыми копытами и чуя мягкую зелень луга, лошади торопились, забегая вперед и хватая стебли придорожной полыни.

От заречной сопки луна бросила длинную темную тень. Въехав в нее, Архип оглянулся назад. Гумно теперь казалось совсем безжизненным и странным. Лунный свет, кинув от высоких скирд черные тени, сделал гумно непохожим на дневное, будто на краю полосы лежало теперь какое-то невиданное чудовище с золотой спиной и кривыми черными лапами, растянутыми поперек полосы...

— Ну-у, чего ты тянешься?.. — чтобы нарушить пустую тишину, крикнул Архип на ленивую Сивуху. Голос его прозвучал глухо, необычно, и Архипу стало жутко.

— Ну, ну-у!.. Христос с вами, отощали! — уже упрямо продолжал он и посмотрел на Пестрю, который, наострив свиные уши, вдруг остановился и трусливо зарычал.

— А-гый!.. — крикнул Архип во весь голос и, цепенея от побежавших по спине мурашек, слушал, как гулкое эхо катилось по речке, троилось в груди холма и замерло где-то в глубине мельничного пруда...

Ничто не отзывалось, но он почему-то еще более чутко продолжал прислушиваться к этой ночной тишине, спрятавшей в себе так много жуткого и тайного.

Лошади уже шли по скошенному лугу, жадно нагибаясь к земле и оставляя за собой широкую дорогу на заиндевевшей отаве. Вот они вышли снова в полосу лунного света и берегом длинного, извилистого и узкого пруда пошли дальше в самый угол «клина».

Стекло пруда, отливая серебром, было неподвижно. Пожелтевшие камыши глубоко забрели в него с берегов и, грустно склонившись засохшими стеблями, пристально всматривались в глубину.

«Видно, и утки все улетели», — подумал Архип, припоминая, как в летние ночи пруд оглашался целым хором птичьей жизни.

И опять вспомнил лебедей, которые белым бисером плыли в бездне небесной и грустили:

— Кув, ку-вы!..

Упорно держались в памяти эти лебединые звуки, как нужный вопрос, как новая забота, о которой надо крепко подумать.

Архип спутал лошадей, поснимал с них узды и, отпустив на отаву, медленно пошел к ближайшему стогу, чтобы с ним наедине впервые побеседовать о новой, неведомой заботе, мимолетно брошенной ему лебедями...

Но, не привыкшая подолгу удерживать непонятное, мысль не могла остановиться на одной этой новой и неведомой заботе, а беспокойно носилась по длинной веренице уже прожитых годов и открывала давно забытые и в то же время незабываемые картины всей Архиповой жизни...

Все они были так похожи одна на другую, а целая жизнь на жизнь других, таких же, как он, людей земли. И по всему знойному полю труда сплошной,

непрерывной цепью прошла напряженная, изнурительная торопливость. Прошла и замкнула в тесный круг и заставила всегда во всем торопиться...

Торопиться в работе весной, чтобы вовремя посеять, летом, чтобы вовремя убраться с покосом и жатвой, и осенью, чтобы за ведро прибрать хлеб и запастись теплом на зиму, чтобы хватило хлеба семье и корма скотине... Торопиться поднять, вырастить детей, женить сынов и выдать замуж дочерей и торопиться как-нибудь прожить жизнь... А жить-то, понять-то жизнь свою, сделать ее посветлее, поспокойнее и некогда было! некогда было даже подумать о том, так ли все это, есть ли что лучшее, есть ли что иное, кроме вечного труда, вереницы сплошных и смутных забот и постоянной, изнурительной торопливости...

Стоял, прижавшись плечом к потемневшему стогу и держа в руках связку узд, смотрел прямо перед собой, где заиндевевшая зеленая отава, искрясь, отливала в лунном свете всеми цветами радуги, как краски риз той нарядной иконы, которой, не зная ее названия, он так часто молился в церкви...

У ног его, свернувшись в клубок, лежал Пестря, чутко прислушиваясь к ночному безмолвию, а поодаль темным пятном паслись разбредшиеся по лугу лошади, и когда передвигались на другое место, то за ними ползли их черные, распластавшиеся по земле кривые тени...

Луна поднималась все выше и смотрела своим бледным широким лицом прямо Архипу в душу... Смотрела и молчала, как мертвая, и была такая же, какую он помнил ее с самого раннего детства... И все такое же, как было раньше, много лет назад, и этот холм, и увал, и «клин», и кривой, заросший камышами пруд...

И всякий бугорок, всякая бороздка, всякий придорожный камушек знакомы ему, как и деду, как и сыну,

как будут знакомы и внуку Тимке, и все они молча лежат и равнодушно смотрят на все горести, изнурительные труды и заботы его, Архипа, и других, так похожих на него, простых и терпеливых людей...

Уже устал с непривычки соображать Архип и даже забыл, зачем он так старательно сегодня думает о том, о чем почти никогда, за недосугом, не думал, — как вдруг снова поднял кверху большую бороду свою и прислушался...

Откуда-то издалека, с полей, еле слышно, доносилась песня. Раздольная и одинокая, она то обрывалась, исчезая где-то бесследно, то вновь плыла по заснувшим полям и, плавно качаясь, звала куда-то далеко, далеко...

По высокому чистому голосу и раздольному напеву ее было ясно, что поет молодой, у которого еще вся жизнь впереди и который, если и не мечтает в песне своей о чем-то хорошем и светлом, то и не тоскует так больно, так безнадежно, как тоскует, слушая эту песню, Архип... Слышно только, что у певца теперь одно желанье — петь свою раздольную, широкую песню и заставлять немые поля слушать его и отдаться ему, потому что все эти поля принадлежат только ему, поющему одиноко и вольно среди молчания освещенных луною полей...

Вдруг ясно, как будто было это вчера, вспомнил Архип, что ведь и он пел когда-то, и пел точно так же, и пел на этих же полях и эту же самую песню... Пел, не зная слов, но выливая из груди эти же самые, рожденные самими полями напевы...

Понял Архип, выронив узды и еще крепче прижимаясь к стогу, почему так настойчиво, так скорбно попросилась в душу осенняя лебединая песня.

И заплакал он тихо, обидными слезами, что не запоет он больше этой куда-то далеко зовущей песни, что не поправить ничем как-то второпях и в потемках прожитую жизнь...



А песня все раздольнее лилась по посеребренным луною полям и властно околдовывала их красотой своей удали и безграничного простора...

Почуял Пестря тоску своего хозяина, встряхнулся, протянул ему передние лапы и заскулил жалостливо и виновато...

#### IV

Зима пришла вдруг, совсем неожиданно, как и всякая сибирская зима.

Сначала дули ветры, сильные и певучие, со злым озорством рыскавшие по полям и небрежно раскидывающие сухие листья и травы. Такие злые ветры, что когда Максим на гумне веял пшеницу, то зерно кучами уносилось в сторону. Максим долго думал: веять или нет? Отца не было дома, он уехал в город с хлебом — спросить не у кого, а сам решить не мог... Если не веять — как бы не ударило ненастье, и тогда сгноит все...

Он одиноко стоял на гумне возле высокого вороха с оголенной ветром и красной, как мужицкое тело, пшеницей и, держа в руках лопату наготове, выжидательно смотрел по сторонам: может быть, потихнет?

Ветер трепал его длинную красную рубаху, плотно обвивал широкими штанами ноги, срывал с головы шляпу, то и дело бросая ее за гумно, и гнал по тусклым склонам неба ползучие, крутые чудища, серые, как волк, косматые, как домовой...

За гумном ходил Рыжка, но ему надоело щипать сухую траву и видеть то и дело бегущие мимо, похожие на волков, огромные серые клубки перекасти-поля, он спрятался за омет соломы, прижавшись к нему задом. Стоял неподвижно и понуро, отвесив нижнюю губу и нахмутив красивые глаза. Но ветер все-таки забегал за омет и тербил Рыжку то за жидкий хвост, то за короткую гриву...

Максим приехал на нем один. Без людей было как-то скучно, и мысли в голове шли ленивой, узловатой лентой, и было как-то все равно, думать или не думать. А оттого, что приходилось мало работать, было холодно, и он нехотя пошел к мешку с хлебом, достал черствый калач и сел за ветер в соседстве от Рыжки. В неприятной лени и тепле у мягкого омета лениво жевал хлеб и ни о чем не думал... Ветер злился, бегал вокруг, выл и насвистывал, будто натравливая на кого-то злых псов; срывал с верхушки омета желтые клочья соломы и, долго кружа их в воздухе, расшвыривал по полю. Но достать Максима не мог, потому что тот, упершись, весь вдавился в мягкую и теплую солому.

Так приятно было сидеть в сухой душистой соломе и неторопливо жевать вкусный калач, так хорошо было хоть раз поленился на свободе и понежиться в тепле, что он и забыл про недавний тревожный вопрос: веять или не веять?

И заснул под несмолкаемый и такой ласковый шепот пшеничной соломы.

А когда проснулся, то поля совсем потускнели, холм за речкой куда-то исчез, а вытянутые в сторону старые сапоги насквозь промокли.

Вспомнил, что на гумне не покрыты ворох и навейная пшеница, и, быстро вскочив, побежал туда под сплошными, тонкими и длинными иглами холодного дождя.

Суетливо забегал по черному гумну, схватил было лопату, чтобы сгрести чистую пшеницу, но вспомнил, что тогда ее вымочит всю... Кинув лопату, схватил беремя соломы и набросил на чистую пшеницу. Потом быстро стал закрывать и ворох и гумно. Когда все застлал, то, измокший, вспомнил, что где-то была сермяжка. Нашел ее за скирдом, мокрую и грязную, и, накинув на себя, стал греть своим телом. А сам озабоченно смотрел вокруг

на низко нависшее небо, на тусклые поля и на потемневшие нивы и понял, что ненастье затянется надолго. Холодной змейкой скользнула в душе забота, что непровеянный хлеб сгниет теперь в ворохе, а провеянный весь прорастет...

Снова прячась от дождя под омет, сообразил, что хлеба пропадет пудов семьдесят, и больно стало, что без отца не сумел вовремя управиться. Не надо было вчера перебирать заплоты двора, а надо было веять, вчера было вёдро, а заплоты можно было перебирать и сегодня, в дождь — не велика беда, не размок бы!..

Отец ничего не скажет — это Максим знал, но от этого не легче, сам не маленький, должен был без попеченья старших догадаться, что дело осеннее, надо успевать, всяким вёдренным днем пользоваться. Теперь узнают соседи и скажут: «Уехал отец, а сынок и хлеб на гумне сгноил...» Стыд один!..

Сидел под соломой, не зная, как поправить тяжкую ошибку, и слушал, как ропщет осенний дождь, падая на солому и на землю, и как, разгуливая в полях, не то жалобно плачет, не то лихо на свистывает осенний ветер.

Вспомнил, что дома еще повесть [13] не покрыта и много другой работы. Встал, поймал Рыжку и, взявшись за гриву, вспрыгнул на него.

И легким зыбким труском поехал к селу, утопая в густой перламутровой сетке сплошного дождя...

Мокрая рубаха прилипла к телу. Сермяжку пронизывал ветер, а струи дождя холодными змейками ползли за ворот. Но это ничего. Это пустяки... Вот забота, огромная, большая — это не шутка, стыдом сердце сосет: «Не маленький уж, двадцать восьмой год на исходе, не все же заботы на отца взваливать, он уже старик стал, ему теперь бы на печке лежать, а не мерзнуть в дороге... А я без него здесь с хлебом поторопиться не сумел. Надо было лучше веялку

нанять да Анисью с Федосьей на гумно угнать, а не перебирать заплоты. А то приедет отец — хорошую новость узнает, нечего сказать... Нет, довольно на поводке-то ходить, надо самому привыкать к заботе да к попечению. А то перед людьми-то стыд...»

И приехал он домой злой и угрюмый, как никогда еще в жизни. А ночью долго уснуть не мог. Все думал о хлебе на гумне: «Лежит, прееет, сердечный... Перед Богом-то грех!..»

За окном на улице с диким посвистом крутила буря, потрясая ставнями и пиная в крышу избы.

Несколько раз слышал озабоченный шепот Даниловны:

— Сохрани, Господи, в пути и в дороге раба Божия Архипа и всех крещеных.

И ясно представляется Максиму отец, идущий подле тяжело постанывающих телег с клубками настывшей на колеса грязи.

«Лошади прямо надорвутся в эдакую непогодь, — думал Максим, — а старик как бы не простудился, да не слег, тогда просто хоть ложись и умирай. Без него куда я попал?..»

И опять необходимость разделить отцовское попечение показалась неизбежной. Сначала разделить, а потом и совсем принять его на свои плечи, чтобы уж и не расставаться с ним до старости.

«Потому старик на своем веку много поработал, да и силы теперь не те уж...»

Ворочается с боку на бок Максим, совсем забыв, что рядом с ним лежит такая здоровая и молодая Федосья.

Что-то бормочет спросонья спящий на полотах [14] Игнатка, и Даниловна, кряхтя, встает, зажигает сальный огарок и начинает месить тесто.

Видит Максим, как на серой стене беззвучно качается ее уродливая тень с непомерно длинным веселком в руках, и снова вспоминает про хлеб на гумне...

Даниловна месит квашню и шепчет тихо:

— Господи Иисусе Христе... — и прибавляет громко, думая, что сын спит: — Максим, а Максим!.. Сходил бы посмотрел Буренку-то. Скоро ведь отелиться должна, не заморозить бы теленочка-то!

Поспешно встает Максим и, надевая зипун, опять упрекает себя мысленно: «Не мог догадаться сам-то. Все с посылы надо!..» — и обещается крепко приучить себя к неусыпному попечению в хозяйстве.

И вот, шагнув из сеней в непокрытый двор, Максим опешил от неожиданности — несмотря на полночь, все вокруг было так бело, что больно сделалось глазам. Когда пошел по двору, то с трудом переставлял ноги, увязавшие в обильном мокром снегу, а ветер, как шутник какой, торопливо совал ему холодный снежный пух и за пазуху, и в маленькую бороду, в рукава, за голенища...

— Ах, ты хлопота!.. — бормотал Максим, торопливо идя к коровьему двору. — Снег выпал, а повесть еще не закрыта... Как-то старик вернется?.. Как бы лошадей не решил!

Когда вернулся в избу, то, отряхивая снег, сердито стал будить Федосью:

— Вставай скорее, ставь самовар! За соломою поеду, надо дворы закрывать — снег выпал...

И стал искать на полатах пимы, чтобы одеться по-зимнему.

Наткнулся на Игнашку и на него закричал:

— Ну-ка, отодвинься! Эй, ты!.. Подай-ка пим в углу, вон... Слышишь?

## V

Дедушка с Тимкой спали в новой, в прошлом году пристроенной к сеням избе на печке, а Ани-сья там же на полу, на брошенном тулупе.

Зимою дед просыпался рано, вскоре после первых петухов, и лежал на печке, позевывая и слегка постанывая, пока на рассвете не заснет вторично.

Поэтому всегда выходило так, что Тимка утром вставал раньше дедушки.

Проснувшись утром, Тимка сначала куксился и ныл плаксиво:

— Кусо-очка-а!..

Если никто не отзывался, он начинал реветь громко, пока не проснется дедушка и не станет утешать его.

Но на этот раз, проснувшись, Тимка широко открыл глаза и удивленно смотрел на необычное освещение в избе. Потом сел и, глядя через окно на белую улицу, толкал дедушку и спрашивал испуганно:

— Дедка-а!.. А дедка, это што-о?

Дед расслышал и, проснувшись, прошамкал недовольно:

— Да слышу, сейчас... А, штобы те постреляло!..

— И стал, почесываясь, слезать с печки, но увидев в окно рыхлый, иссиня-белый снег, богато опушивший заборы и укрывший крыши домов и улицу, протянул: — Фу-у... Смотри-ка, Тимка, — зима пришла! — и, подойдя к окну, деловито поглядел на улицу, приятно улыбнулся, точно радуясь восьмьдесят третьей зиме на своем веку... Он не испытывал заботы, какая давно перешла от него к Архипу и частью уже к Максиму, и, улыбаясь красивому снегу, пухлой периной лежащему на улице, где еще вчера была мокрая грязь, говорил Тимке:

— Ищи пимы, Тимка... Да рукавицы — на улицу огребаться пойдем...

Тимка с расширенными глазами торопился есть горячую лапшу со свежим калачом, в то время, как бабушка и мать хлопотливо разыскивала в кладовке прошлогодние Тимкины пимы и рукавички. Овечья шуба его была на приметном месте, на гвозде в горнице.

А дед уже вышел на улицу, смастерил из тоненькой тесницы [15] Тимке маленькую лопатку и встретил его с веселою улыбкой:

— Во-от, едрёно-зелёно, мы тут два таких молодца, как почнем грести — живо все с тобой управим!.. — и, подгоняя торопившегося в снег Тимку, крикнул: — Удалей!.. Вот так его, Христову рубашку!.. — И рассыпался старческим добрым смешком.

Обрадованный Тимка бестолково бросал снег, развеивая его по ветру и попадая в седую и мягкую бороду деда, и весело звонким голосом что-то лепетал, сияя розовым, как недозревшая малина, личиком. А по улице, редко выделяясь темными пятнами на белизне снега, с поля шли лошади и молодые быки.

Прогнанные с выгона внезапным холодом зимы, они спешили укрыться в теплых дворах и мычали и ржали, требуя сена.

— Но-о, подождете, — добродушно беседовал с ними дед, — Ишь, не успели еще уют-то вам доспеть. Неуправно все... — а сам по-прежнему шутил с Тимкой, оставив всякое хозяйское попечение, есть кому — управятся, да и мешать не стоит.

— А мне немного уж надо!.. — тут же вслух бормочет он, не испытывая при этом ни страха перед грядущим, ни жалости о прошедшем. — Печку теплую да краюшку хлеба... Да вот Тимку стосотельного!.. — толкнув Тимку в мягкий снег, шутя прибавил старик и вместе с ним залился опять мелким рассыпчатым смешком. Тимка, желая отомстить деду, быстро встал и бросил ему в лицо полную лопату снега.

— Ах ты, штобы те постреляло!.. — не сердясь кричал дед и очищал от снега клочковатую свою бородку.

С крыльца, пробегая от соседей, кричала им громкоголосая Анисья:

— Ишь вот как работают!.. Ах вы, штобы вас совсем!.. — и смеялась полным здоровьем и задорной радости молодым смехом.

Она только что виделась с Ефимом, весельчаком и песенником, который, проезжая верхом по степи и гоня коров, кричал ей:

— С белым снегом, Анисьюшка!.. Вечёрку делать надо!..

— За чем дело? — ответила.

— За девками да за песнями!.. — объяснил он.

— Этого добра хватит!.. — сказала и весело засмеялась, да так со смехом и домой прибежала.

Даниловна, встретивши ее, сердилась:

— Ревет с парнем на всю улицу — ни стыда, ни совести! А штобы пораньше встать да за прялку схватиться!.. Ступай-ка, неси из амбара кросна [16] мне, да пряжу-то там не промочило ли дождем... Вас все ведь рылом ткнуть надо!

— Ши-то капустой заправить али картошкой? — открывая западню, спрашивала Федосья и, опуская ноги в подполье, озабочено смотрела на свекровь.

— Заправь картошкой да шевелись поскорее. Парень-то ведь, того гляди, придет, есть запросит. Игнатка, беги-ка скорее, загони в пригон быков-то, а то уйдут в соседи, напакостят еще што-нибудь... Ах ты, Господи, прости, чистое горе эта зима!.. Как-то старик-от у нас вернется?..

В избе вдруг слегка потемнело: это три больших воза соломы проехали во двор мимо окон, и сидевший на одном из них Максим кричал Игнатке:

— Да не пускай их к возам-то — всю солому разнесут!.. У-у, бестолковый!

Но быки, мыча и мотая рогами, пустились на солому, вытеребивая и рассыпая веселые клочья по снегу.

Перед вечером на дворе звонко-звонко заскрипело под ногой, а закатившееся солнце обложилось



оранжевым кругом и село между туманных столбов. Такой мороз ударил, что слюна на лету застывала...

Все попрятались в теплую избу, и только Максим, закончивший покрышку повети, покрякивая и подергивая плечами, возился еще со скотиной, загоняя каждую на свое место и уговаривая:

— Сегодня на сололке ночуйте уж, ребята. А завтра за сеном поеду, надо распочать стожок, куда деваешься!

Совсем стемнело, когда вошел он в избу и, грея у печки руки, сказал:

— Фу-у, батюшки мои, какая стужа! Как-то старик доедет? Господи!..

А поздно ночью, когда только что вернувшаяся с вечерки Анисья улеглась в горнице на тулупе, спавшая в избе на печке Даниловна приподняла голову и прислушалась.

Снаружи у заиндеветого окна кто-то скребся и повизгивал.

— Батюшки!.. — хватаясь за спички, сказала Даниловна. — Ведь это Пестря прибежал!.. Выйди-ка, Максим... А Максим!..

— А! — спросонья вдруг ответил тот.

— Пестря, мол, надо быть, прибежал, выйди-ка...

Максим быстро надел пимы и в одной рубахе выскочил на крыльцо...

Даниловна зажгла свечку, и в ту же минуту впереди Максима в избу кубарем вкатился иззябший Пестря и, виновато и радостно повизгивая, забрался в передний угол под лаву, усердно виляя пушистым и круглым, как калач, хвостом.

— Ну, дурак, сказывай, где хозяин-то! — спрашивал Максим, торопливо одеваясь. — Далеко ты его оставил? Федосья, а Федосья!.. Вставай! Ставь самовар — отец едет!..

— Ну-ка, потягивайся! — бросила снохе Даниловна. — Старик-от передрог, поди, весь...

Много прошло времени — уже зашумел самовар в кути [17], — пока за окнами, на гулком снегу, слышался оглушительный шум двенадцати обмерзших конских копыт.

То подъехал вернувшийся из города Архип.

— Бросил, видно, телеги-то? — спросил его выбежавший навстречу Максим, но отец не ответил и, кое-как спешившись с вершной [18], глухо кряхтел, и, стуча по крыльцу, как камнями, застывшими сапогами, неровной походкой пошел в избу...

Уехавший одетым не по-зимнему, он вернулся в каком-то чужом, плохом тулупе, а обмотанная на голове бабья шаль обледенела так, что ее едва оторвали от спутанной и длинной бороды Архипа.

— Ноги-то... мне снегом оттирайте!.. — как-то через силу, точно выдавливая каждое слово, сказал он и, сев возле печки, протянул сапоги к рукам жены и молодухи.

Те не смогли снять заочевших сапог, пока не пришел Максим, а когда он снял их, то все пальцы и пятки ног Архипа были тверды, как льдины, и белы, как воск...

— Водкой оттирать скорее надо! — крикнул Максим и выбежал из избы, чтобы поискать у кого-либо из соседей водки, дома не оказалось — пьющих не было.

И только теперь, почуввав нестерпимую боль, Архип застонал и, будучи не в силах двигаться, повалился на кровать.

Все оцепенели в пугливом молчании, и только самовар жалостно повизгивал, будто плакал.

## VI

Похворал Архип недолго — недели полторы, и все это время лежал в огне, почти не приходя в сознание. Ничего не ел, не пил, не говорил и только по временам бессвязно бредил и тяжело, тягуче стонал. Так стонал, что всем, кто был в избе, становилось больно.

Часто к кровати подходила Даниловна и соболезнующе спрашивала:

— Может, ты поел бы чего маленько, а?..

Но не получив ответа и постояв немного, уходила опять, вытирая фартуком тускнеющие от слез глаза и причитая чуть слышно:

— Господи, Богородица Матушка!.. Што же мне с ним делать-то?..

С улицы по временам входил Максим и спрашивал чуть слышно:

— Ну как... Ел чего али нет?..

В ответ ему безнадежно махали рукой.

Дедушка теперь почти не выходил из горницы, часто вздыхал и шептал молитву, а когда приходил в избу, то советовал поить сына редечным соком, а почерневшие до колен ноги мазать гусиным салом... Но его почти не слушали, хотя и говорили ему, что делают так, как он велит.

— Вот, вот! — соглашался старик. — Оно лучше будет, кровь-то разобьет и полегчает...

А сам опять уходил в горницу и карабкался на печку, подолгу молчал там и думал о том, что не Архипу, а ему бы надо хворать-то. Архип еще вплотную работать может, а он давно уже без пользы коптит небо. Уж очень зажился на свете!.. Так зажился, что уж и жить нелюбопытно. Пожалуй, даже хорошо бы умереть-то... Вот только Тимку жалко, а то вовсе можно бы.

Но здесь выступало что-то смутное, неведомое, вечное... Пугало мысли темным, бездонным провалом, и дедушка только шептал пугливо:

— О Господи, прости меня грешного!..

И решал подумать о грехах да о том, что пора бы пособороваться [19], но непослушные мысли выдвигали совсем другое.

«Лесина-то годов пять лежит уж под окном. Знатная лесина, тополевая, вольготно высохла и нигде не потрескалась: хорошая, плотная и легкая домовина [20] будет!..»

Вспомнил, как весною на пасеке рубил ее. Хороший, погожий день был, пчелы еще не роились, а трава уж цвет набрала. Делать было нечего, а лезть грешно...

А дерево-то сохнуть стало — грозой, должно быть, повредило. Хорошее, широкое было, тени много давало, и тень-то падала на лужайку, отдыхал под ним часто в праздники... Пригляделся — сохнет... Жалко стало — чего пропадать ему, взял да и срубил. Сажени полторы дров наготовил да два сутунка [21] выгадал. Из одного-то лопат наделал, а другой-то, самый толстый, на домовину себе определил. Вот и лежит, ждет... Думал, что скоро приберет Бог, а Он все еще мешкает чего-то... За грехи, видно, мает...

И хочет старик припомнить свои грехи, но не может, жизнь долгая, где все упомнишь?.. И опять о лесине.

«Хотел же Архип как-то колоду выдолбить для кормежки коней, да не дал ему — во что, мол, меня положишь? Вон покойнице-старухе — царство небесное — гроб-то делали — стыд один, лесины доброй не было, плах [22] тоже... Сколотили из каких-то старых досок да и положили, как безродную какую!..»

Но опять туманные думы тянутся к дереву, будто связано в прошлом с ним что-то яркое и дорогое...

«Ведь ровно вчера его воткнул-то, а выросло вон какое, да под окном уж належалось... Штук пять ли, шесть ли кольев-то тогда воткнул — принялись, мотри... Выросли, теперь рощу-то за двадцать верст видать!..»

И улыбнулся старик, задумчиво свесив голову.

«Матрена в те поры как раз Архипку-то и родила... Молода была тоже, удалая такая, жать ли, косить ли, бывало, — мужику не сдаст!..»

Тягуче шевелятся в старой голове давнишние воспоминания и, теряя главное, как-то неуклюже выдвигают разные обрывки прошлого. То крупные и важные, то мелкие и смешные... И обидно, что

вся жизнь его теперь никому не нужна и не важна, сходит на нет. А ведь он — корень целого куста, и самой молодой и нежной веткою на нем является четырехлеток Тимка...

— Чудно!.. — удивляется дед и вглядывается опять в тусклую даль прошлого.

И как будто еще что-то более яркое мелькнуло в голове да оборвалось, исчезло из памяти... Не поддается.

Знает только, что зажился он и что в избе на кровати лежит больной сын, тоже старик уже... Лежит и пищу в рот не берет...

«Надо пойти узнать, как он?.. Опять, поди, забыли редечным соком попоить...» — слезая с печки, думает старик и, кряхтя, вслух добавляет: — Што и за народ нынче стал!.. Ровно мы раньше не мерзли да не простывали!.. Все, бывало, нипочем, а нынче на вот... Хилые стали какие, прости Бог!..

Медленно, шаркая ногами, идет в избу.

В сенях сталкивается с румяным Тимкой, тот, гремя салазками, тащит их на крыльцо и, дразня кого-то, кричит на улицу:

— Ишь ты какой!.. Сделай-ка свои!..

— Ты чего тут шумишь?.. Дедка-то вон хворает... — шепчет старик, а сам ласково смеется правнуку и вперед себя пускает его в избу.

— Иди скорее, грейся, што ли! А, штобы те постреляло!..

И видит, что в избе у кровати больного столпилась вся семья... Столпилась и затихла, как бы слушая, что скажет хворый.

А он, открыв глаза и устремив их на Максима, с остановками и тяжелым хрипом в груди, кое-как промолвил:

— В грехах... ба... покаяться... — И опять закрыл глаза, будто не желая никого видеть...

Все думали, что бредит, но Федосья догадалась и перевела:

— Батюшку на дух требует!..

Архип взметнул глазами на Федосью и пристально посмотрел на нее:

— Федосьюшка... — выговорил он слабо.

— Беги скорее!.. — приказала Максиму Даниловна.

Максим засуетился и выбежал запрягать лошадей, чтобы съездить за священником.

Дедушка, не слыша всего, не понял в чем дело и, приблизившись к сыну, спросил:

— Ну, что, сынок, полегче?

В ответ ему застонал Архип и, открыв глаза, пристально поглядел на жену. Та наклонилась к нему.

— Потерпи... мать, тут... Ребят-то не бросай!.. — сказал он внятно и тихо...

— Да што ты, соколик мой ясный!.. — всполошилась и запричитала Даниловна. — Да неужто ты нас оставляешь?.. — но, увидев скорбную складку на лице мужа, она подавила в себе рыдания и как была с искаженным горечью лицом, так и насторожилась.

— Максим-то... где?.. — слышали все.

— Позови скорее Максима, Анисьюшка! — приказала мать и опять насторожилась...

— Дедушку-то... не обижайте... Да живите... хорошенько... чтобы... люди-то не... укоряли вас... — И весь затрясся, исхудалое лицо передернулось, а впавшие глаза наполнились слезами... Что-то еще хотел сказать, но только прохрипел невнятно и закрыл глаза...

Торопливо вошел Максим и осторожно приблизился к кровати, но уже не узнал лица родителя. Оно потемнело, вытягивалось и каменело.

Постояли еще немного и поняли, что уходит он от них навсегда, в далекий путь...

А когда привезли священника, то Архип лежал уже под образами на лавке и тихо и редко дышал.

Зажгли восковые свечи, столпились возле его ног и притихли, пока батюшка давал умирающему глухую исповедь [23]...

В избу входили все новые и новые соседи и спешили к Архипу, чтобы еще с живым проститься... Подходили, спрашивали о чем-то...

Прощались вслух и тихо отходили к Даниловне, чтобы помолчать с нею вместе и тем самым разделить ее горе...

Дедушка, как будто еще больше сторбившись, стоял, поджав руки, и нельзя было понять, плакал он беззвучно или тихо улыбался — так странно было сморщено старое лицо его.

Максим с окаменелым лицом молчал, и видно было, что на грудь его навалился тяжелый камень. Анисья и Игнатка громко плакали, а Даниловна, как пришибленная, сидела в кути и смотрела куда-то в пол, в одну точку, как в бездонную пропасть, и тихо, придушенно всхлипывала. И только одна Федосья проворно и заботливо хлопотала в избе, кого-то звала, кому-то что-то шептала, соболезнующе кивала головой и то и дело утешала громко плачущую Анисью:

— Да будет, Анисьюшка, будет!.. Куда же деваться-то?..

Батюшка кончил исповедь и, прикладывая крест к губам Архипа, внимательно посмотрел в его бледное лицо... Затем, завертывая крест в епитрахиль [24], сказал, качая головой:

— Преставился!.. Прости да благослови!.. — и, постояв немного над усопшим, перекрестился и беззвучно вышел.

Все громко зарыдали, заметались по избе и испуганно смотрели в спокойное и совсем какое-то новое лицо Архипа, на котором не стало ни страдания от боли, ни трудовой заботы.

Впервые никуда не торопился он и, свободно опустив тяжелые и мозолистые руки, смотрел, казалось, куда-то страшно далеко. И было лицо его красиво и вдумчиво серьезно, будто он увидел Бога.

Без просьб, с искренней заботливостью принялись соседки и соседи за последние услуги Архипу. Бабы, засучив рукава и попросив теплой воды и чистую рубашку, стали наряжать его, а мужчины вышли во двор и без всяких споров разделили между собой более трудную работу. Четверо с ломami и лопатами пошли на кладбище рыть могилу, двое ушли к священнику просить о погребенье с выносом [25], а трое остались здесь, чтобы подыскать лесу для креста и домовины...

Ходили по ограде и двору, бесшумно говорили, приглядываясь к следам и столбам, но не решались сами брать что-либо и, совещаясь, вышли из двора на улицу... Здесь, увидев у избы край засыпанного снегом толстого бревна, один сказал:

— Вот, ребята!..

— Нет, это дедушка себе бережет!

— Надо спросить! Может, он уступит?

— Можно и спросить!.. — и пошли было в избу, но дедушка сам шел на улицу и говорил мужикам, будто зная их намерение:

— Лесину-то себе берег было, ну да ладно, меня и так как-нибудь закопаете, а ему надо получше... Потрудитесь, ребяташки, из нее вот и того... Со Христом! — И первый стал очищать лесину от снега.

А когда отвалили бревно, он взял топор и сказал тонким, слабо взвизгнувшим голосом:

— Потружусь и я с вами... — и начал тихонько тесать вместе с другими. Из старых потускневших глаз побежали мелкие капельки, падая темными точками на лесину.

Подбежал с салазками Тимка.

Давно обогревшийся и ускользнувший из избы, он играл где-то в соседском дворе, у товарища, и не интересовался тем, что происходило в избе.

И спрашивал теперь, громоздясь на толстое бревно:



— Дедушка, это што будет, а? — Но, увидев с треском отлетающую щепку, соскочил с бревна, схватил ее, не дожидаясь ответа, сел на салазки и крикнул на воображаемую лошадь: — Но-о... Э-э-х, ты-ы!..

И, подскребая ножками, тут же ерзал на салазках по притоптанному снегу, полный беспечной шалости и беспричинного восторга...

Из избы вышел безмолвный Максим и, сомкнув рукава тулупа, бесстрастно и подавленно глядел мимо сугробистых изб деревни в немые и раздольные поля, покрытые светозарным саваном....



## ХАНСТВО БАТЫРБЕКА

### I

Киргиз [26] Батырбек, потомок знатного ханского рода, верхом на коне ехал по степи и пел раздольную песню.

Всматривался в бескрайнюю даль, на длинный ряд старых, увенчанных черемуховыми кустами курганов и вспоминал старину...

Сам он был еще не стар, но о старине много слышал от дяди Карабая, да и песня рассказывала многое. Под грустное ее завывание все так и рисовалось, как действительность...

К тому же, если сравнить старину с настоящим, то надо только расплакаться — ничего не осталось от того, что было... Так, одни обрывки...

Песня длинная и подробно повествует о старине. А старина всегда и для всех хороша, старым как быль, молодым как сказка...

Вот он, Батырбек, считается ханом... А какой он хан?... Так, из уважения к памяти предков разве... Вот раньше были ханы так ханы... Взять, например, его отца Бекмурзу или деда... У деда даже в имени это звучало: Маймырхан!..

Это был настоящий хан: жил в белоснежной юрте, ел только жеребятину, каждый день пил верблюжьих сливок... Лошадей — счету не знал. Были сотни коней, до которых и узда не касалась... Так и старились необъезженными.

Недаром и имя сыну дал — Бекмурза!

А это значит — князь-повелитель!

Конечно, Бекмурза умер тоже небогатым, старым, седым, беззубым, сгорбленным... Не все верили, что в молодости он был джигит, которому завидовала вся степная знать.

Поет Батырбек песню и сам себе в ней рассказывает о своем отце, о знаменитом Бекмурзе...

Высокий и стройный, с глазами, в которых всегда горели огоньки, с гибким и упругим телом, он походил на степного орла. Только у орла всегда стремление ввысь, а у Бекмурзы — в ширь и даль степных просторов... Ему хотелось всю ее обнять и выпить одним поцелуем... А потом, опьянев, взлететь на высоту, сесть на облака, закачаться на них и уснуть навеки!..

И в эту-то пору жадности к жизни вздумал отнять у него невесту старый хрыч Нурыхан... Правда, старичонка был бойкий, двух баб состарил, Алтынсу хотел состарить, третью...

«Врешь, собака, не удастся!..» — сказал тогда молодой джигит Бекмурза и вспыхнул, как вереск...

Созвал всех джигитов, отца поднял на ноги — даром, что старик целыми неделями не вставал: толст очень был — ни одна лошадь не поднимала. Возили только верблюды.

Созвал всех и закричал:

— Умрите все, а не дайте Алтынсу Нурыханке!.. Не то всех ночью убью, степь зажгу!.. Сам умру!..

Конечно, весь род поднялся за джигита Бекмурзу. Кто не пожелал бы постоять за счастье любимого ханского сына, красу степей, цвет киргизской молодежи?!.

Нурыхан почуял, что дело плохо, да и начал мудрить.

Приехал в ханскую ставку с сотней своих родичей — тоже богатый, знатный был, старый пес, — да к отцу с почестями, с подарками. Из кости резную шкатулку привез, а в ней полно разных дикувинок. И говорит:

— Честные, хорошие люди никогда не ссорятся из-за баб... Стоит ли того баба? А нам, знатным старшинам, и вовсе не следует дружбу терять!..

Дед Батырбека Маймырхан был человек гордый, горячий, но уступчивый. А тут, раз Нурыхан сам первый приехал с поклоном, как было не уступить?

— Хорошо, — говорит, — давай потолкуем, как порешить спор из-за девки?..

— А вот как, — говорит Нурыхан, — до аула Алтынсы отсюда полтора ста верст. Давай побежим байгою, у кого больше лошадей вперед прибежит — того и невеста!..

Взвизгнул добродушный Маймырхан от смеха и крикнул:

— Хорошо! Идет! Только не надо байги, не надо менять много лошадей и джигитов, а пусть бегут сами женихи, двое!.. Кто вперед прибежит — того и невеста...

Подумал Нурыхан и хитро поглядел на бледного, взволнованного Бекмурзу.

Он знал, что у Маймырхана нет такого резвого бегунца, как его белый конь, заранее был уверен, что выбегает Алтынсу у молодого Джигита, и сказал:

— Хорошо, я согласен.

Но Бекмурза спросил у Нурыхана:

— А если я не на коне, а на верблюде побегу?

— Хоть на корове беги! — ехидно отвечал соперник.

— Как на верблюде?! — сердито вскричал на сына Маймырхан. — Что, разве мало у меня лошадей?.. Заставь по двадцать лошадей пробовать каждый день, пусть сто пропадет, сто первая выбежит!

Но Бекмурза был умный человек. Он знал, что на большое расстояние лучше выбежит верблюд.

— Нет, я на верблюде побегу!.. — упрямо сказал он и стал уговариваться с Нурыханом о дне и порядке бега.

Бег был назначен через неделю. Стали чередить бегунцов [27]. Съездили к матери Алтынсы, вдовой старухе, и сказали ей обо всем.

Алтынса побледнела и затряслась. Слыхала она о Бекмурзе, а Нурыхана видела своими глазами и боялась, что достанется Нурыхану. А матери было все равно, от кого она возьмет калым, только бы было не менее тысячи голов скота. Жадная была старуха.

Всю неделю чередили, как снег, белого коня для Нурыхана и такого же белого, с кучерявой шерстью, верблюда для Бекмурзы.

Нурыхан в душе потешался над Бекмурзой, звал дураком Маймырхана и радовался тому, что без ссоры и опасности овладеет Алтынсой.

Да и Маймырхан ругал сына:

— Ты сдурил или нет?..

Бекмурза молчал и продолжал чередить верблюда.

Настал день бега. Решено было бежать с вечера, в ночь.

Путь к аулам Алтынсы лежал вот этой равниной, которой едет теперь Батырбек, мимо прямой и длинной линии древних курганов. Дороги не было. Была чистая ковыльная степь. На каждом кургане поставили по два человека от каждого соперника — жечь костры и встречать и провожать бегущих. Чтобы потом было кому удостовериться, правильно ли бежали...

Курганов было много, бесконечный длинный ряд, один от другого на пять выстрелов из лука. И на них стали десятки джигитов. Никогда никакая байга не привлекала столько народу. Вся степь приехала подивиться на редкое событие и живой лентой соединила аулы жениха и невесты.

Оба соперника вымылись, выбрили головы и оделись в белые камзолы [28]. Около ставок Маймырхана и Нурыхана шумели и скакали на лучших конях сотни всадников.

Бежать решили от аула Маймырхана, с круглой сопки. На ней поставили две белые юрты. Вокруг курились десятки костров, и на них варились десятки молодых баранов, чтобы накормить всех гостей...

Нурыхан за ужином посмеивался над Бекмурзой:

— Чего плохо ешь?.. Думаешь, тяжелее верблюду будет!.. Не бойся — помаленьку увезет. Торопиться тебе некуда...

Бекмурза молчал и не ел. Волновался он. Сомневался в себе и в верблюде, который стоял под желтой попоной и, тонкий, похудевший, склонял маленькую птичью голову к земле и пытался защипнуть притоптанную траву...

Бекмурза чувствовал на себе насмешливые взгляды и друзей Нурыхана, и некоторых соседей, но, сдерживая гнев, молчал.

Вот солнце повисло над лиловым горизонтом и побагровело. Жар давно свалил, и смолкло стрекотание кузнечиков. Вся гора была усеяна нетерпеливо ожидающими всадниками, а вдоль прямой линии растянулись любопытные: справа — со стороны Нурыхана, слева — со стороны Маймыр. Так они и ушли за десятки верст по розовеющей от заката степи, рассеявшись частыми, едва заметными точками...

Настает момент бега. На востоке навстречу выплыл и повис чистый полумесяц.

Ретиво пляшет и храпит белый конь Нурыхана. Слуги подтягивают ему подпруги и подсаживают маленького юркого старика. Бекмурза бросает подбежавшим слугам желтую попону, и сам прыгает на журавлиную шею, затем на спину верблюда. Плотно садится в природное седло.

Старый Маймырхан, широко расставив толстые ноги, с трудом держит свое огромное, толстое туловище и, заглядывая вверх на сына, кричит ему:

— Ну, смотри!.. Если осрамишься — на меня не пеняй!

Бекмурза молчит и косится на Нурыхана...

Впереди два джигита враз дают сигнал, и первые во весь опор пускаются вперед между растянувшимися рядами всадников.

Белый конь Нурыхана взвился на дыбы и, закусив удила, рванул руку хозяина книзу и понесся как стрела, пущенная из лука.

А белый верблюд Бекмурзы как будто даже и не сообразил, в чем дело. Оставшись на месте, он некоторое время оглядывался, вытянув длинную шею, и уже потом, раскачиваясь, медленно побежал с горы, широко раскидывая крупными лапами...

В воздухе повис оглушительный гул от криков и гиканья, и вся орава всадников полным галопом понеслась по степи вслед за белыми соперниками.

Легкой птицей летел белый конь Нурыхана. Неуклюжей размашистой рысью бежал верблюд Бекмурзы, сильно качая его из стороны в сторону. Чужда ему лошадиная горячность, и он бежал, как бы недоумевая и не веря тому, что надо бежать, озирался по сторонам и сердился на скачущих возле всадников, неистово гикающих и размахивающих руками и стремянами.

Солнце совсем закатилось, откинув красный веер зари. Выше поднялся месяц, и степные ковыли заструились серебристыми волнами, чуть-чуть подрумяненные зарею.

В лицо Бекмурзы несется теплый, пахучий ветер. Верблюд качает, баюкает его и, сердясь, громко оглашает степь своим сиплым криком. Вытягиваясь, размашисто бросает ноги, как страус.

Многие из провожавших давно отброшены назад вместе с уносившимися курганами, и лишь немногие из загонщиков бегут следом и возбужденно гикают.

Не видать Нурыхана... Унес его быстроногий конь из виду... Но ни о чем не думает Бекмурза. Он забыл



себя и свои дни... Он сросся с белым верблюдом в одно тело и живет с ним одной, безудержно стремящейся все вперед и вперед душою... Знает Бекмурза, что еще не разбежался его верблюд, еще неуклюж и мотоват его бег... Но знает и то, что быстрота его бега все растет и растет. А киргизу что надо? Бежать, бежать по степи все быстрее и быстрее надо!..

Темнеет степь. Потухают последние отблески зари. Еще выше всполз на небо полумесяц и усыпил травы, залил серебром и околдовал молчаливую степь. Отстали все джигиты... Только слышен мягкий шелест травы под лапами верблюда и его тяжелое храпение... Да изредка верблюд все с тем же сердитым недоумением оглашает ночную тишь певучим криком...

Длинный путь впереди отмечен вереницею горящих костров, и когда мимо них проносится Бекмурза, с курганов несется иступленный вопль восторга...

Мчится Бекмурза и не считает костров. Знает, что далеко уже теперь Нурыхан, и как-то безучастен Бекмурза к тому, зачем бежит и что с ним будет...

От качки у него кружится голова, и горит от сильного движения тело... Быстрее, расстилаясь по земле, бежит верблюд, и все реже бросает он в лунную ночь свои пронзительные крики...

Вдруг, после одного из курганов, когда восторженные крики отлетели назад, Бекмурза почувал, что верблюд уже не мотает его из стороны в сторону, но плавно несет, как птица на крыльях...

Ожил, встрепенулся, взвизгнул Бекмурза. Дождался он того, на что надеялся, — верблюд пошел чистой иноходью!..

Только теперь почувал Бекмурза, куда и зачем бежит он... Да, теперь у него вспыхнула надежда овладеть Алтынсой, во что бы то ни стало, вырвать ее у старого Нурыхана, если он уже взял ее, и в припадке страсти задушить при первом же поцелуе...

В лучах луны искрится роса на траве... Одиночными точками горят вдали костры на курганах. Бекмурза несется все быстрее и быстрее... И ровно в полночь, когда луна была совсем над головою, в шумных криках от костра он улавливает:

— Догоняй!.. Ближко, ближко Нурыхан!..

Но верблюд без понуканий сам все наддает, все прибавляет ходу...

Еще курган, и крики, встречающие Нурыхана, сливаются с криками при встрече Бекмурзы... Он уже настигает своего соперника, и теперь они чувствуют друг друга... Две белые движущиеся точки одна за другою несутся по сонной равнине...

Бегут белые всадники под белым светом луны по белым волнам сверкающих росой ковылей...

Все ближе, все ближе друг к другу, и верблюд будто теперь только понял, в чем дело... Крикнул он длительно и переливно и еще прибавил ходу. Затрепетал, заржал белый конь Нурыхана и тоже усилил бег, грызя удила и в такт своему бегу позванивая уздою... Похудел он, ослабли подпруги, и слышно, как движется седло по спине...

Плотно припал Бекмурза грудью к переднему горбу верблюда и зорко горящими глазами впился в противника. Он стиснул зубы, прикусив тонкий, черный ус, и сердце его переполнилось неукротимой злобой к Нурыхану...

«Зачем, старик, становишься на пути молодого?.. Зачем бьешься из последних сил?.. Видно, крепко уцепилась за сердце твое молодая Алтынса?.. Видно, стоит она того, чтобы отдать за нее все, что осталось в жизни твоей лучшего!..»

И во второй раз взвизгнул Бекмурза от прилива страсти к Алтынсе. Как эхо, отозвался надорванный крик Нурыхана, почуявшего, что последняя радость от него ускользает...

Долго несутся одна за другой две белые точки: одна маленькая впереди, другая большая позади... Вот ближе, ближе одна к другой, и у самого кургана, при красном свете костра, при неистовом вопле сторожевых киргизов, они сливаются в одну и уносятся общим белым пятном в туманную даль.

И бегут, бегут... Бегут к живому призу-искушению, отравившему кровь ядом любви и опьянившему рассудок...

Бегут уже оба рядом... Бегут и молчат, охваченные смертельной враждою друг к другу...

Но вот шея верблюда вытянулась, он опять крикнул и обошел белого коня Нурыхана...

Впереди пылали костры на последних курганах, и встречавшие Бекмурзу киргизы кричали все восторженнее.

Нурыхан, пригнувшись к гриве, все более отставал, и видно было, как белый конь его сбивался, теряя быстроту и ровность бега.

Потускнел месяц, склонившись к западу, а впереди навстречу бегущему Бекмурзе разгоралась утренняя заря... Краснела, как щеки стыдливой Алтынсы, трепетно и пугливо ждущей теперь конца рокового состязания.

И вот вдали, на ровном горизонте, на румянце зари нарисовались и аулы.

Бежит белый верблюд и, почуяв жилье, устало и протяжно кричит... А навстречу с бурными криками несутся сотни всадников и, окружив Бекмурзу, поворачивают с ним к аулам.

Бедная, изнемогающая, поддерживаемая подругами, стоит у своей юрты Алтынса и слабо, но нежно улыбается Бекмурзе. А он не может сойти с верблюда — отекло, окоченело от усталости и напряжения все его тело.

Его снимают и ведут под руки к невесте. Впервые и навсегда он берет ее теплые руки и плачет, как маленький.

А верблюда, который уже не мог стоять на ногах, подхватывают под живот арканами, ставят между двух свежих верблюдов и тихо ведут вокруг аула, чтобы не дать остыть его кипящей крови...

Аульный мулла торжественно подносит посеребренный полумесяц из дерева и увенчивает им взмыленную голову белого верблюда, победившего зло и постоявшего за молодость.

Пал белый конь Нурыхана, не добрав всего несколько шагов до аула. И старый Нурыхан, вдруг одряхлевший и смиренный, заплакал на свежем трупе своего любимого скакуна...

Так кончился небывалый спор Бекмурзы с Нурыханом... Так завершился бег, о котором знала вся степь, о котором из века в век будут петь, как о сказке...

Это был бег, увенчавший, украсивший новым именем знатный род, первенцем от Алтынсы родился — Батырбек!..

А это тоже означает — князь-богатырь!..

Батырбек длинной высокой нотой закончил песню и умолк, вспомнив действительность, далекую от яркого и вольного прошлого.

Он подъезжал к своему аулу, плотно серым пятном припавшему к небольшой сопке, круглой, как опрокинутый казан, и голой, как бритая голова киргиза.

## II

Была на исходе девятая луна [29]. Подходило время откочевывать к зимовкам, и многие уже откочевали. Целыми днями с утра до вечера в разных местах с холмистого востока спускались на равнину табуны лошадей, стада коров и баранов. Они плотными живыми лавинами сползали с холмов и потихоньку продвигались дальше, медленно исчезая из виду.

Но аул Батырбека, состоявший только из пяти юрт, все еще пребывал на летнем стойбище.

Все пять юрт стояли полукругом, будто шли гуськом по кривой дорожке, да так, остановившись, и залетовали [30]. Три из них были старые, темно-серые, дырявые и прокопченные дымом, одна пегая с новыми заплатами из войлока и одна совсем белая, из хорошей кошмы, с красными узорами и цветными арканами. Обе юрты принадлежали Батырбеку, а остальные — его сородичам: дяде, старику Карабаю с семьей, сродному брату, бедному джигиту Сарсеке и дальнему родственнику по первой жене, Байгобылу, могучему, черному и одноглазому киргизу.

В пегой юрте жила первая жена Батырбека, пожилая Айнеке, а в белой — сам Батырбек со второй женой и пятилетним сыном.

Старший сын от Айнеке, джигит Исхак, был женат, хотя ему не было еще и восемнадцати лет. Он жил с матерью в пегой юрте. Жена его, четырнадцатилетняя Бибинор, хотя и носила, как взрослая, тяжелые кожаные калоши с громадными каблучками, но ростом была меньше двух аршин и часто играла с козлятами, телятами и жеребятами. Ей за это попадало от свекровки, но она скоро забывала обиды и, едва высохнут слезы на глазах, снова бежала куда-нибудь из юрты, через силу таща на ногах свои калоши, глухо хлюпавшие по земле, и звонко звала своих друзей-животных.

Она была тоненькая, смуглая, с быстрыми, блестящими глазами и вечно смеющимся широким лицом. Темные жидкие волосы всегда лились со лба на лицо, и она то и дело боролась с ними, быстро пряча их под белый джавлук.

Исхак совсем не интересовался своей Бибинор, и, если ему приходилось с нею разговаривать, он, не глядя, бросал ей короткие, отрывистые фразы и старался скорее уйти от нее.

Зато Бибинор часто ласково заглядывала ему в глаза, весело смеялась и голоском, как колокольчик, то и дело переспрашивала:

— А?.. Не айтасын? Айт, не керек! Что ты сказал? Скажи, что надо! — И бежала бегом, чтобы исполнить его желание.

Сарсеке был холост и жил с престарелою матерью, но в юрте у него ютился бедный родственник Кунантай с женою Хайным. Кунантай — младший пастух, чернорабочий. Он часто был при табунах, а Хайным хозяйничала у Сарсеке и по ночам оставалась с ним одна в юрте. Поэтому некоторые болтали, что Сарсеке обманывает своего родственника и живет с его женой. Глухая и полуслепая мать Сарсеке вечно лежала на ящиках и плевалась да кашляла хриплым, надорванным кашлем; она ничего не делала, ничем не интересовалась. Даже редко ела.

Кунантай, маленький, сухой и тихий, с кривыми ногами и горбатой спиной, искренно и подобострастно служил всем, кому придется, и в особенности Сарсеке, исполнявшему при дворе Батырбека должность первого джаксы-баса. Но Сарсеке не любил его, часто ругал и даже бил. Кунантай терпел и никогда не выражал своего огорчения.

Странная баба была Хайным. Некрасивая, но бойкая, плотная и громогласная, она была полна какого-то пьянящего яду, которым отравляла всех, на кого поглядит своими лукавыми, слегка косыми глазами.

Может быть, таким взглядом она околдовала и Исхака, мужа Бибинор, который часто тарашил на нее глаза и, не стыдясь своей жены, говорил с нею о всякой всячине. Бибинор еще ничего не понимала и взгляд Хайным не производил на нее никакого действия. Она часто прибегала в юрту Сарсеке и много смеялась, шалила с ягнятами и, шутя,

подражала бляению овец или кашлю старухи, что выходило у нее всегда смешно и забавляло молодого Сарсеке...

Иногда Бибинор прибегала к Сарсеке со своим маленьким деверем Назырккой и целыми часами дурила с ним на глазах Хайным и Сарсеке, пока ее свекровь не придет и за черные, жидкие косы не вытянет из юрты.

Случалось, что Сарсеке куда-нибудь надолго уезжал, и тогда за Бибинор приходил Исхак. Прогнав жену, он оставался в юрте с глазу на глаз с Хайным и подолгу засиживался, околдованный бойкими речами и опьяняющим взглядом лукавой киргизки. Впрочем, сама Хайным мало интересовалась слишком молодым и жидким Исхаком и, заигрывая с ним, думала о стройном и крепком, как бронза, Сарсеке...

За то, что Исхак не признавал Бибинор и часто лез в юрту Сарсеке, к Хайным, его постоянно ругал богобоязненный Карабай, аульный мулла и наставник. Он не любил Хайным, и когда встречал ее лукавое двусмысленно смеющееся лицо, то быстро отвертывался и сердито сплевывал.

Он носил бороду, имел большую семью и жил ленивой патриаршеской жизнью, пользуясь, несмотря на свою бедность, уважением всего аула. Часто ходил к Батырбеку и за чашкой айрана или камыза, делал ему наставления.

Он упрекал Батырбека в том, что тот плохо молится Богу и забывает заветы отцов, и приводил ему целый ряд примеров, всякий раз одних и тех же, о страшных наказаниях за неисполнение законов Магомета.

Подогнув под себя ноги, Карабай старым, шамкающим голосом, похожим на звуки разбитой домры, нараспев говорил целые часы. Склонив голову и покачиваясь, он походил на колдуна-баксу

[31], призывающего своими наговорами духов. Часто, не замечая, что Батырбек не слушает и даже во время рассказа отдает какие-либо распоряжения или сам о чем-то повествует, Карабай целиком погружался в свой рассказ, тягучий, как пастушья песня, и проникновенный, как мудрая сказка.

Кончал Карабай свои наставления всегда воспоминаниями о далекой старине, когда киргизская жизнь была еще полна приволья и когда степи киргизские не видели коварного «оруса» [32] с его разрушительной сохой. И всегда при таких воспоминаниях Карабай плакал и, плача, тут же сидя засыпал, привалившись спиной к сундуку или к груди сёдел.

Батырбек переживал вторую молодость с молодой, рыхлой женой и редко слушал знакомые ему рассказы и наставления старика. Да и некогда их было постоянно слушать. Надо было зорко следить за порядком и пастухами.

Каждое утро или вечер призывал он к себе неповоротливого и молчаливого Байгобыла и громко подолгу строжился над ним, поучая искусству держать скот в хорошем теле.

Он отлично понимал, что никакое искусство не поможет, когда знойное лето иссушило травы, а теснота в выпасе отрезает пути к новым пастбищам, но все-таки сердился и кричал на Байгобыла.

Так было и в ту осень. Батырбек чаще, чем когда-либо, вздыхал, был угрюм и озабочен, а когда выходил из юрты, то из-под руки зорко всматривался в даль степи и, как бы поджидая какого-то далекого и важного гостя, медлил с откочевкой в зимние кыстау.

И Батырбек дождался этого желанного гостя.

Вскоре он пришел с юго-запада, хмурый и серый, низко нависший над землей, и мокрыми космами обнял иссохшую степь.



Все были рады позднему дождю; несмотря на то, что он был осенний, холодный и затяжной, киргизы высыпали из юрт и подставляли под его струи свои полураздетые тела.

Карабай даже сел на мокрую землю, поджав под себя ноги и обнажив бритую голову. Дождь лился ему за пазуху, но он только кричал и, смеясь, расхваливал аллаха за то, что он пожалел правверных и окропил землю животворной влагой.

Дождь шел долго и перестал в конце шестого дня. На закате солнца в этот день часть западного небосклона совсем прояснилась, и игристые лучи, нарумянив барашковые облака, весело скользнули в степные просторы и ласково улыбнулись киргизам.

Все обитатели аула снова высыпали из юрт. Даже старая мать Сарсеке выползла из своего логовища и, сидя по-заячьи на земле, кашляла и что-то ворчала, жадно глотая роскошный вечерний воздух.

Бибинор, привязывая ягнят и козлят, звонко кричала отставшим двум телкам, которые откуда-то издали отзывались на ее зов и длительно мычали нестройным дуэтом.

Батырбек повеселел при виде ярко позеленевшей степи. Он радовался, что корм поправится и скот отдохнет. А то многие лошади были уже не в состоянии зашипнуть еле видную, сухую щетку.

И Батырбек решил задержаться здесь еще недели на две-на три.

Исполнив вечернюю молитву, он долго стоял в румяных сумерках вдали от юрты. Затем, белея длинными рукавами своей рубахи, медленно пошел к себе поболтать с приближенными.

Карабай уже сидел там и потихоньку тянул из деревянной чашечки камыз. Видно было, что сейчас он начнет свою длинную проповедь по поводу былых дождей и бездождей. Но в тот момент, когда он оставил чашку и, закрыв глаза, произнес

через оттопыренные губы свое обычное в этих случаях мычание, за юртой послышался топот быстро скачущей лошади. Все насторожились. Вскоре в юрту ввалился Байгобыл и, тяжело дыша, заговорил взволнованным, прыгающим голосом:

— Ой-бой, тахсыр ... Большая беда!

Батырбек подскочил, как на пружинах, и взвизгнул:

— А? Что такое?

Байгобыл снял малахай [33], обнажил окровавленную голову и наклонил ее перед Батырбеком, который, увидев кровь, в ту же минуту отпрянул к сундукам и широко открытыми глазами выжидающе смотрел на своего главного пастуха. Байгобыл, огромный и черный богатырь, вдруг всхлипнул и простонал:

— Баранта!

— Что? Кто? — завизжал ошеломленный Батырбек, обращаясь уже не к Байгобылу, а ко всем аульным, сбежавшимся в юрту.

Карабай при слове «баранта», как юноша, вскочил на ноги и тоже закричал, шамкая:

— Как баранта? Кто барантует?

— Русские! Больше половины лошадей угнали... Самых лучших лошадей, — подавленно, полупшепотом, как бы боясь, что его убьют за это известие, произнес Байгобыл.

Батырбек закрутился на одном месте и, схватив со стенки толстую нагайку, начал изо всей силы бить Байгобыла, который, защищаясь одной рукой, другой старался успокоить старшину:

— Ой-бой, тахсыр!.. Я не виноват, тахсыр!.. Русских прибежало много, а нас только трое... Кунантайку совсем увезли... Может быть, теперь даже убили...

Находившаяся тут Хайным заревела дурницей и начала царапать себе лицо, причитая:

— Ой, я-ай, Кунанта-ай!..

Карабай кричал:

— Надо бежать, отнимать!.. Палки берите, коней седлайте!

Но на этот раз старика никто не слушал. Все ждали чего-то от Батырбека, который долго кричал и бегал, ругался и принимался бить Байгобыла.

Наконец он, выбежав из юрты, сел на разгоряченную лошадь Байгобыла и, проскакав от аула на выстрел из лука, снова вернулся к юрте...

Это он делал всегда, когда был сильно взволнован. Таким путем он скорее приходил в себя и лучше начинал соображать.

Из степи во весь опор примчался Сарсеке. Услышав громкое «талалаканье» в юрте, а в нем, как вплетенное в косы серебро, — звонкий голос Бибинор, он сразу понял, в чем дело.

Спрыгнув с коня, он быстро взял от Батырбека повод и помог ему сойти с лошади. Молодой киргиз хорошо знал нрав своего господина и, отворив двери в юрту, чтобы впустить Батырбека, громко крикнул на шумевших родичей:

— Тише вы, шайтаны [34]!

Батырбек медленно прошел к сундукам и устало сел на ковер.

Все, смолкнув, робко смотрели на него. Сарсеке сделал знак, чтобы лишние уходили и, оставшись с Карабаем и Байгобылом, молча стоял у порога юрты.

— Ты хлеб у русских стравил, собака?.. — крикнул Батырбек Байгобылу.

— Нет, тахсыр!..

— Значит, сено?!

Байгобыл молчал. За него ответил Сарсеке:

— Сено на нашей земле накошено, тахсыр... Наши кони с голоду пропадают, тахсыр! Байгобылка хотел накормить на хорошей отаве.

— Значит, поймали у стогов?..

— Нет, тахсыр... — мрачно ответил Байгобыл, — у стогов мы ночуем, а перед утром угоняем скот за тридцать верст, ближе к нашему стойбищу...

— Какие бегуны остались в табуне?.. — всхлипнул Батырбек.

— Ой-бой, тахсыр, бегунов угнали всех, осталось только два гнедка да мой Серый.

Батырбек при этом известии заскрежетал зубами.

— И Сивку и Воронка украли?!

— Даже трех верблюдов угнали!.. — доложил Байгобыл, вбурывая в плечи свою голову...

— Ой, Аллах, Аллах!.. — простонал Карабай и, опустившись на колени, заплакал.

Водворилось молчание.

Батырбек вдруг как-то притих и осунулся...

Он долго и подавленно молчал, опустив бритую голову. А когда очнулся, то обвел юрту блуждающим от прилившего гнева взглядом и зашипел, ни к кому не обращаясь:

— Пропасть надо!.. Совсем пропасть, а все-таки отнять бегунов обратно!..

Он предложил смелый план: сейчас же ночью ехать и украсть своих лошадей. Но сообразительный Сарсеке, не возражая ему, а как бы дополняя его план, сказал:

— Ой, тахсыр, это надо сделать... Только надо ловко сделать... Надо сперва Кунантайку увидеть. С Кунантайкой надо уговориться, а то его убьют. Его мужики в залог взяли... Они, должно быть, хотят с нас за потраву деньги взять... Мы поедем прямо, будто что выкупать лошадей, тахсыр!..

— Сарсеке говорит правду... Верно, Батырбек... Это так! — посоветовал Карабай.

— Но надо ехать сейчас!.. Надо ехать всем!..

— Нет, тахсыр, Байгобылке ехать не надо, — возразил Сарсеке. — Байгобылка покажется — бить станут... Пусть Карабай едет, ты и я, трое по-

едем. Сейчас ехать не стоит. Рано утром поедем. Тебе, тахсыр, надо немного уснуть, чтобы завтра голова свежая была. Твоей голове завтра много ума надо, тахсыр.

Батырбек закричал на Сарсеке:

— Да разве теперь можно спать?.. Разве можно не думать всю ночь?.. Ехать надо сейчас, скорее!..

— Ладно, тахсыр, помаленьку можно ехать и сейчас...

— Нет, не помаленьку... Шибко ехать надо! Шибко!

— Шибко ехать — ночью приедем. А ночью приедем — скажут, воры. Стрелять будут. Они знают, что воровать приедем... Надо днем приехать. Мирно говорить. Деньги показать. Торговаться надо, время тянуть, до вечера, все за день увидеть, переговорить с Кунантайкой... Вот как надо, тахсыр...

— Правда, Батырбек! — сказал Карабай, одолеваемый старческой дремотой.

Долго не соглашался Батырбек, но башковитый Сарсеке успокоил его, уговорил ехать завтра с солнцем и пошел спать.

### III

Хайным поджидала Сарсеке у юрты; Сарсеке не заметил ее, когда она, поднявшись с земли, слегка дотянулась до его плеча.

— Кто тут?

— Не видишь кто!..

— Чего редела? Жалко?

— Как не реветь? — сказала Хайным, в голосе которой послышалась досада, — Ты сказал, его убили. Обряд велел реветь... Ладно, что лицо себе не сильно исцарапала, а то ходила бы в крови...

— Я соврал; он жив...

— У-у, шайтан!.. — укорила его Хайным. — А я поверила...

— Завтра я выручу тебе твоё сокровище... Обнимайся!.. — насмешливо добавил Сарсеке и пошел в юрту.

Но Хайным задержала его. Она сделала то страстное и неотразимое для Сарсеке движение, которое всегда покоряло его. Но он на этот раз не подчинился ее желанию...

Он всегда каялся потом, что грешил с Хайным, ругал ее и в душе жалел уroda Кунантайку. На этот раз связь с Хайным особенно тяготила его. Кунантайку и впрямь, может быть, убили или изувечили... А ведь кто, как не он, всякий раз на ночь отправлял его на крестьянские покосы с табунами? Кроме того, Хайным ему порядком надоела. Слишком противной и грубой казалась она в сравнении с резвой и совсем еще невинной Бибиной. К Бибине он испытывал какое-то новое, совсем еще незнакомое ему и неопределенное чувство, похожее на радостное любопытство. Будто он хотел лучше рассмотреть ее и даже всю ощупать, чтобы понять, что это за славная такая безделушка. И в тайниках души его гнездилась неясная мечта: украсть у Батырбека лучших коней и умчаться его маленькую сноху куда-нибудь за сотни верст — в Китай или, по крайней мере, в Кара-Кирею...

Однако он не представлял себе, как развязаться с ядовитой Хайным, которую он ревновал и ненавидел и которая все-таки держала его возле себя, как жеребенка на аркане...

Входя в юрту, он злобно сказал Хайным:

— Отчего нет огня в юрте?.. Совсем потух. Лень было сходить за караганом?

Старуха-мать закашляла, давая знать, что разделяет его зlobу.

Хайным быстро вышла из юрты и притащила в широком и низком мешке еще днем собранный сухой скотский помет.

Она присела на корточки к очагу, разрыла руками огнище, подула и, подложив три-четыре высохших конских шевяха, развела огонь. В круглое отверстие вверх юрты потянулся прямой столб дыма, а вскоре и огонек, тихий, тающий, заалел в огнище, нарумянив смуглое лицо Хайным.

— Чего сердишься-то? — сказала она потом. — Видно, есть хочешь!.. Сейчас и есть дам!

Старуха опять злобно закашляла и села на своей лежанке.

— Собака!.. Шельма!.. — заревела вдруг старуха, тыча скрученным пальцем в сторону Хайным.

— О-ой?.. — неодобрительно покачала головой Хайным. — Собака лает, а я не лаю, не кусаю никого...

— Врешь!.. Кусаешь!.. Собачья мать!..

Старуха хотела еще что-то кричать, но закашлялась, свалилась и изнеможенно застонала...

— Ты ей есть не даешь, верно?.. — закричал Сарсеке.

— Сама не жрет!.. Не просит, я ей не матка... Пусть просит, дам!

Сарсеке взял чашку, налил кислого козьего молока и подал матери. Та с трудом села и с жадностью выпила. Потом опять хотела говорить, опять закашлялась и свалилась на бок, лицом к стенке. Хайным что-то делала за ширмой из чия, а Сарсеке, выпив молоко, заел его каймаком и, постлав старый текемет, не раздеваясь, лег головой на седло и стал смотреть на змеившийся на костре огонек и игриво плывущий вверх сероватый дым.

Хайным вышла из-за ширмы, села у огня и, обнажив коленку, стала наминать на ней замешанное тесто. Мяла она долго, ловко поворачивая тесто в руках и шлепая о смуглое, упругое колено. И смотрела задумчиво на огонь, который бросал от нее на стену юрты огромный уродливый силуэт...

Она сделала из теста две лепешки, положила одну на сковородку, жирно намазала ее бараньим

салом, на нее положила другую лепешку и, прикрыв второй сковородой, засунула в золу под уголья.

Не закрывая коленки, сидела и, наклонившись, дула в огонь, глотая дым и морщась от зольной пыли.

Сарсеке, сначала задремавший, смотрел теперь на Хайным зорко, горящими черными глазами и хотел, чтобы она делала третью и четвертую лепешку на коленке... Нет, он хотел, чтобы прилетели сейчас могучие беркуты и истерзали и истребовали бы у Хайным обе ее коленки, а он бы, любуясь, хохотал и ругался, чтобы Хайным совсем сгинула с глаз, потому что, пока она здесь и пока горит огонь, он не уснет.

Но Хайным спокойно сидела у огня, изредка перевертывая сковороды низом вверх, а Сарсеке лежал на своем текемете, сопел, стараясь уснуть, и, ворочаясь с боку на бок, мысленно ругал Хайным...

Наконец не выдержал, встал и, выходя, сам позвал Хайным из юрты, в которой ему стыдно было матери...

Хайным слегка хихикнула, спрятала под колпак черные волосы, оправилась и вышла...

...К утру пал иней, покрывший всю степь белой кисеею. Теперь видимое пространство степи похоже было на огромный ломоть черного хлеба, густо посыпанного солью.

Но первый теплый луч солнца слизнул эту соль, сорвал белую кисею, оставив лишь мелкие, хрустальные росинки на зеленой щетке, и открыл широкие, тихие, тоскливо зовущие куда-то дали. Небо совсем очистилось.

Из степи к аулу медленно подъезжали пастухи — два взрослых сына Карабая и один подросток Байгобыла. Сойдя с коней и перебрасываясь редкими односложными фразами, они устало пошли в юрту Карабая и стали расталкивать младших братьев. Разбудили их, «поталалакали» и умолкли;



одолеваемые тяжелым сном, они свалились, кто где мог, и быстро уснули... Младшие, еще подростки, вышли из юрты, почесываясь и позевывая, лениво сели на тех же коней и плавной рысцой стали удаляться из аула в гладкую степь, к разбредшемуся остатку табуна.

Вскоре загудел тяжелый и глухой бас Байгобыла, а в пегой юрте затрещал частый и злой говор старой Айнеке. Она уже ругалась и гнала заспавшегося Исхака будить баб и заставлять доить коров и коз...

Исхак, не желая вставать, сдернул меховой овечий бешмет со своей жены и крикнул ей, чтобы она вставала. Но худенькая Бибинор крепко спала. Ежась от холода и подтягивая тоненькие смуглые колени к подбородку, она свернулась колючком и посапывала.

Исхак, не вставая с постели, достал ее пяткой и пнул в спину. Но Бибинор только застонала и продолжала крепко, по-детски спать.

Старуха поднялась. Пошла к снохе, взяла ее за косы и посадила на постели.

— Эй!.. Дохлая!.. — закричала она.

Бибинор поняла, что надо куда-то скорее бежать. Она соскочила, выпрямилась, потянулась, ожесточенно почесала спутанные волосы и, слыша крикливую ругань, выбежала из юрты... И только там, ступив босыми ногами на оставшийся в тени холодный иней, проснулась.

Сарсеке в это время проходил мимо, направляясь в юрту Батырбека.

— Ой-бой, не дали спать, Бибинор!.. — ласково сказал он, жалея молодую киргизку и дружески ей улыбаясь.

Бибинор тоже улыбнулась ему заспанными глазами и смущенно шмыгнула обратно в юрту.

Вскоре вышел Байгобыл, окруженный крупными лохматыми псами, и, оставив Сарсеке, спросил его насчет распоряжений на день.

Сарсеке коротко спросил:

— Велел из табуна лошадей привести?

— Уехали!.. — лаконично пробасил тот.

— Приведут — седлать надо! — крикнул Сарсеке и скрылся в юрте Батырбека.

Он вошел и осторожно, и беззвучно, оставив на улице свои калоши. Вошел и остановился. Батырбек, обняв Назырку, крепко спал, укрывшись пестрым бухарским одеялом.

Его полусонная, только что вставшая жена возилась за ширмой из раскрашенного чия и пожималась от свежего утра.

Сарсеке слегка кашлянул и, уставив на Батырбека спрашивающие глаза, в нерешительности потянул себя за длинный китайский ус.

— Эй, тахсыр!.. — позвал он ласково и певуче и, заткнув за узкий ременной пояс нагайку, подошел ближе и сел возле старшины на корточках.

— Эй, Батырбек абзи... — еще позвал он.

Батырбек проснулся не сразу и сердито, не понимая, поглядел на Сарсеке. Затем, вспомнив все вчерашнее, сел и торопливо стал одеваться.

Аул задымился. В нем загудел обычный утренний хор из нестройных звуков ржания коней, мычания коров и верблюдов, блеяния баранов и коз и голосистых окриков и ругани деловитых киргизок.

Батырбек молча сел за низенький, круглый столик с наложенными грудой баурсаками.

Байгобыл привел оседланных лошадей и, сев перед порогом в юрте Батырбека, жадно глотал старый загустевший айран.

Сарсеке сидел и пил чай за одним столом с Батырбеком и то и дело ухаживал за ним: подкладывая баурсаки, наливая в чай ложкой верблюжье молоко, принимал от него и передавал его жене опорожненные чашки. В то же время Сарсеке помогал Батырбеку решать вопросы первой важно-

сти так тонко, как будто их выдумывал и утверждал сам Батырбек, который сегодня выдавал вчерашний план Сарсеке уже за свой, а Сарсеке должен был только привести его в исполнение... Как, каким путем должны быть приведены в исполнение приказания, хан не говорил, как будто Сарсеке уже заранее даны были все распоряжения.

Еще через полчаса они сели на коней и поехали...

Сарсеке взглянул на свою юрту, около которой возилась с теленком Хайным, и отвернулся. В другой же стороне, на лужайке, вцепившись в шерсть большой козлухи, гналась за ней маленькая Бибинор. Она громко смеялась и не отпускала козлуху, желая во что бы то ни стало подоить ее. Козлуха неистово кричала, догоняя своего убежавшего за стадом козленка, и старалась боднуть Бибинор своими высокими, похожими на две сабли, рогами...

Сарсеке улыбнулся этой веселой картинке и так и увез ее в своей душе в степную гладь.

Всего поехало пятеро: кроме старого Карабая, пристал Исхак и взят был для услуг старший сын Карабая, только что вернувшийся из табуна и потому дремавший на седле, низкорослый Ахметбайка. Ехали легкой рысью в ряд, деловито рассуждая и по древней привычке кочевых людей зорко всматриваясь в даль.

Батырбеку было невесело, но степь всегда успокаивающе действовала на него. Она всегда куда-то далеко звала его и говорила ему много такого, что в ауле не приходило и в голову. Вот теперь он смотрит на нее и забывает свои огорчения, а она рассказывает старые сказки, воскрешает в памяти дни детства и юности, дни вольных кочевков и лихих скачек во время праздников, а главное — бесконечные и волнистые степные ковылы, которых теперь так мало... Серебристые и мягкие, они, как тысячи грив буланных коней, развевались тог-

да по холмам и равнинам, и лошадь неслась в них по брюхо, как в легкой струе молочной реки... Не оставалось следа после резвого конского бега, не слышно было топота копыт, как будто по перине скакал бегунец. И то припадал к гриве юный Батырбек, кося глаза в сторону несущейся обратно степи, то откидывался назад, любуясь голубым небом, то сваливался на сторону, повиснув на стремях и схватывая горсти ковылей, пушистых, как девичьи косы. А навстречу ветер, мягкий и прохладный, пел в ушах, врвался в полуоткрытый камзол и ласково щекотал смуглое тело за пазухой.

И Батырбек опять потихоньку, протяжно зашел, качаясь в седле в такт неторопливо бегущей лошади.

#### IV

Деревня, в которую угнали лошадей Батырбека, от аула находилась в полдне средней верховой езды и стояла у подножья холма, в узкой долине небольшой речки Акбулак. Эта деревня появилась здесь как-то вдруг, неведомо когда и откуда. Лишь немногие из киргизов видели, что года три-четыре назад здесь появился громадный серый обоз из телег и бричек, нагруженных домашним скарбом, засаленными мешками и грязными люльками... Людей было много, и они показались киргизам грязными и злыми, с тягучей русской бранью и крикливыми ребятишками.

Приехали эти люди ранней весной и сразу же стали пахать цельную действенную степь, живя под телегами и под открытым небом. Потом косили и ставили огромные стога сена, а когда пришла страда и появилась на гумнах солома, они намешали ее с глиной и выложили низкие, подслеповатые избушки.

А теперь уже выросла целая деревня, в которой было несколько деревянных изб с тесовыми крышами. За последнее же время вырос из соломен-

ных кирпичей огромный дом, покрытый зеленой железной крышей, в нем завелась молоканка [35] и торговля разными товарами, покупать которые приезжали даже и киргизы.

Первое время среди киргизов прошел ропот, они бросились было с жалобой к начальству, потом к адвокатам, потом к самим непрошеным новоселам... Но из всего этого ничего не вышло... Поволновались, погрозились, похлопотали, много растратив денег, а потом с обидным недоумением притихли, как бы ожидая, что все выяснится само собою и за них-то кто-нибудь заступится. Время шло, и шли незваные гости, числом все больше да больше. Наехали чиновники, молодые и сердитые, наставили столбов, и в привольной киргизской степи закопошилась новая, чуждая кочевникам жизнь. Киргизы оказались, как бы загороженными в своих извечных просторах внезапно вырастающими новыми деревеньками, и стали копить в сердцах смутную злобу, ожидая, что заступник придет и накажет виноватых.

Знали, что где-то ездят и хлопочут почтенные бии [36] и тахсыры, что даже к самому царю посланы лучшие аксакалы, ну и ждали:

— Правда придет! Как не прийти?.. Царь увидит и сам все разберет. Не даст в обиду!.. — говорили они между собою.

Но время шло, и ожидания киргизов переходили в глухую тоску, а стеснение в выпасе, в покосах и в пользовании водой для поливок из Акбулака рождало плохо скрываемую ненависть и мстительную вражду к мужикам...

Мужики чувствовали это, бдительно охраняли свою независимость и питали к киргизам двойную ненависть: и за то, что киргизы владеют столь обширными и тучными землями, и за то, что они нехристи, поганая, стало быть, тварь.

И если киргизы имели терпение ждать и сохранять учтивость в общении, то мужики совершенно не считали нужным церемониться с киргизами и всегда и всюду открыто преследовали и унижали их, называя в глаза и за глаза псами, поганью и ордой. И везде, не стесняясь, проповедовали:

— Бить их, собак остроголовых, да и толька!..

— А то глядеть?.. Ответу за яво ня будя, ён нехристь, и души в ём нетути... Глуши яво, да и крышка!..

Потрава стогов сена подогрела в мужиках это чувство.

Собрав сходку, они решительно потребовали от старосты самых крутых мер против всех киргизов, которые хотя бы только приблизятся к их пашням со своими табунами.

Табун киргизских лошадей, числом около полусотни, находился во дворе у старосты, растаптывая там жидкий навоз.

Близость этих лошадей особенно возбуждала мужиков. Каждому хотелось завладеть парой или хотя бы одной доброй лошастью, и потому все они в протесте против киргизов проявляли особенное единодушие.

В тот момент, когда кавалькада киргизов во главе с Батырбеком подъезжала к деревне, мужики находились в самом возбужденном состоянии, ожесточенно кричали и жестикулировали.

Киргизы этого не знали, но чувствовали, что подвергают себя жестокой опасности, однако смело, хотя и не торопясь, въехали в широкую улицу с редкими дворами.

Мужики увидели их издали и сначала как будто даже изумились киргизской дерзости, но потом вдруг забушевали и настроились самым воинственным образом. Некоторые, что сидели верхом на киргизских лошадях, пустились галопом навстречу приближающимся всадникам.

Батырбек, въехав в деревню и увидев под одним из мужиков лучшего своего бегунца, побледнел и съезжился, но смолчал и только сильно натянул повод своей лошади, которая прибавила ходу и горячо под ним заплясала...

Мужики толпою встретили всадников, не допустив их до дома старосты. Один из них, низенький и коренастый Петруха, первым наскочил на Батырбека, которого хорошо знал как главного в ауле.

Схватив за повод лошади и скверно ругаясь, он полез к лицу старшины с кулаками. Другие схватились за полы бешмета и за руки, в одной которых Батырбек держал толстую плеть с серебряной чеканкою.

Спутников Батырбека также окружили и при громких криках принялись тащить с седел. Кто-то, подскочив, вырвал плеть у Батырбека и изо всей силы ударил по лицу. Лисья, расшитая шелком шапка слетела с головы Батырбека и упала в грязь.

Все это произошло так быстро и так неожиданно, что никто из приехавших киргизов не успел опомниться. Но когда Батырбек получил удар собственной плетью, этот первый в жизни удар по лицу маленького вольного хана, взрослого на приволье и не знавшего насилия, — вдруг все изменилось. Батырбек с небывалой силой и негодованием, с неиспытанными еще властью и энергией крикнул:

— Не-ге?

Так крикнул Батырбек, что мужики, привыкшие робеть при всяком властном крике, вдруг опешили и отступили.

А следующий повторный крик Батырбека, как бичом стегнул по его спутникам, и они, не исключая старого Карабая и молодого Исхака, ожесточенно бросились на изумленную толпу... Но Батырбек новым криком остановил их и, врезываясь в середину толпы, стремительно разорвал на груди своей шел-

ковый камзол и белую рубаху и, подставляя мужикам обнаженную грудь, бешено закричал единственную известную ему, но бессмысленную русскую фразу:

— А?.. Пожалуйста, спасибо!.. А? Пожалуйста, спасибо!.. А-а?!

Затем он выхватил из ножен, что висели у его посеребренного пояса, острый нож-бритву, бросил его к ногам толпы и, показывая на свою грудь, делал знак, чтобы мужики резали его, и повторял все ту же фразу:

— А!.. Пожалуйста, спасибо!.. А-а?!

Мужики, окончательно растерявшись, отхлынули от него и, растерянно гыгыкая, переглядывались друг с другом. Сарсеке выехал вперед и, сняв свой малахай, стал успокаивающе махать им на крестьян... Заискивающе улыбаясь, он на плохом русском языке стал просить их:

— Эй, каспада!.. Што ти, бог с вами?.. Поменьку мирился будем... Божалуста, каспада!..

Добрые русские мужики совсем обмякли и как будто даже сконфузились своего дикого порыва к самосуду... Они уже добродушно улыбались и с любопытством смотрели на гостей, смеясь над жестоко оскорбленным и продолжавшим горячиться Батырбеком.

Некоторые даже выкрикивали:

— Правда, ребята!.. Толком надо поговорить!..

— Мирно лучше!.. Ведь он хучь и нехристь, а в ём ишь тоже правда есть...

— А как же — ён сознает, пес его дери, что виноват: ишь, кориться приехал...

— И то! А ну-ка ты, слышь, орда, сказывай, чего и как?.. — обратился к Сарсеке Петруха, широко улыбаясь и тяжело дыша от только что пережитого возбуждения.

И Сарсеке, потихоньку и не торопясь, учтиво и мягко повел переговоры. Он делал вид, что во всем



спрашивается у Батырбека, который сидел на лошади, понуриив голову, и, бледный и осунувшийся, совсем, казалось, не понимал, что у него спрашивали...

Разговаривая по-киргизски с Батырбеком и Карабаем, Сарсеке вел с ними разговор совсем на другую тему. Он давал им разные наставления насчет лошадей и Кунантайки... Мужикам же, не знающим ни слова по-киргизски, он обещал заплатить деньгами все расходы, только требовал снисхождения и справедливости, а также и того, чтобы всю потраву освидетельствовали с понятными и в присутствии Батырбека и его, Сарсеке...

Мужики даже одобрили такое предложение и заговорили, как старые друзья... А некоторые давали реплики:

— Ишь, остроголовый, дело ведь говорит!..

— А то!.. Раз он, значит, убытки убаготворит ежели, нам больше и не надо ничего.

Потом они признались и насчет Кунантайки:

— Дыть как не побить?.. Побили крепко!.. Едва, пес поганый, отдыхался... Дыть посуди, обида!.. Мы, значит, маялись, косили, все лето, а ён в одну ночь семь стогов разбил. Ладно, что энтот верзила-то убег, а то ему мы больше наклали... Ведмедь окаянный!..

Сарсеке охотно и горячо ругал Байгобыла и Кунантайку, обижался на них, что они причинили убыток Батырбеку, даже соврал, что они уже побили и Байгобыла. Лежит-де теперь, хворает в ауле... Да и Кунантайке еще попадет... Он, Сарсеке, собственноручно отвозит его плетью...

Мужикам все это пришлось по сердцу. Они вскоре совсем подобрали и выпустили избитого и сидевшего в амбаре Кунантая. Когда он пришел, Сарсеке действительно набросился на него с нагайкой и начал хлестать по чем попало, ругая его на русском языке...

К вечеру было установлено соглашение: Батырбек платит за поправу наличными деньгами, за которыми Сарсеке немедленно отправил Карабая, Батырбека, Исхака и больного Кунантая домой в аулы, а сам с Ахметбайкой остался в залог до завтрашнего освидетельствования поправы...

Но только мужики разошлись по домам, Сарсеке и Ахметбайка, прокравшись во двор старосты и поймав свежих лошадей, уронили заднее звено двора, сели на коней, гикнули, предупреждая лошадей о близости зверя, и весь табун как бешеный, вырвался из двора и вихрем поскакал по знакомой дороге к аулам...

Сарсеке и Ахметбай оставили в награду за мужицкую доверчивость лишь два плохоньких седла да старую хромую лошадь. Недалеко от деревни их поджидал Батырбек с товарищами, и все шестеро они еще до полуночи пригнали табун к аулу...

А на рассвете все юрты и домашний скarb были уже на вьюках, и длинный караван ускоренным шагом направился в глубь степи к зимовкам, в более укромные и безопасные места...

Торжество Батырбека, выручившего всех лучших лошадей, было неописуемо. Сарсеке был истинным героем дня, а молоденькая Бибинор, ехавшая на двухлетней и резвой кобыле, стала вдруг молчаливой и испуганно-настороженной. Она впервые так горячо и внимательно всматривалась в дремавшего на своей лошади Сарсеке и вспомнила какую-то сказку о славном степном богатыре Кызу-Курпеше [37].

На одном из верблюдов поверх навьюченной юрты полулежал тяжело заболевший от побоев Кунантай. Плавное покачивание верблюда не убавляло его разгоряченное сознание, и ему то и дело казалось, что он падает в черную бездонную яму, где схватывают его озлобленные «орусы» и бьют кулаками и каблуками сапог по бокам, спине и по распухшей, давно небритой голове...

Батырбек, окруженный родичами, ехал впереди всех и, изредка вглядываясь злыми глазами вперед, все чаще и чаще подстегивал бегунца, стремясь уйти как можно скорее и дальше от жестоко оскорбивших его русских...

## V

Кыстау Батырбека находилось в первых морщинах обширного горного кряжа, называемого Кандыгатау.

Из тех степей, где кочевал Батырбек летом, этого кряжа не видно, за исключением некоторых возвышенностей, с которых начинается лишь синяя кривая линия с отдельными тупыми зубцами гор.

Здесь были тоже степи, но они как-то всколыхнулись, как будто кто-то могучий неумело встряхнул их и, снова постлав, не расправил складки.

Поэтому степь то переходила в холмы и длинные гривы, то шла кривыми изгибами вокруг отдельных конусообразных, выпирающих из земли серыми утесами гор, то рассекалась, как ранами, кривыми и глубокими долинами маловодных и пересыхающих на время лета речек.

Здесь не было степного простора, не было леса и тучных лугов, и частые горные припухлости пестрели пестрыми густо засеянными мелкими камнями, заглушавшими всякую травинку. Лишь в низинах, извивавшихся у подолов гор, росли кипцовые травы, желтики и частью вязили [38]. Ранней весной, пока еще в речках была вода, они поливались. Летом верхами приезжали киргизы, косили литовками траву и сметывали сено в мелкие стога где-нибудь в укромном овраге, между скал... Отава за лето вырастала, и осенью, когда прикочевывали киргизы, скот имел хороший подножный корм, зимой лошади ловко выгребали его копытами и ели вприкуску со снегом, не требуя водопоя.

Батырбек хорошо помнил, что в прежние годы не только крупный скот, но даже бараны хорошо прохаживали здесь по целым зимам на подножном корму. Нынче же, приехав к своему кыстау, он пришел в уныние от вида печальной картины. Последние дожди хотя и поправили корм, но его теперь же за какие-нибудь две недели скот сомнет и съест весь без остатка.

Батырбек невольно перенесся в долину Акбулака к грязным мужицким лачугам, где в прежние годы стояли зимовки его родни и где в кормах осенью лошади бродили по брюхо. Ему больно стало от этого воспоминания, и он, пнув в бока лошади, быстро пробежал в знакомый овраг у горы, служивший сенохранилищем. Подъехав к стогам, он поразился скудностью запасов — сена едва могло хватить на ползимы баранам и дойным коровам.

Злой и угрюмый, спешился Батырбек у родного кыстау и, не отворяя дверей в бревенчатую некрытую зимовку, сел на огромный, бог весть, когда свалившийся с горы камень и стал поджидать сильно растянувшийся по тропинке караван.

Теперь ему было даже досадно, что так много у него скота и лошадей, и горько было сознание, что и скот, и люди какие-то все захудалые да больные, а главное, много лишних, ненужных стариков...

Был пасмурный день. Низко над землею плыли сплошной массой пепельные тучи, и серая холмистая степь показалась Батырбеку такой убогой и чужой. Сильно, порывисто дул ветер, точно вздыхал разгневанный Аллах. Группа зимовок, низеньких и плоских, цепко ухватившихся за склон горы, с земляными и каменными дворами, с серыми узенькими дверками, с зияющими черными дырами окон без рам, — походила на старые могилы, поросшие быльем, и такие же одинокие и затерянные... И казалось, никогда еще хан Батырбек, с

детства привыкший жить вольно и беззаботно, не тосковал и не задумывался, как в этот раз.

Но вот галопом подскакал Сарсеке. За ним Исхак и Ахметбайка, а потом один по одному поднялись на последний взлобок с громоздкими выюками огромные верблюды; целой гурьбой, с криком и бойким говором подкатила к ним молодежь и детвора... А вслед за всем этим шумно привалили и сейчас же легли небольшие стада коров и баранов, утомленных длинным и тяжелым переходом. Табун лошадей, сдерживаемый короткими и визгливыми окриками пастухов, сразу же напустился на невысокую, но мягкую отаву в низине.

Раздались хриплые стоны тяжело лежащихся для развьючивания верблюдов, мычанье коров и бляение баранов. Бабы сейчас же принялись за приведение в порядок кыстау, отыскав где-то далеко запрятанные оконные рамы и другие оставшиеся вещи... Киргизы стали укладывать на Osborne поветки юрты, которые не понадобятся до нового лета, а ребяташки во главе с хлопотливой Бибинор, стосковавшись по знакомым местам, пустились в разные стороны за сбором хвороста и высохших скотских шевяхов для разведения очага.

Видя все это, все эти старинные, милые с детства и такие степные-степные хлопоты, Батырбек забылся, вошел в тон своей всегдашней жизни, и тоска свалилась.

Вечером он сидел в своей лучшей избе, на мягком текемете и, обсасывая вкусные мослы свежего, зарезанного по случаю благополучной перекочевки барана, благодушно болтал со своими приближенными о только что исполненной контрбаранте и о смешных и глупых «орусах»...

И потекли давно знакомые дни привычной полудикой жизни, как всегда в осеннюю скучную пору в степи.

Изредка Батырбек выезжал куда-нибудь в ближние аулы к соседним биям, изредка к нему приезжали почтенные бии, также окруженные младшими родичами или прихлебателями, и жизнь шла обычной колеей.

Выпал первый снег, легший на горы пегою, а на равнины — ослепительно белою пеленою, и в степи водворилась какая-то особенная, свойственная только пустынным пространствам тишина. Если ходили в горах и на склонах лошади или бараны, или ездили кое-где одинокие всадники-пастухи, то это как будто еще больше подчеркивало степную тишину, люди и животные передвигались по белизне степи как-то полудремотно и беззвучно, с извечной покорностью, по раз заведенному еще когда-то в древние времена порядку.

Дни проходили ровно и одинаково, точно ритмически капали похожие одна на другую капли воды. Жизнь тянулась монотонно и безропотно, полная безразличия к окружающему и равнодушия к прошедшему и будущему... Каждое утро курились зимовки, скрипели ворота дворов, низких, темных и теплых. Из них высыпал скот, расползался по горе с давно стоптанным и выбитым кормом... Приезжали из степи от конских табунов иззябшие пастухи, их сменяли на день другие... Бабы исполняли свои немудрые бабьи обязанности, возились с ягнятами и телятами, ругались с ребятами, сердились на мужей и стариков.

Влачила ненужную жизнь свою и дряхлая мать Сарсеке и, ненавидимая ядовитой Хайным, зимою еще больше, чем летом, терпела от нее голод и холод и аккуратно каждую минуту кашляла... Еще злее теребила и гоняла жиденькую Бибинор старая Айнеке, и с большею охотой по вечерам рассказывал старый Карабай зеленой молодежи добрые отеческие предания. Ему часто мешал шустрый Назырка,

упорно не желавший слушать деда и устраивавший непослушные шалости вместе с ягнятами... Не совсем внимательно слушал его и сам Батырбек, проводивший целые дни в своей главной избе, где он обедался бараниной, или, обливаясь потом, нескончаемо пил чай.

Чаще других покидал аул Сарсеке, Исхак и Ахметбайка, уезжавшие далеко в горы на охоту за лисицами, волками и зайцами.

Они содержали по одной лучшей лошади, на особицу кормили их и нередко, в погоне за хитрой лисой, состязались в быстроте и легкости бегунцов.

У Сарсеке был тонкий и самый быстроногий бегунец, Сивка. Он был уже в годах, но ни одна лошадь не убегала от него ни в байге, ни в погоне за зверем. Сарсеке сжился с ним, как с родным братом, и почти всегда с охоты возвращался с добычей. На сивом коне, одетый в белый, хорошо выделанный овечий тулуп, Сарсеке почти сливался со снегом, и зверь подпускал его на близкое расстояние.

Дальнозоркий охотник, он, завидев зверя издали, нередко делал ловкий объезд в сторону и, скружив зверя, гнал его не в гору, где трудно было его взять на лошади, а от горы. И вот, когда изнемогший зверь, отдавая все силы, бежал по снегу на равнине, Сивка совсем стлался по земле и быстро настигал измученного зверя, а Сарсеке метким ударом батога в один прием сваливал и вторачивал его в седло.

Хорошим охотником был и Ахметбайка. Зато почти всегда мешал Сарсеке неловкий и избалованный Исхак. Но Сарсеке молчал и довольствовался тем, что по возвращении с охоты обо всем подробно расскажет любознательной и быстроглазой Бибинор.

Подъезжая на поджаром Сивке к аулу, Сарсеке всегда принимал молодецкий вид и хотел, чтобы Бибинор видела его трофеи. Но пока он рас-

седлывал коня, Исхак отвязывал зверей, нес отцу и хвастал ими на глазах Бибинор. Даже при Сарсеке Исхак бессовестно лгал, присваивая все подвиги себе... Сарсеке знал, что Батырбек не верит сыну, но его раздражала явная ложь Исхака, которого он начинал не любить все больше и больше.

С некоторых пор Сарсеке заметил в лице Бибинор какое-то новое, уже совсем недетское выражение, и ему казалось, будто не так уже живет она с Исхаком, как прежде. Сарсеке догадывался, что ревнивая Хайным, сметив, как тянет его к Бибинор, намеренно пробудила в Исхаке похоть, чтобы Бибинор стала бабой и чтобы Сарсеке охладел к ней...

Но хитрая Хайным на этот раз ошиблась.

Правда, мысль об этом жестоко терзала Сарсеке: лучше бы умерла Бибинор — легче б было. Но пробуждение в Бибинор женщины раньше, чем у Сарсеке явится возможность украсть ее, лишило его терпения ждать, и породило в нем желание овладеть Бибинор как можно скорее. А сейчас это было невозможно. Была бескормица и нужда. Нельзя было увезти Бибинор как-нибудь и куда-нибудь... Лучше всего было сделать это весной, когда будет тепло и когда не надо искать уюта у людей, которые могут выдать их с головой... А главное, надо украсть у Батырбека, помимо Бибинор, пару лучших лошадей, в том числе и Сивку, а на это у Сарсеке не хватало смелости. И Сарсеке, не зная, что делать, злился на Хайным. Да и Хайным стала, как цепная собака, ворчливая и злая.

Пастух Кунантай все чаще стал хворать и возвращаться из табуна домой, мужицкие побои медленно подтачивали его жизнь. Хайным приходилось возиться с двумя лишними больными — с мужем и старухой. И все-таки она не покидала мысли удерживать возле себя Сарсеке и пускала в действие все хитрости и чары и следила за каждым его шагом...



Зная это и не умея порвать с Хайным, Сарсеке чаще уезжал на охоту, где ему легче и свободнее было обдумывать рискованный план о похищении Бибинор...

## VI

Время приближалось к концу зимы.

Батырбек возвращался из небольшого степного города, куда возил десятка три бараньих, около десятка конских и коровьих, да несколько лисьих и волчьих шкур.

Цены на сырье в этом году пали. Везде была недокормка, и скота кололи много. Кроме того, старый тамыр Батырбека, богатый татарин Муса Юсупов, прекратил платежи и сырье скупать не стал — денег не было. Батырбек сдал свой товар русскому купцу, но русский купец, ласковый и шустрый, обманул его, о чем Батырбек догадался только на обратном пути.

Всего следовало получить с купца рублей полтора, а Батырбек везет от купца товару не больше, как на сто рублей, да еще остался ему должен.

— Как так?.. — недоумевал Батырбек и припоминал любезность купца.

— Ничего, — говорил купец, — мы тебе поверим, в другой раз приедешь, привезешь опять сырье. Заплатишь!..

— Как так?.. В кармане нет и купцу должен?..

Чаем угостил Батырбека, обласкал, долго разговаривал и даже подарил кусок душистого мыла, два стеклянных подсвечника и маленькое зеркало.

— Бабе в подарок увези! — говорит. — Для дружбы, для знакомства дарю! — говорит.

Конечно, Ахметбайке не подарил бы. Даже Сарсеке не подарил бы, потому что они простые, черные киргизы, а он, Батырбек, — почетный старшина, потомок знатного рода, аристократ.

Батырбек вспомнил при этом удовольствие, с которым он сидел у купца в опрятной комнате и, не снимая шелковых и нанбуковых [39] халатов, пил чай с конфетами и румяными, как щека красивой киргизки, булочками.

Сарсеке стоял у порога, сняв аракетин, а Ахметбайка был у лошадей во дворе. Батырбек потел, швыркал чай из блюдечка и, втягивая воздух сквозь зубы, деловито и вежливо разговаривал с хозяином, исподлобья посматривал на пышную и туго подпоясанную хозяйку, наливающую чай...

Больше же всего он запомнил собственное изумление, когда после чая купец пустил маленькую машину с трубой и из трубы кто-то сильно закричал и заиграл в музыку...

Это пребывание у купца и было теперь темой для длинного разговора Батырбека с Сарсеке.

Ахметбайка ехал позади, где ему понять все, что рассказывает и разъясняет Батырбек? Сарсеке и тот только, знай, удивляется.

Батырбек рассказывает медленно и важно, сочиняя по-своему в тех местах, где он не понимал хорошо сам. А в уме все считает и пересчитывает свой товар и выручку. И как ни считает, как ни проверяет — все выходит, что рублей полсотни не хватает, но Сарсеке он не хочет сознаться, что его обманули, и старается казаться беспечным. Не хочет конфузить себя перед слугою!

Лошади, на которых сидят всадники, идут тихим труском, а три верблюда с вьюками муки, тканей, чаю и прочих товаров вышагивают крупной и зыбкой поступью, вытянув длинные, изогнутые шеи. Ахметбайка на маленькой старой лошади то отстает, то опять рысцой догонит верблюдов. Воронко и Сивка под Батырбеком и Сарсеке мерно потряхивают своих седоков, которые в такт шагам раскачивают ногами и слегка ударяют в бока лошадей каблуками кабыс.

Батырбек монотонно и не торопясь, рассказывает, то и дело переспрашивая Сарсеке, все ли тот понимает. И Сарсеке, в удостоверение того, что он понимает, после каждой фразы хана отрывисто и ласково мычит:

— Ы-ы...

— Купеческая баба, когда девкой бывает, ей брюхо веревкой перетягивают... Ты понимаешь?.. — рассказывает Батырбек.

— Ы-э!.. — отвечает Сарсеке.

— Чтобы ребенка в брюхе не было... Закон такой... Понимаешь?

— Ы-э!..

— Видал, как туго она подпоясана?.. Значит, она еще девка... Понимаешь?

Батырбек долго говорит Сарсеке об особенностях русской цивилизации и, наконец, с большой горячностью начинает объяснять чудо машину с трубой, которая говорит, поет и хохочет, как человек...

— Тридцать три года орус богу не молился... Тридцать три года шайтана просит... Ты понимаешь? — фантазирует Батырбек. — Тридцать три года родную мать голодом держит... Тридцать три года орус обманывает и обижает бедных людей. Потом приходит шайтан... Потом орус отдает ему свою душу. Потом шайтан лезет, куда орусу надо. В трубу надо — в трубу лезет, в машину надо — в машину лезет. Ты понимаешь?.. — начиная повышать голос, горячится Батырбек.

— Ой-бой!.. — изумляется Сарсеке, хорошо зная, что Батырбек сочиняет.

— Потом в трубу лезет — песни поет... Хохочет, разговаривает... Дразнится... Все, что надо орусу, все делает шайтан... Понял ты?..

— Ы-э!..

— Потом вылезает шайтан из трубы и человеку в рот ночевать залезает, и орус пропадает тогда... Шайтан задавит его. Понял?

— Ой-бо-еу!.. — делает большие глаза и щелкая языком, удивляется Сарсеке.

Наконец, Батырбек все сосчитал и, убедившись, что купец действительно обманул его на целых полсотни рублей, начинает говорить крикливым, негодующим тоном, объясняя Сарсеке, как душу оруса на том свете шайтаны истязать начнут. И кончает повествование тем, что совсем замученную душу оруса сопровождают в преисподнюю торжествующей фразой:

— Вот тебе, ян-турган!..

После этого Батырбек умолк, угрюмо задумавшись и всматриваясь исподлобья в белые снежные горизонты.

Теперь начинает говорить Сарсеке, тоже сочиняя и импровизируя...

Стояло тепло, редкое для конца февраля, такое тепло, что Ахметбайка не позаботился даже прикрыть свою грудь, которая бронзовым пятном выглядывала из-под разъехавшего воротника старой овечьей капы.

По небу погуливали редкие, совсем не зимние, темные и тяжелые облака, низко свисавшие над землею.

Путники ехали ленивым труском, беспечно болтая о замысловатых впечатлениях, набранных в русском городе...

Сарсеке, кроме того, нет-нет да и вспомнит о том, что скоро придет весна и что он обманет всех и, умчав маленькую Бибинор, набросится на нее со всей жадностью доселе крепко сдерживаемой страсти. Он представлял себе, как легко и ловко он может брать ее тоненькое тело и упиваться им вдали от завистливых и ревнивых глаз Исхака и Хайным...

Эти думы возбуждали Сарсеке, и он веселее рассказывал Батырбеку о разных разностях, беспричинно смеясь и выдумывая небылицы.

Вдруг сзади донесся до них встревоженный крик Ахметбайки:

— Ой-бой!..

Всадники беспокойно оглянулись по сторонам, и Сарсеке сердито спросил:

— Чего ты, дурак, реवेशь?

Ахметка между тем, обогнав верблюдов, подбежал к Сарсеке и, указывая на обнаженную грудь, с ужасом во взгляде произнес:

— Джунгур! — И, чувствуя на груди новые капли дождя, он еще увереннее повторил, обращаясь уже прямо к хану Батырбеку:

— Джунгур, джунгур, тахсыр!

Сарсеке, скинув шапку, повернул назад голову и на лице и бритой голове ощутил крупные капли дождя.

Батырбек, видя, что над ним совсем нависла дождевая туча, задыхаясь от волнения, крикнул только:

— Остапыр, Аллах!.. — И пнул в бока свою лошадь.

Поводья верблюдов натянулись, раздирая им ноздри, и они, заревев от боли, пустили быстрой журавлиной рысью...

И тотчас же, как караван понесся по рыхлеющей снежной дороге, дождь прыснул густыми волокнистыми струями, осаживая глубокий снег и окрашивая его в голубой, водянистый цвет.

Оглашая пустынную степь, страшно ревели верблюды, сердясь на быстрый бег, и, согнувшись на проваливающихся лошадях, молча мчались киргизы, предчувствуя бедствие для кочевых народов, называемое «джут»...

А дождь лил все сильнее и гуще, и через час все вьюки и одежды киргизов были промочены, а ноги лошадей покрылись крупной ледяной бахромой и, проваливаясь в леденеющий снег, оставляли в нем кровь от свежих поранений.

Как-то быстро стемнело, и осевший затвердевший снег открыл дорогу во все стороны. Насто-

ящая же дорога куда-то ускользнула, потерялась. Караван Батырбека бежал прямо, наугад, но, когда Сарсеке сообразил, что дорога потеряна и степью теперь можно уехать в другую сторону, он предложил старшине остановиться и пролежать до рассвета под верблюдами...

Батырбек согласился и вздрагивающим, полным жуткого страдания и пригнетенности голосом повторил только:

— Ой, Аллах, Аллах... Ой, остапыр, Аллах!..

Поставили рядом всех верблюдов и, спешившись, сели под них... Но тотчас же поняли, что так можно пристыть к месту и приморозить к земле верблюдов и лошадей. Видно было, как крупные лапы верблюдов, погруженные в разжиженный снег, оковывались льдом, и животные с трудом выдергивали их из снега и переставляли на другое место.

— Надо ехать!.. — заговорил Сарсеке. — А то мы примерзнем... Надо хоть куда-нибудь да ехать, но не стоять!..

Батырбек и не думал на этот раз рассердиться на своего слугу и покорно, повторяя все те же плаксивые слова и шурша отяжелевшей одеждой, снова сел на обмерзшее седло.

Караван двинулся медленно, едва переступая обледеневшими ногами, скользя и проваливаясь в глубоком снегу.

Хотя дождь и утих, но не переставал и мелко сеял, как осенью. Стало совсем темно, и киргизы ехали неведомо куда, затерянные в безлюдной степной пустыне...

Байгобыл в эту ночь был у табуна сам со своим и Карабаевым сыном.

Табун был от аула далеко, и когда пошел дождь, Байгобыл, старый и опытный пастух, чтобы не обморозить лошадей, загнал их на одну из сопок, на бесснежный и каменистый склон. Но, делая это,

он не думал, что дождь будет так обилен и продолжителен. Когда с наступлением темноты полил настоящий ливень, Байгобыл, оторопев, но, не потеряв спокойствие духа, догадался, что после дождя должен наступить мороз и могут погибнуть не только жеребята и таинчи, но и взрослые лошади, перемокнув и замерзнув на месте. Кроме того, он сообразил, что если к утру наступит холод, то вся степь покроется скользким льдом, и скот не будет в состоянии дойти до аула...

Громко и торопливо забасил Байгобыл, созывая своих помощников и приказывая им как можно скорее заворачивать скот и гнать вслед за ним домой... Он поехал впереди табуна, отыскивая наиболее прямое направление к аулу и то и дело подавая голосом знать, куда надо ехать.

Мокрый, в огромной намокшей капе, он ехал шагом, то и дело ныряя в размокшем глубоком снегу. Но вот лошадь под ним обессилела и стала...

Он понимал, что идти пешком теперь невыносимо. Он должен брести в водянистом снегу и, черпая его в плохие обутки, отморозить ноги.

Остановившись, он долго ждал в раздумье, и, когда мимо него проходили лошади, поймал одну и, не переседывая, пересел на нее, бросив прежнюю. Но эта лошадь оказалась слабой, обессиленной бескормичей и скоро легла под ним. Байгобыл поймал третью, но и третья легла, протащив его не более версты. Тогда, стоя в мокром снегу, Байгобыл почувствовал, что теряет умение думать и понимать...

Обувь его уже промокла, и ноги шлепали в воде. Он дрожал всем телом и стучал зубами, не понимая, что ему надо делать...

Вдруг он начал кричать громким, протяжным, воющим криком, но никто не слышал его, и он понял, что кричать бесполезно. Сзади приблизился негромко плачущий и словно застывший в полусогну-

той позе на понурой измученной лошади молодой киргизенок. Это был сын Байгобыла — Куанышка.

Увидев сына, Байгобыл взвыл отчаянным жалобным воем и, точно озлобившись на кого-то, быстро зашагал вперед, увязая в разжиженном и тяжелом, как песок, снегу.

От невероятных усилий сам он скоро согрелся, но ноги его все больше коченели в холодной воде и росли в объеме, облепленные комьями леденеющего снега...

Куанышка ехал следом и, все так же скорчившись и согнувшись, негромко, будто лентясь, выл. Но Байгобыл не видел теперь ни лошадей, не слышал плача сына, не думал ни о чем — он только шагал по снегу, едва таща за собой ноги, ставшие страшно тяжелыми и чужими... Тьма обступила его взор и душу, он не знал, куда идти, и шел без разбора, со страшным трудом переставляя все больше кочневшие ноги...

Другого подпаса, Карабаева сына, не было ни видно, ни слышно. Неизвестно, уехал ли он за лошадьми в аул или отстал и потерялся. Да неизвестно и то, куда ушли лошади — добралась ли хотя часть их к аулу, здесь ли они поблизости или растерялись по степи, поглощенной тьмой и неизвестностью...

К утру ударил мороз, и вся обледеневшая степь стала как в сталь закованной. Блестела, звенела и синела, как необъятное застывшее море.

В ауле Батырбека стоял отчаянный рев перепуганных несчастных людей и голодного скота, не выпущенного сегодня на волю.

Карабай, согнутый и трясущийся, с палкой в руках, едва держась на скользкой обледенелой земле, бродил по двору и плакал...

Началась метель с резко бьющей в лицо снежной крупой. Нельзя было повернуть лицо на ветер — выхлестывало глаза.



Время подходило к полудню, а никого не было видно — ни Байгобыла, ни его помощников. Во дворе стояли семь лошадей с обмерзшими ногами, еле добравшихся перед утром к аулу. Это были наиболее выносливые и сытые. Ясно, что все остальные погибли.

Никто в ауле не знал, где находится Батырбек с караваном, но догадывались по времени, что джуг и его захватил в пути. Когда же на другой день к вечеру он и Сарсеке показались в дымке вьюги возле самого аула, — все ахнули и громко завопили вместо приветствия. Оба они шли пешком: Батырбек вел в поводу одного верблюда, а Сарсеке — измученного и еле живого Сивку. Ахметбайки и остальных верблюдов не было, и никто о них пока не спрашивал.

На мертвецов походили Сарсеке с Батырбеком. Глаза их ввалились, лица посинели, руки и ноги стучали, как деревянные, а рты не открывались и не могли произнести ни одного внятного слова...

Метель все усиливалась, переходя в буйную снежную бурю, с пронзительным победным криком носившуюся по раздольной, зеркальной гололедице.

## VII

Смертельно застонала степь...

Джуг мертвыми ледяными объятиями охватил ее из края в край.

В одни сутки погибли сотни тысяч киргизского скота, захваченного в степи на пастбище; заочнели десятки пастухов, пристывших к гололедице.

Целые табуны лошадей и жеребят тесными группами, рассеянными одиночками окочнели, стоя в глубоком снегу, и, обледенелые и опушенные снегом, представляли выставку уродливых изваяний, страшных в своем мертвом безмолвии и неподвижности...

Местами рядом с лошадьми, прильнув к ним и застывши вместе с ними, стояли, сидели и лежали че-

ловеческие статуи, как в броню закованные в ледяную кору и подернутые узором из снежных кружев. И по всей степи днями и ночами шел дикий волчий пир... Злые и тощие от долгой зимней голодовки волки обжорливо набросились на трупы лошадей, быстро тяжелели и отлеживались тут же на кровавых костях, среди целых костров лошадиного мяса...

Когда через неделю после дождя едва двигающийся, больной и обмороженный Сарсеке вместе с Исхаком и старым Карабаем поехали разыскивать погибших пастухов, они наткнулись на мертвый табун и не решились приблизиться к нему...

Всегда смелый и страстный зверолов Сарсеке пришел в ужас от обилия и наглого бесстрашия волков, остервенело или устало грызших трупы... Сарсеке окаменел от изумления и отчаяния, когда, поодаль от застывшего табуна, увидел еще более жуткое зрелище.

Там, пригнувшись к гриве, на мертвой, опустившей зад и увязшей в задеденелом снегу лошади, сидел маленький Каунышка. Он весь блестел на солнце, будто вместе с лошадьёю был выкован из серебра...

А впереди его, широко шагнувший, с распростертыми руками и запрокинутой назад черной головой, в окостенелом капе стоял Байгобыл. Похоже, было на то, будто он страшно быстро бежал и отчаянно кричал в небо алаху, но, не дождавсь ответа, так и застыл, утопая в снегу...

Широкий череп Байгобыла далеко был виден, маяча чернотой давно не бритых волос. Когда подъехал Сарсеке, со лба Байгобыла со зловещим криком слетела ворона, безуспешно пытавшаяся выключнуть застывшие открытые глаза...

Взвыл старый Карабай. Как мертвый, молчал Сарсеке, и как сумасшедший, бросился бежать потрясенный Исхак. Сильно стегая плетью по худым бокам своей лошади, то и дело скользившей и па-

давшей на ледяных прогалинах, он то соскакивал с нее, ведя ее в поводу, то вновь садился и вновь стегал ее, убегая к аулам.

Не смели вернувшиеся киргизы о подробностях виденного говорить больному, простуженному Батырбеку.

Не смели и не могли больше плакать бабы.

Перестали смеяться дети. Все окованы были молчанием и тоской... Молчаливо и равнодушно выслушал Карабай весть о том, что его сын Ахметбайка, отставший в пути от каравана, жив, и, ознобленный, лежит где-то у чужих киргизов.

Никого не изумило и не нарушило молчание даже то, что на восьмой день после дождя к аулу каким-то чудом спасшийся пришел измученный, еле живой верблюд — с вьюком муки и разных товаров, купленных Батырбеком в городе... Среди этих товаров были и подарки купца, и Батырбек, развернув их, бросил под порог, злобно и воюще выругавшись...

Он вспомнил, что теперь купец совсем обесценит сырье, так как обнищавшая степь завалит город остатками своего достояния — кожами сгинувших от голода животных...

— Ой, Аллах, Аллах... — стонал Батырбек, сваливаясь на постель.

Тяжело ему было читать на лицах окружающих отпечаток всеобщего отчаяния.

Знал он, с какой неукротимой жестокостью джут косит киргизский скот.

Но не хотел говорить об этом и не глядел на свет божий.

А скот все падал и падал, как трава под косой.

У Батырбека давно уже вышел запас домашнего корма. Оставалось несколько копен старого полусгнившего сена, которое по маленьким охапкам давали лишь немногим счастливицам — дойным коровам и лучшим лошадям. Верблюдам давали в три

дня по шарикку густо намешанного теста в кулак величиной. Выносливые верблюды довольствовались этим и целые дни и ночи стояли во дворах, чавкая, глотая и снова отрывивая свою жвачку.

Овец Батырбек велел переколоть больше половины, питая остальных сенной трухой, которую не могли захватить губы крупных животных.

Весь остальной скот выгоняли на сопки, давно оголенные и каменистые. Дрожа от ветра и не имея сил копать ледяной снег отбитыми ногами, скот стоял там целыми днями, покорно и уныло поджидая голодную смерть.

Некоторые лошади, постарше и поопытнее, спустились к опушке горы, где снег был мельче и где из-под него виднелись редкие стебли сухой травы, и начинали медленно бить передними копытами в ледяную корку. Они били долго, вспотев от усилия, и когда им удавалось разбить лед, они разгребали снег на каком-нибудь квадратном аршине и с жадностью жевали скудную добычу... Но, увидев это, другие лошади приходили целой гурьбой и оттесняли труженницу, производя между собой давку и драку.

Во многих местах, на льду, измученные голодом и безуспешной работой, лошади ложились, чтобы никогда не встать и умереть медленной, мучительной смертью, без единого стога и жалобы...

Их, еще живых, погребал снег, и они не в состоянии были стряхнуть его с пышных грив и лохмотой, присохшей к костям кожи.

Скот падал в таком количестве, что киргизы не успевали снимать с него шкуры. Многие об этом даже и не думали — не до того было.

Зато недели через две в степь наехало много русских скупщиков сырья. Они стали покупать кожи еще на живом скоте, давая за них баснословно низкие цены и обязывая киргизов собственноручно снимать их с трупов. Мучаясь над этой

операцией на морозе, вдали от зимовок, киргизы походили на тех же голодных и злых волков, которые пировали рядом. Наконец, видя, что с застывших животных шкуры снимать трудно и что живых все равно ожидает неминуемая гибель, киргизы, чтобы спасти хоть кожи, стали убивать всех более слабых коров и лошадей дома, во дворах.

Это была какая-то дикая вакханалия плача, злобы и жалости людей, принужденных убивать свой скот, чтобы продать с него кожи.

От обилия жатвы скупщики пришли даже в азарт и друг с другом вступили в состязание — каждый хотел купить больше других.

Батырбек, когда к нему пришли скупщики, быстро приподнялся с постели и хрипло заревел:

— Не продам!.. Убирайтесь!.. Пусть лучше волки снимают, а вам не продам!..

Но скупщики и сами скоро одумались и прекратили скупку.

Громадные костры шкур, которые они набрали, никто не брался вести в город за сотни верст ни за какие деньги — не на ком было...

Скупщики трусили, не радуясь тому, что киргизы предлагают кож еще больше и еще дешевле...

И кожи лежали громадными кроваво-лохматыми кучами на крышах зимовок и просто на снегу...

Единственно, чем небывало богата была в эту зиму степь, — это съедобным мясом. Его киргизы старались есть как можно больше, отчего многие стали хворать и даже умирать.

Оставлять мясо до оттепели было нельзя: оно испортится, так как во всей степи не было соли и не на ком было ее привезти. И киргизы продолжали объедаться мясом, как бы торопясь насытиться им до весны...

Но все, как один человек, чувствовали, что это страшное мясное пиршество — последнее. Все чу-

яли, что на степь надвигается что-то новое, чуждое и враждебное древним обычаям и что вольному кочевому жилью приходит конец.

Как жить, что делать дальше, когда даже самые знатные ханы, имевшие тысячи лошадей, остались при единицах?.. Как и для чего кочевать, когда весь громадный народ, сросшийся с конем и бараном, остался пешим и сирым?.. Но это бы еще перенесли киргизы, если бы было куда кочевать для разведения новых табунов! Если бы они не были со всех сторон загорожены и стеснены. А то в удел им остались только голые безводные сопки да пустые солончаки!..

Осунулся, постарел умный Сарсеке... Вдруг, как былинка, высохла и точно пришибленной стала Бибинор. В ее глазах так и остался внезапный страх и смутное недоумение перед всеобщим горем. Теперь не сомневался Сарсеке, что бабой, обыкновенной, забитой и замученной киргизской бабой стала молоденькая Бибинор.

Смешной ему казалась теперь еще недавняя мечта умчаты в глубь степи. Понял он, что бывшее во времена еще недавнего приволья теперь немислимо...

Да и не до того было теперь пришибленному Сарсеке. Видит он, как страдает его хан Батырбек. Не от недуга телесного, нет, а от глубокой душевной скорби, от злого бессилия чем-либо помочь несчастью.

Тяжко всем, тяжело будет жить теперь в степи... И никто не знал, что делать...

Даже злая Ханым как-то обмякла и притихла. Она не приставала к Сарсеке со своей страстью, хотя зимовка их давно освободила от лишних людей: умерла старуха — мать Сарсеке, и умер Кунантай — муж Хайным... Могилы их новыми холмиками давно уже темнеют на склоне горы... Нет, не до любовных чар теперь — Хайным это понимала.

Непривычная думать умом своим, и она догадывалась, что с наступлением весны некуда и не для чего будет кочевать, некого пасти киргизам, и что усеянные костями скота степи не будут милы затоковавшему Сарсеке.

И вот, когда только что появились первые проталины, Сарсеке пришел к Батырбеку и попросил отпустить его вместе с Ахметбайкой на ближайшие русские прииски, на заработки.

Батырбек только отчаянно махнул рукой, как бы снимая с себя всякую ответственность за будущее.

Понял Сарсеке, что Батырбеку теперь все равно, и несколько дней спустя на исхудалом и понуром Сивке вместе с охромевшим Ахметбайкой медленно двинулся прочь от родного кыстау.

Их провожали Хайным и старый Карабай. С верха старой избушки из-под рукава они долго смотрели им вслед, пока совсем не потеряли из вида...

Потом Карабай вскарабкался на соседнюю сопку и, сев там на камень, казался большим черным беркутом, не способным взмахнуть подстреленными крыльями...

Оттуда он вглядывался в даль оттаявшей степи и, тоскуя о прошлом, жаловался беспечно почивающему в голубой небесной юрте и забывшему о киргизах Аллаху.

Шла весна с ее теплом и властными зовами на пахучие джайляу...

Уже давно вытаяла из-под снега старая тощая трава, а на верхушках гор зазеленела новая, но о кочевке в кыстау Батырбека и не думали. Не было в этом нужды. Около кыстау ходили одна телка, поддюжины баранов и две худые, еле живые лошади с тонкими, костлявыми крупами и свалывшейся войлоком шерстью.

Их пас старый Карабай, сидевший у свежей могилы Кунантая. Пригретый весенним солнцем, он

скинул с себя засалившуюся и изопревшую за зиму рубаху и, близко держа ее перед носом, всматривался в ее складки плохими слезящимися глазами...

И старым, как слабая струна домры, голосом бурчал какую-то печальную песенку, похожую на тихий жалобный плач.

Поодаль, под горою, на виду у него лежали седые и приплюснутые зимовки, а возле них белели две юрты.

Отрывая взгляд от своей рубахи, Карабай от времени до времени посматривал на кыстау, где, по затее Исхака, Бибинор с киргизятами через силу взрывали железными лопатами крепкую, густо проросшую и каменистую землю.

Тонкий Исхак, утопавший в огромных овчинных чембарах [40], мешком свисавших до колен, командовал, звонко крича и ругаясь.

Он сильно вспотел и, кряхтя, поднимал и опускал тяжелый железный лом, выворачивая им из черной земли большие камни, которые, напрягая слабые силы, таскала на сторону жиденьякая и совсем переставшая расти Бибинор.

Исхак был увлечен своей работой и чувствовал за собой превосходство над всеми остальными потому, что его предприятие казалось ему важным и значительным. Он выменял у крестьян на кожи много пшеницы и собирался ее здесь посеять.

— Ой, ахмак!.. — посылал Исхаку возмущенный Карабай. Но Исхак не знал об этом и делал свое дело с особенным терпением и даже гордостью, потому что хотел удивить своего отца Батырбека, которого дома не было.

Хан Батырбек вместе с другими соседними ханами в числе около десяти человек ушел в далекий город к джандаралу с прошением о пособии и с новой жалобой на русских, которые двигались в степи все глубже и настойчивее...



— Ой, Аллах, Аллах! — пенял богу Карабай в своей жалобной песенке, которую он тут же сочинял. — Ты забыл киргизов... Ты обидел киргизов! Ты пешком пустил киргизов... Десять ханов пешком к джандаралу послал. Подумай, ты смеешься, Аллах!..

Худое тело его, темно-красное, как старая медь, покачивалось из стороны в сторону, голос дребезжал, а глаза часто моргали и слезились...

Просыпающаяся степь утопала в дымке теплого марева и покоилась в извечной тиши, как необитаемая пустыня. Не слышно было мелодичного ржания страстных жеребцов, а вместо многочисленных и резвых табунов на лоне степи, как на необъятном кладбище, неподвижно покоились щедро засеянные кости многих тысяч животных.

И обо всем этом пенял Аллаху Карабай.

## VIII

Прииски, на которых устроились Сарсеке и Ахметбайка, лежали в сухой, слегка всхолмленной, но все той же каменистой и пустынной степи.

У одной из сопок, израненной шурфами [41] и разрезами и пестревшей красно-багровыми припухлостями из отвалов породы, целой деревенькой толпились приисковые постройки с командующей над ними высокой, из дикого камня, золотопромывальной фабрикой. И странно было слышать, когда пустынные окрестные степи оглашались диким, продолжительным и как бы болезненным криком фабричного гудка. Будто ревел кто-то заблудившийся и изнемогающий в этих бездорожных и безлюдных степях.

Сарсеке не видел, как прошла весна и лето. Как-то не удалось ему подумать о своем ауле, о табунах и о верховых свободных прогулках по степи. Еще в самое первое время, пока работал наверху, изредка ходил в степь, где пасся его Сивка, и немножко от-

дышал там, сев у ног своего любимца. Когда же его произвели в забойщики и поставили рядом с другими, опытными русскими рудокопами, он не мог доглядывать за Сивкой и, продавши его в приисковые лошади, зажил совсем по-особому, одиноко и оторванно от всего поднебесного мира. Попал он в разведочную партию на сдельные работы, где в артели других рабочих киргизов, однако, не нашел никого близкого и вел себя замкнуто и деловито. Единственно, что иногда оживляло Сарсеке, так это его встречи с Ахметбайкой.

Ахметбайка по хромоте своей не был способен для тяжелых работ, и его назначили конюхом на ту же шахту, на которой работал Сарсеке. И вот иногда, сойдясь вместе, они садились где-нибудь в укромном уголке, чаще всего в шурфе или у отвала, и подолгу разговаривали. В этих беседах Сарсеке рассказывал Ахметбайке всю свою новую жизнь и даже поведал ему о том, что хотел увести Бибинор, но только ему это не удалось... Что вот заработает денег, выкупит Сивку, поправит его и поедет снова в степь, не для того, чтобы украсть Бибинор, а просто... с Батырбеком повидаться да с Карабаем...

Но наступало время идти в смену, и Сарсеке уходил, переваливаясь на кривых, выгнутых от верховой езды и восточного сидения ногах.

С русскими рабочими он не дружил, но и не ссорился, с любопытством присматриваясь к их еще более горькой, чем киргизская, жизни...

Казармы были сделаны из черного дерна и на слегка всхолмленной местности казались тесной группой киргизских могил.

Такие же — без крыш и дворов, с узкими и низкими дверями, так же печально и неподвижно чернели они на белом фоне снежных сугробов.

Рудокопы жили здесь одни, под начальством штейгера [42], ютившегося в дерновой избе.

Все продукты, хлеб и сухари рабочие получали в счет жалования из приискового магазина и готовили пищу сами, а так как заработная плата получалась сдельно, то пища находилась в зависимости от того, кто сколько сделает. Если рудокоп ест каждый день мясо, то работа идет лучше и заработок больше, но зато почти весь он на мясо и уходит. Если же он ест кашу, то не хватает на смену силы бить бур и потому приходится работать кое-как.

Некоторые русские, возвращаясь в казарму из ночной смены, изнуренные и злые, с запавшими глазами и закоптелыми лицами, слабо опускались прямо на холодный земляной пол и засыпали голодом... А когда просыпались, то через силу, какими-то глухими, сдавленными голосами, нехорошо ругались и, свернув «собачью ножку», закуривали «самкроше»... Злой табак сосал под ложечкой, кружил голову так, что ходили зеленые круги, а из легких вырывался отрывистый, удушливый кашель...

Некоторые ударяли плохой шапкой о землю и говорили, ни к кому не обращаясь:

— Пойди оно все к черту!..

Другие, точно понимая недосказанное, прибавляли:

— Сдохнуть бы уж ли, чо ли, скорее!..

И умолкали, не имея силы встать и приняться за варку пищи. Теперь им даже казалось, что ничего им не надо, кроме возможности забыть все и уснуть надолго, навсегда... Другие же мечтали, как о чуде, о том, что если бы вот сейчас, вдруг, в кругу товарищей появился котел с горячими мясными щами...

Но вслух этого говорить не решались и начинали перепираться: кому идти за водой и дровами; просто и сильно ругались между собой, но друг на друга не сердились за это, связанные общим злом против чего-то другого, огромного и сильного, что притиснуло их к холодному и грязному полу казармы.

Иногда завистливо косились в темный угол, где лежал Сарсеке в группе шахтеров-киргизов, спавших на полу без всякой подстилки, прямо в рваных армяках и грязных малахаях...

— Вот, черти, ровно каменные, — жрут хуже нашего, а зарабатывают вдвое больше... Откуда у них и сила берется!..

— Откуда! — отвечает кто-либо с ненавистью. — Он, ордынская его башка [43], все лето на вольном воздухе живет, да айран трескает... Отдохнет ведь... А мы и зиму, и лето ведь чертомелем...

Сплюнет, злобно, крепко выругается и, кряхтя, лениво поднимется с места. Затем идет разводить огонь в железной печке либо доставать пшено.

Другие молчат, снимая стоптанные бродни [44] и развешивая на шест грязные, дурно пахнущие онучи...

— Давайте, ребята, завтра возьмем мяса! — предложит кто-нибудь из артели.

— Давайте!.. А то тут и вовсе ног не подынешь.

— Мяса!.. — передразнит кто-либо из угла. — Ну вас к черту!.. Я в воскресенье с устатку лучше выпью на эти деньги... кровь разобьет мало-дело, а то рукой другой раз молот поднять не могу... Как ударишь по буру, так ровно тебя ножом кто полыснёт...

— Хоть бы кусочек сала у штейгера попросить... свечного!.. Все в горло-то она лучше пойдет... Санька, сбегай-ка, а?

— Ну его к ... Вчера дал огарок, да и то с грехом... Не подавишься, ешь так!.. Где соль-то?.. Эй, ты уйди с дороги-то!.. Развали-иля!..

— Вот я как двину в скулы-то... Чего пинаешься?..

— А ну — двинь!.. Двигал твой батька, да закаялся...

Кто-либо прибавит грязную прибаутку... И вдруг все ржущие, смакующие смеются, и в чуть сереющем свете казармы как-то странно, по-звериному рычит этот смех, через силу вырванный из когтей голодной злобы...

Плохо понимал Сарсеке русский язык, но все же понимал содержание разговора русских. Понимал, дивился и жалел их...

В дневную смену ходили человек по тридцать. Ходили после того, как в раннем утре один за другим раздадутся десятки ухающих и зловещих стонов подземелья: это взрываются подожженные штейгером динамитные снаряды в шпурах [45]. Штейгер в лоснящейся кожаной тужурке и высоких сапогах, запалив фитиль, быстро поднимается по лестнице вверх и, став поодаль от жерла шахты, одиноко и сосредоточенно останавливается в ожиданье...

Он привык к этим знакомым стонам подземелья, но всегда вздрагивает при первом ударе и начинает считать... А когда просчитает все, то медленно идет к казармам, где уже высыпали на воздух рабочие и, чернея на фоне снега маленькими кучками, почти тельно вытягиваются при виде штейгера.

Он оглядывается на шахту, с минуту смотрит на выползающий из нее удушливый дым и потом говорит негромким, густым басом:

— Ну, айдате!..

С наваренными бурами и молотками в руках, согнув спины и неуклюже шагая по узкой тропинке, гуськом идут они к шахте. Затем, обволакиваемые еще не вышедшим из нее дымом, темной лентой заползают в черную пасть и через минуту исчезают с лица земли, поглощенные ее глубокими и темными недрами.

Скрипят грязно-серые вертикальные лестницы, шуршат подошвы бродней, то и дело попадая пятками в лица нижних людей, и быстро меркнет свет. Иногда раздаются глухие, короткие фразы, отрывистый кашель и чиханье. Но все ниже, все глубже спускается Сарсеке в серое подземелье и в крошечной тьме идет в черную глубь как-то без сознания, без желаний и дум, с молчаливой безропотной покорностью.

Вот по ослизлым стенкам уже тихо журчат струйки грязной воды, крючковатые руки уже устали цепляться за грязную лестницу, и напряженные мышцы с каждой минутой утрачивают силы... Но молча и медленно, все глубже и глубже идут люди вниз, в темную нору, где так ревниво запряваны сокровища, необходимые для тех, кто живет и ходит наверху, под светом солнца и лаской жизненных удач...

В соседней, отгороженной лесом половине шахты с ворчливым гулом пошла наверх тяжело нагруженная бадья... Понесла из глубоких недр никогда не видевшие света камни...

Откуда-то несется слабое и протяжное:

— ...ере-и-ись...

Знает Сарсеке значение этого оклика, но где тут беречься? Машинально переставляя руки и ноги, спускается он вниз, в то время как стопудовая бадья поднимается все выше и выше, и падение ее становится с каждой минутой грознее...

Слышал Сарсеке, что не раз перержавевшая цепь обрывалась, и бадья летела вниз на дно шахты, сотрясала подземелье, обрушивала крепи и заваливала людей... Но ведь он не один, и потому — все равно...

Еще слышно, как гудит бадья, и с визгливым скрежетом грохочет где-то далеко предательская цепь...

Спустились... Дрожащие ноги подгибаются в коленях, и сильно вздуваются легкие... Кто-то облегченно выругался, точно тяжело вздохнул, и убогой желтой точкой вспыхнула спичка...

Зажгли сальные огарки, вставили их в жестяные фонарики и, повесив за пояса, пошли штольной [46]... У Сарсеке там, где штольня поворачивает влево, огарок погас от хлынувшей из вентилятора струи воздуха. Он забыл о повороте и сильно ударился лбом о преградившую его путь стену... Закряхтел и, приседая, хватил грязной рукой за окровавленный лоб...

— Ровно впервые... — сочувственно огрызнулся на него кто-то из русских и пошел вперед сам...

Опять спуск по лестнице, но уже не такой глубокой, и в новой штольне где-то далеко, в глубине ее коридора, мелькнул огонек... Мелькнул и медленно уплыл куда-то вбок... Это огонек успевшего спуститься в бадье штейгера... Он ходил с фонарем и осматривал вновь взорванную породу.

Штольня кривыми коридорами вновь привела к главному прямому колодцу, по которому ходит бадья, и глухо, сдавленно и странно звучит бас штейгера:

— Сукины сыны!.. Нагрузили бадью и оставили внизу, когда знают, что я буду палить!..

— Там коней не было, Василий Иваныч... — пробует заступиться кто-то. — Сказывал мне Макся, быдто што...

— Так разгрузить надо было да поднять людьми... Болваны!.. Ведь я в ответе-то за всё... Нагрузай, давай!.. А вы в семнадцатый штрек [47] на разработку... Да шевелитесь!.. А вы, остальные, в северный гизенок бурить... Семеро!..

Сарсеке попадает в число этих семерых и, запинаясь, идет дальше...

Глухо шлепают шаги по мокрым грязным доскам, и тихие слабые огоньки медленно плывут в разные стороны подземелья. Подвешенные у поясов людей, они плавно колеблются в такт неторопливым и покорным шагам...

Вот темные кривые лабиринты поглотили их, и в главном коридоре шахты снова воцаряется сырая молчаливая тьма... Только где-то слабо плещется вода, стекая по центральному колодцу, откуда жадно пьет ее примитивный насос, пыхтя и швыряя чугуном горлом, брошенным с головокружительной высоты...

## IX

В семнадцатом штреке все задерживаются из любопытства, задержался и Сарсеке. После четырнадцати ударов разрушено на этот раз породы так много, что рабочие едва могли очистить себе путь. Громадные каменные глыбы, отлетев по длине штрека сажень на десять, ударились в деревянные крепи, часть которых была вышиблена из основания. Нужно было сначала поправить крепи, заколотив их под верхние балки, и уж затем приступить к осмотру разрушения. Всем хотелось знать, повернула ли куда жила, сузилась она или расширилась, и главное — нет ли «видимого».

Почему-то всех тесно сближало это любопытство, точно с «видимым» золотом сразу свалились бы с плеч все тяжести, хотя все отлично знали, что их судьба от этого не улучшится. Напротив, тогда поставят нарядчиков, будут донага раздевать и оскорбительно обыскивать при выпуске из шахты...

— Шире пошла! — говорит передний, освещая фонарем жилу, которая полуаршинным белым косяком рассекала сверху вниз стенку штрека и была похожа на косой луч луны, лежащий на черном фоне.

Русские разговорились:

— С примазкой!.. — взяв кусок кварца, сказал кто-то.

— Дак тут золотище богатое будет!.. И теперь семь золотников со ста дает...

— Ребята, видимое!..

— Но-о!..

— Ей-богу... Глядите-ка!

Сомкнулись в тесную кучу, приставили фонари, отчего на стенах шахты выросли громадные тени, и стали рассматривать камешек...

— Видимое!.. — наконец злобно передразнил старый шахтер... — Это колчедан вовсе...



— Колчедан?.. — недоверчиво промычал поднявший камень.

— Знамо, колчедан — на, смотри!.. — и рабочий ударил молотком по блестящему кристаллу. Получилась одна черная пыль...

Все разочарованно разомкнулись, принимаясь за тяжелые камни, пригибающие спины и вытягивающие черные, с напряженными жилами руки...

Сарсеке с товарищами пошли дальше в северный гизенок. Это был еще неглубокий, сажень в пять, круглый грот, в котором, благодаря сплошной каменной породе, работы велись без крепей.

Шестеро из пришедших сюда рабочих были киргизы, и только один русский, назначенный старшим. Киргизы сняли с себя малахаи, армяки и даже рубашки и, оставшись в одних овчинных чембарах и стоптанных черках [48], пошли в забой. Старший молча пометил каждому место для шпура и, выбрав себе более удобное, сказал:

— Айда!

Странными звуками наполнялся каменный грот. Лезвия стальных буравов ударялись о камень, а по головкам их лязгающе били молотками, и целый дождь дробных стальных стуков смешивался с тяжким дыханием семи грудей...

— Х-гык-тук, тук-тук... х-гык, тук-тук-х-гык...

Все семеро тесно примкнули к каменной груди гизенка и, кто на коленях, кто на ногах, кто, полусогнувшись, вбивали в нее стальные занозы, кряхтели, когда молоток срывался, сбивая козенок руки, тяжело дышали и испуленно стучались, стучались, как в крепкую дверь, которая никогда для них не откроется... Слабо мерцали за поясами огоньки, бросая в пустую тьму пляшущие тени и освещая черные блестящие зрачки упрямо упершихся в каменную стену черных озлобленных глаз...

Видел Сарсеке, как туго напрягались сильные мускулы смуглых обнаженных тел его товарищей и как черные большие головы в засаленных аракичах мерно кивали настойчивым ударом молотков... Он бил по своему буру, тяжело дышал и не умел унести мыслью наверх, в степные просторы.

А по соседству, на дне главной шахты, со строгим грохотом падали камни в громадную бадью, и когда она наполнялась, старший из рабочих сильно дергал за веревку, давая наверх знать, что бадья нагружена...

Взвизгивала цепь, и медленно, со зловещим скрежетом, трогалась бадья с места и начинала подниматься... Вот она исчезала в темной трубе шахты и только слала вниз какие-то странные, жуткие шорохи... Рабочие расходились в стороны и молча, напряженно слушали, как бадья идет все выше и выше...

И у каждого в сердце поселялась жгучая тревога: дойдет ли она до верху, не обрушится ли их шахта, сотрясенная грозным падением бадьи...

Киргизы угрюмо молчали, а из русских кто-нибудь тихо, с расстановкой вспоминал:

— Эт-то, как-то... годов семнадцать назад... В Верном укрепленье [49] землетрясение было... дак, сказывают... человек семнадцать на Воскресенском руднике похоронило... будто бы, которых не задавило, дак с голоду они...

В душе каждого поселялся страх, и умолкали все, напряженно и каждую минуту ожидая грозной развязки...

— На Олекме [50]... тятенька-покойничек сказывал, — говорит молодой еще, но уже состарившийся под тяжестью труда рабочий, — дак, будто што вода в одном месте прорвалась... Подземная речка, што ли, оказалась. Дак тоже не успели, говорят, выйти-то...

Сверху доносится знакомый гул: это высыпали руду, и скоро легкая порожняя бадья начинает спускаться обратно... И все облегченно вздыхают до следующего подъема...

Бадья пришла с поклажей. В ней на вязанке сена с черстовой ковригой в руках сидел конюх Ахметбайка.

Маленький и безусый, с черным сухим лицом, он походил на подростка, хотя ему было уже тридцать лет.

Он добродушно улыбался товарищам, скаля крепкие белые зубы, и говорил скороговоркой:

— Драстий, рабати... Каков поживаешь?.. Мала-мала джерай?

Некоторые улыбались его ломаной речи и говорили, стараясь быть веселыми:

— Живем шалай-валяй... День иноходим, да два дня не ходим... Што, Сивке своему гостинцы принес?..

— Как жя!.. Надо, табариш!.. — отвечал Ахметбай, выгружая из бадьи сено и прикрытое им ведро воды. Затем зажег фонарь и, ковыляя хромой ногой, исчез под низкими сводами темной шахты.

Он шел долго, лавируя по кривым коридорам, и, наконец, где-то в северном дальнем углу штольни ласково произнес:

— Тпрсё, тпрсё!.. Ох ти, моя карошя!..

Ему ответило сдержанное, радостное ржание одиноко стоящей в небольшой нише белой лошади. Она повернулась к нему мордой и, не видя огня, тянулась навстречу, щупая воздух перед собой трясущимися губами.

Ахметбай положил сено, шелест которого лошадь еще раз приветствовала ржаньем, и затем, осветив круп Сивки, погладил по его когда-то белой, а теперь выпачканной и лохматой шерсти и потрепал по оголенной, обопрелой спине...

И заговорил с ним на родном своем языке:

— Слепой мой, милый мой, бедный мой! — и подставил к морде принесенное ведро с водой.

Сивка, нащупав воду, жадно стал пить, чуть не опрокинув ведро, и видно было, как бежали под шеей крупные глотки и булькали в пустом животе.

А Ахметбай все ласкал его:

— Бедный мой!.. Скучно тебе одному без Сарсеке... Темно тебе... Слепой мой!..

Затем, ломая ковригу, стал мелкими кусочками кормить Сивку... И в то время, когда Сивка пережевывал твердые куски хлеба, Ахметбай молчал, и думы его поднялись наверх и легкой птицей понеслись над белой, засыпанной снегом степью все дальше и дальше, на тот простор, где когда-то круглыми точками белели юрты родного аула и где на мягкой зеленой глади вольно гулял в табуне Сивка... Где Ахметбай, охотясь с Сарсеке, всегда завидовал ему — так резво носился Сарсеке за лисою или волком на этом Сивке, тогда таком молодым и красивом, таком сытом и быстроногим... И, вспомнив признание Сарсеке о желании похитить Бибинор, Ахметбайка горько улыбнулся.

Никуда не годен теперь Сивка. Вот он стоит, быстро ослепший в шахте, облезлый от теплой сырости глубокого подземелья, в недрах тех степей, на которых еще так недавно кочевали вольные киргизы... Тихо, устало жевал Сивка хлеб испорченными зубами и тупо глядел слепыми глазами прямо на огонь фонаря...

И сердился Ахметбай на Сарсеке за то, что он продал Сивку в шахту, и плакался Сивке на свою судьбу и на то, что и его Гнедко пропал от голоду и что, может быть, обвалится шахта и Ахметбай и Сарсеке умрут вместе с Сивкой здесь, в темной глубине холодных и немых недр родимой степи...

Из тьмы кто-то крикнул властно и торопливо:

— Ахметбайка... Здесь ты?.. Запрягай скорее — руду возить надо!..

Глухо и безмолвно звучали эти слова в темных каменных лабиринтах подземелья, но боялся их покорный Ахметбайка и спешил запрягать Сивку.

И, спрятанные толстым слоем земли, ни Сарсеке, ни Ахметбайка не знали, что наверху, у приисковой конторы, перед суровым лицом приказчика стояли Батырбек с Исхаком, впервые привезшие из степи для продажи три воза таволожного [51] хвороста.

Батырбек, постаревший и согнувшийся, еще не терял своего ханского вида: он был одет в новый овечий бешмет, лисий малахай и большие кожаные сапоги. Но, держа под уздцы переднюю, запряженную в плохие дровни и в то же время оседланную лошадь, он заискивающе улыбался приказчику, сердито браковавшему хворост, и на своем языке доказывал ему:

— Как плохой?.. Хороший — сам собирал! Далё-око на сопки лазил, шубу рвал... Парень лазил, бабы лазили, вся семья лазили — есть хотим!.. Как плохой?..

И чтобы лучше расположить к себе приказчика, он белой, аристократически тонкой рукой своей гладил себя по груди и умиротворяюще повторял единственную фразу, какую знал по-русски:

— А? Пожалуйста, спасибо! Пожалуйста, спасибо?!

Понуро и безучастно стоял поодаль длинный и тонкий, ставший угрюмым и черным Исхак, внук знаменитого хана Бекмурзы...

Рассказы

# СТЕПЬ ДА НЕБО

## I

Необозримый круг небесной сини охватил широкую равнину и усыпил ее тысячелетним сном... Здесь время стоит.

Моргая темными веждами ночей, падают в вечность дни, но времени здесь нет... Оно остановилось от времени творенья, оно не старит никого, не умерщвляет, не рождает. Изредка на белых ковылях мелькнет тень высоко парящего орла, но орел тоже от времени творенья... И убогие, редко посеянные на равнине кустики, и рыскающие по степи седые волки, и двугорбые верблюды, то поднимающие, то лениво опускающие книзу птичьи головы, и даже редкие остроголовые люди-всадники — все это старое, все это от времен шести дней творенья... Как почил Господь в седьмой день от дел Своих, так и здесь все уснуло долгим, безгрешным сном...

Открытыми синими озерами-глазами смотрит степь в небо без мольбы, без благодарности, без зависти к свободным облакам... И облака по неогороженным путям своим бегут то к солнцу, то от солнца, играют от безделья, купаются в синей бесконечности, перехватывают теплые лучи солнца и бросают вместо них на степь лоскутья темных теней...

Ниже облаков над степью летят журавли в родные гнезда... На озерах плавают непуганые стайки

уток, по берегам посвистывают кулики, а дальше, трепыхаясь в воздухе, как пьяные, плачут-жалуются чибисы...

В степи весна.

Давно уж без дорог, без цели я брожу по полинявшим, полусгнившим прошлогодним ковылям и все хочу себя уверить, что я не русский, что я не знаю ни чудес своего века, ни несчастий своей родины... Что не охотник с ружьем и сумкой за плечами, ранним утром вышедший из убогой деревеньки новоселов, что не в канун святого дня христианского брожу я по степи, но будто я человек без имени и звания, извечно дремлющий с открытыми глазами, бесцельно блуждающий от дня творенья по земле и ждущий пробуждения Бога, пробужденья всего, что сотворил Он, Ждущий воскресенья Жизни и славы ее Творца...

Я иду равниною степи один, иду куда хочу, на юг, на запад, на север и на восток и радуюсь тому, что я один, что я свободен, что я странник, Божий раб, не помнящий ни родины, ни рода и живущий задолго до Рождества Христа...

Иду, гляжу по сторонам и думаю: я правнук Авраама [52]. Людей на земле еще так мало, что во всем просторе только я один... Я верю этому и не могу не верить, потому что вокруг на необозримое пространство вижу только степь да небо, и такая тишина, такой простор, что даже я, убогий странник, кажусь себе значительным и важным, как мудрый патриарх, достойный правнук Авраама...

Вдали маячит бугорок. Он кажется мне то большим, то очень маленьким. Я подхожу к нему и вижу старый, никем не потревоженный курган, с которого снимается и летит к небу белоголовый орел [53].

«Это могила Авеля, — думаю я о кургане. — Здесь Каин [54] убил и схоронил его, а здесь пас-



лись стада Адама, и здесь он, изгнанный из рая, бродил и плакал о потерянном блаженстве, об убитом сыне...»

Я кланяюсь кургану, целую седину сухого ковыля и всхожу на его верх... И еще шире, еще необозримее простор степи пустынной, тихо дремлющей и одинокой...

Зорко вглядываюсь в дали, люблюсь вольной ширью равнины, но вдруг мой взгляд останавливается на изогнутом и синем столбике дымка...

И я неторопливым шагом иду туда.

## II

Старая, лохматая, беззубая собака хриплым лаем встречает меня у аула. Она лежит на верху земляной зимовки, возле глиняной трубы, и лает нехотя, с трудом, а ослепшими глазами, не моргая, смотрит прямо на солнце...

Я решаю, что она лает не на меня, а на свою тяжелую собачью жизнь, на слепую старость, на весь, теперь ей недоступный свет. Обогнув низкий плетеный дворишко, я спокойно прохожу к темно-серой, прокопченной многолетним дымом юрте, откуда вьется голубой дымок и слышатся слабые звуки домры.

— С новосельем, Конурбай-тамыр [55]! — громко говорю я, наклонившись к дверце юрты.

— Айда сюда, садись! — приветствует меня хозяин.

Я ставлю ружье к юрте, вхожу, сбрасываю сумку и сажусь у костерка, над которым в казане варится черная конина.

Конурбай в чистой рубахе — он справляет праздник по случаю переселения в юрту. Вокруг костра пятеро гостей со свежесбрившими головами. Один из них с рожком нюхательного табаку, другой, самый молодой, — с двухструнной домрою в руках. Одна струна из бараньих жил, другая из конского хвоста.

— Не далеко же ты укочевал! — смеюсь я Конурбаю...

— Садись, слушай... Не мешай! — ласково кивает он мне и обращается к молодому гостю с домрой: — Айда, рассказывай дальше...

Опять задрезжали струны под смуглой тонкою рукой рассказчика, он закрыл глаза и низким и ровным голосом продолжил свое сказание:

«...Вот пришел караван верблюдов из чужой, далекой земли... Назыр-хан-богатырь [56] первого всадника спрашивает: “Как смеешь без спроса в мою землю приходить?..” Беркут-хан-богатырь, умная голова, отвечает ему: “Мы издалика о славе твоей наслышались, почет привезли и подарки тебе... Первый подарок — белый верблюд, второй подарок — золотом шитый ковер, которым верблюд накрыт... Третий подарок — первая красавица, которая сидит на белом верблюде, на золотом ковре”. Сердитый взгляд Назыр-хан на девушку устремил. “Сними покрывало с лица!” — сказал. Беркут-хан-богатырь, умная голова, в ответ произнес: “Нельзя ей при солнце покрывало снимать. Покрывало снимет с лица — два солнышка будет, Назыр-хан-богатырь ослепнуть может... Покрывало она снимет ночью при месяце, когда к Назыр-хану-богатырю в юрту спать пойдет”. Так сказал Беркут-хан-богатырь, умная голова...»

Под тихое журчанье домры я устало клонюсь на кошму, сладко мне слушать сказанье, и я снова забываю настоящее и переносюсь во времена Иакова...

«Вот приходит ночь — месяц взошел. Светлый, кованный из серебра, двурогий... Назыр-хан-богатырь спать пошел... Беркут-хан-богатырь, умная голова, взял со своей невесты наряд, сам надел... Взял самый острый нож, на грудь спрятал... Одел в свою одежду невесту, на своего коня посадил, сказал: “Войду в юрту — весь караван айда пошел...”»

Голос рассказчика звенел отрывистее, увереннее... Затихли, насторожились слушатели. Перестал щелкать огонек под казаном с кониной... И я уже слышу победный, торжественный голос рассказчика: «...Бежит караван все быстрее да дальше... Беркут-хан-богатырь невесте говорит: “Теперь один на всем свете остался богатырь — Беркут-хан-богатырь... Все роды, все табуны Назыр-хана мои теперь... Вся степь от неба до неба — моя степь... И ты, самая первая на всей земле красавица, Назыр-ханова невольница, — моя жена”».

Я усваиваю содержание сказки, упиваюсь радостью за освобожденную невольницу и, жадно вдыхая аромат степного дома, слушаю.

«...Табунам Беркут-хана не было числа... Земле Беркут-хана-богатыря не было меры... Добротой с Беркут-ханом-богатырем мог спорить только Аллах один. Умер Беркут-хан — душа его орлом к Аллаху полетела... А Беркут-хану-богатырю самый большой в степи курган насыпали... И каждую весну, когда киргизы кочевать начинают, с неба Беркут-ханова душа слетает, орлом на свой курган садится... Думает...»

Умолк рассказчик, только печальной нотой гудит домра...

Я стряхиваю с себя дремоту и усталость и снова иду в степь, к знаменитому кургану. Я уже не нахожу там белоголового орла, всхожу на вершину кургана и долго стою, вглядываясь в дали, туда, где небо краями своими придавило землю и накрыло степь одной, необозримо голубую юртою...

### III

Медленно тает пунцовая заря, с востока двигаются синие сумерки.

Я вспоминаю, что я снова должен идти туда, где меня ждет пробуждение, в маленькую соломенную русскую деревеньку...

Но я не иду. Я разворачиваю сумку, медленно ем черствый хлеб, затем растягиваюсь на склоне кургана и смотрю в небо, где одна за другою нехотя вспыхивают звезды...

Неуловимой тайною мне кажется, что когда-то, быть может, много тысяч лет назад, так же пронеслись думы в голове того, кто спит в утробе этого кургана. И минута, настоящая минута моей жизни мне представляется такой значительной, торжественной, что у меня захватывает дух от радости.

Ведь это моя минута, ведь это я сейчас думаю, вдыхаю прохладный запах степи, гляжу в небо... До меня жили патриархи древности, князья, цари, великие мудрецы — и они спят вечным сном, давно не ведомые никому, как никогда не бывшие, а я — живу... И после меня будут жить князья, цари и мудрецы, но ни те, ни другие не живут, а я живу сейчас... И те, что живут со мной в этот час, в этот век, — все без исключения, до последнего дикаря — все они мне братья, все они близки мне тем, что вот сейчас, в эти минуты, живут, и дышат, и думают... Я не могу охватить мыслью всей мудрой значительности этой минуты, но знаю, что она необычайно важна, и радостно мне, что не одна она, за нею идет другая, третья... Много, целые часы, дни, годы... Господи, благодарю Тебя!..

Я встаю, снимаю шляпу с головы и смотрю в простор темнеющей степи с молитвой, с гордостью и благодарностью в один и тот же миг.

Я чувствую, я ощущаю возле себя тихие шорохи степного ветерка — как вздохи-раздумья Самого Бога, невидимого и непостижного, но такого мудрого, который только Один знает тайны Вселенной, который только Один направляет полет бесчисленных планет по мудрым путям Мироздания... И радость моя растет от сознания: и человеку кое-что доступно, что и человек, эта малая песчинка на

одной из бесчисленных планет, устремляет мысль свою в бесконечное пространство и ищет и находит нити тайн...

Несмотря на сгущающуюся тьму, в душе моей становится светлее, потому что я верю — когда-то все, как один человек, будут озарены этим сознанием и любовью ко всей Земле, всему живущему на ней, ибо она есть нераздельное, единое, живое существо, сознательно несущееся по пространству к какой-то непонятной нам, но великой, мудрой цели... Вот тогда, тогда и будет истинное воскресение из мертвых, пробуждение от сна и тяжкого, больного бреда, который теперь называют жизнью...

На небе гуще высыпают звезды и ярче освещают бездорожную равнину, покрытую необъятной, синей, серебром обрызганной юртой.



# ОПОРА

## I

Избенка Маркеловны стояла на самом конце деревни, почти там, где начиналось кладбище.

Ее, и без того вросшую в землю, точно прихлопнуло чьей-то огромной ладонью, теперь было совсем не заметно. Твердый снежный саван, протянувшийся от кладбища, затянул и закутал ее так крепко, что когда деревенские собаки, заслышав вой волков, целой стаей выбегали за деревню, чтобы дружно полаять, то держали путь прямо через избу, и лапы их дробно барабанили над потолком.

А так как вокруг трубы, составленной из старых бездонных корчаг [57] и опрокинутого сверху жестяного ведра, каждое утро протаивала ямка в снегу, то некоторые собаки, убегая за деревню, падали в эту ямку, барахтаясь в снегу и слегка взвизгивая. Налаявшись вволю и мирно возвращаясь в деревню, собаки снова забегали на избушку и уже обстоятельно обнюхивали место своего приключения, поочередно кружились возле трубы, устроив, таким образом, на избушке свое обычное перепутье, что и записывали на трубе желтенькими знаками.

Маркеловна, хотя и сердилась на эти надписи, когда поутру должна была руками снимать ведро с трубы, но была все же довольна, когда собаки, ворча и лая, оживляли кровлю ее одинокой хижины. Только когда они топтались на потолке, она

всегда тревожно оглядывалась на спящего в уголке на печке Илюшу: как бы не испугался он.

Она задерживала в оттопыренных костлявых пальцах вязанье «варежки» и подолгу вполоборота смотрела на его бледную, грязную мордочку, посвистывающую вздернутым носиком, всегда закупоренным насморком.

Один он у ней, Илюша этот, «как порошок в глазу», и если она и мыкает свое вдовье горе, одинокая и нищая, и не идет никуда наниматься, так только потому, что этот грязноносый, шестилетний парнишка слишком крепко приковал ее к своей маленькой, с одним окошком, избеночке, к своей единственной корове и к той полдесятины [58] хлеба, которую за отработку сеют ей добрые люди.

И никто не обижает ее, безобидную, тихую и услужливую, такую услужливую, что когда она отработывает за пахоту или за покос, то и есть-то досыта не смеет: все торопится угодить, побольше сделать, поменьше заслужить упреков...

— Парнечка растет, Бог даст, через год можно в «борноволокни» [59] к куму Митрию отдать, все с полдесятинки до Троицы [60] заробит, а там совсё Бог... — шепчут ей тихие надежды.

Грустно глядя на спящего сынишку, лицо которого выражало теперь строгую, как у взрослого, задумчивость, Маркеловна начинала усердно сморкаться в рукав своего темного, много раз починенного платья и беззвучно вздыхала, а глаза становились все краснее и подергивались влажным туманом, в котором черная овечья варежка начинала прискакивать и расплываться в нечто огромное и уродливое...

— Совсё Господь! — совсем тихо шептала она и принималась быстро-быстро вязать, беззвучно шевеля губами и считая петли...



## II

Варежки она вязала всем, кто попросит, и брала за это мясом, крупой, дровами и редко деньгами. Вязала прочно, добросовестно и славилась этим рукомеслом [61].

Когда куда-либо уходила, то Илюшка привязывал плохим веревочным обрывком дверь, взбирался на печку и сидел там, жутко прислушиваясь к шороху ветра, который постоянно копошился на потолке, подметая снег к похолодевшей за целый день трубе.

Удивительные были думы у Илюшки.

Какими-то отрывками проносились без всякой нужды разные случаи: руку серпом на пашне порезал, или углем мать засыпала. За коровой бежал как-то летом, ноготь с ноги сшибло, больно было — ничего, теперь зажило. При этом он свидетельствовал ногу, подтянув ее руками к самому носу... А то как-то у тетаньки Арины чай пил с медом: большой ломоть булки намазала ему тетанька Арина... Еще хотел съесть, да мать за него ответила, что он не хочет.

Дядя Федул «осенесь» [62] во дворе у себя Семку плетью драл, а Барбоска ка-ак за штаны дядю Федула-то схватит, ну и бросил Семку... Семка теперь завсегда с собакой, даже санки сделал, запрягает Барбоску. И ничего — Барбоска возит. Бежит в запряжке — хвост крючком. И все домой везет. Семка в поводу его от дома уведет, а потом сядет и — пошел. Собаки лают, ребятишки гурьбой вдогонку бегут, Семка смеется, а Барбоска, язык высунув, хвостом виляет и везет прямо во двор, где Семку драли...

Илюшка начинает мечтать о том, что хорошо бы и ему так-то, да только вот не в чем... летом-то хорошо было, а теперь надо сапоги, да шапку, да сермяжку.

Нету ничего, вот и сидит дома. Только иногда в маленькое окошко и посмотрит, как Семка промчится мимо на Барбоске...

И, вспомнив про окошко, Илюшка соскакивал с печки, подбегал к нему и начинал лизать языком обледелое стекло. Долго лижет, язык замерзнет и устанет, а пока отогреется во рту, кружок опять подернется узорчатым ледком, но Илюшка одолеет-таки и смотрит на улицу одним глазом, пока не замерзнет бровь, затем другим и видит белую, сверкающую на солнце степь, часть уродливых избушных крыш и передний угол кладбища с набочившимися крестами, точно воткнутыми в сугробы.

Увидев кресты, Илюшка снова убежал за печку и тогда ему становилось боязно, потому что он слышал от ребяташек, да и бабушка Ненила сказывала, что покойники вылезают из могил и в белых рубахах ходят возле кладбища, а в потемки приходят даже под окошко.

Потемки хотя и не наступили, но, отбежав от света, который разлит на улице, Илюшка в углу темной печки думал, что уже темнеет.

И напуганное воображение рисовало ему страшные картины разных букушек, которые будто притаились даже и под печкой и свои мохнатые лапы сейчас протянут украдкой к нему из-за чувала...

Становилось совсем тихо. Стараясь не дышать, прижимался он в самый угол печки, настораживался, широко открыв глаза и косясь ими куда-то в темный угол избы, где старая кошма [63] на кровати, казалось, начинала шевелиться и оживать...

Тогда, вдруг вскакивая на ноги, Илюшка начал пронзительно кричать:

— Ма-а-ма-а!.. — и в страшном перепуге жался к стенке, точно букушка уже хватал его...

А в крике его испуг смешивался с решительным протестом против чего-то молчащего и беспощадного, равнодушно слушающего его крик...

Но в крике скоро забывал причину его и, не переставая кричать, смотрел на пляшущее в глазах

окошко и слушал свой крик, постепенно заинтересовываясь его переливами и перерывами.

А затем совсем утихал, изредка клича: «Мама!.. Ма-ама!..»

Но мама все еще не шла, и минуты ожидания тянулись долго-долго.

Хотел есть, но не смел слезть с печки, потому что все-таки букушка, может быть, под нею сидит и ждет...

И какова была его радость, когда вдруг за дверью избы слышались шаги.

Он быстро становился смелым и веселым и, отворяя дверь, не спрашивал, кто там подошел... А когда входила мать, то он даже начинал хвастать:

— Я ничё, я не боялся...

Но мать видела по запухшим глазкам сына и еще вздрагивающему от слез голосу, как ужасно боялся и плакал он, и сердце ее сжималось, ущемленное жалостью.

— Ково же бояться-то? — тихо говорила она. — Никово ведь нету... День...

И всегда что-нибудь приносила сыну: либо пирожок с мясом, либо остатки щей, либо кусочек мягкого калача.

Проголодавшийся Илюшка, поспешно уплетая принесенное, начинал немолчно звенеть своим тоненьким голоском, засыпая мать своими ничем между собою не связанными вопросами...

Мать, погруженная в заботу, отвечала односложно и часто невпопад и, тем не менее, мрачная, с застланным соломою земляным полом избушка оживала, а в стенку избы из маленького дворика стучала ногами Пестряна, требуя взять от нее накопившееся молоко, такое беленькое, душистое, теплое и вкусное...

### III

Но молоко не всегда, оказывается, можно было есть.

Так в первый день Филиппова поста [64], когда Маркеловна пришла из дворика с дымящимся в подойнике свежим молоком, Илюшка, по обыкновению, ждал ее в кути с деревянной чашечкой и подставлял ее под цедок [65]. Но Маркеловна отдернула подойник и, дотронувшись своей мокрой рукой до белокурых волос сына, сказала:

— Нельзя, сынок, молочко-то теперь есть...  
Пост — тебе уж седьмой годок!

Илюша недовольно посмотрел на мать и заныл, влезая на печь.

— А Боженька-то! — торопливо внушала Маркеловна и, сделав испуганное лицо, показала на темный образ.

О Боженьке Илюшка слышал давно, и теперь, услышав о нем, он пугливо посмотрел на икону Николы Угодника.

Никола был написан седым, с вьющимися, наподобие облачков, волосами на бороде и, сердито уставившись на Илюшку, грозил ему двумя аккуратно сложенными пальцами правой руки...

— Вот Рождество придет, тогда и шанежки, и молочко можно будет, — успокаивала мать, как бы говоря с собою...

И Илюшка ждал Рождество, рисуя его каким-то старичком, наподобие Николы Угодника, который придет к ним в избу, помолится и скажет:

— Ну вот, теперь и молочко можно...

А может быть, и не такое оно, Рождество, только все-таки Илюшка ждал его очень долго, пока, наконец, мать не сообщила как-то, что вот и Рождество недалеко.

«Недалеко, — подумал Илюшка, — может быть, уж к пашням подходит теперь?»

Дальше пашни Илюшка не бывал, и поэтому его воображение рисовало именно ту даль, которая начиналась сейчас за пашнями, и даже когда говорили при нем о каком-то городе, то ему казалось, что он тоже где-то за пашнями.

И вот исподтишка он начал выпытывать у матери, какое оно, это Рождество, и как оно придет?

Мать давала не совсем определенные ответы.

— Рождество да и Рождество... Неделя вот пройдет, и Рождество будет...

Но Маркеловна добавила:

— Славить ходят в Рождество [66]...

Это было для Илюшки уж вовсе новостью и, когда пришел вечер, он очень долго выспрашивал о подробностях, а когда мать сказала, что славильщикам дают сырники, шаньги и даже копейки, он оживился и спросил:

— А я... буду славить?..

Мать умильно посмотрела на сына и, не ответив, подумала:

— Ишь, помочь мне норовит... Растет!

Сердце ее радостно забило, и мысль как-то неясно, тупо запрыгала, рисуя скорую поддержку сына...

Она представляла себе, как он в десять, двенадцать лет будет приходить с улицы, красный от мороза и серьезно, по-мужски, сообщать о том, что сделал. Потом подрастать будет... «В год» [67] в работники можно будет отдать — хлеба посеют, а потом жеребенка купить, сама будет лелеять его, вырастет в большую лошадь... Дровнишки... хомут.

И дальше, дальше быстро бежала мысль, рисуя самое скромное и возможное счастье матери: увидеть сына мужиком-хозяином.

Как в подать попадет [68], так и женить [69] можно будет собираться... Даже и скромная свадь-

ба при помощи добрых людей рисовалась. Молодуха — помощница... Все трое работать, работать без просыпу будут... Ничего!

Но Илюшка, широко открыв синие с длинными ресницами глазки, ждал ответа и повторял:

— А, мама? Буду? А?

Мать, сложив на колени уставшие от вязания руки, поправила сальный огарок, поставленный в деревянный подсвечник на опечек [70], и грустно поглядела на сына.

— Да ведь не умеешь ты еще... славить-то! — улыбнулась она и добавила со вздохом: — Да и не в чем тебе, милый мой!..

Свечка подлизывала растопленное сало, коптя и слабо потрескивая.

Маркеловна снова торопливо начинала вязать варежку, сосредоточенно и беззвучно шевеля сморщенными губами.

И оба думали, сидя неподвижно на теплой печке, пока Илюшка не прервал молчание:

— А ты научи меня!

Мать снова с тоскливой негой посмотрела на сына и тихо, глубоко вздохнув, ответила:

— Я и сама-то не умею, милый сыночек, — и вязала, торопилась.

Затем, как бы вспомнив о чем-то, она погладила сына по волосам и успокаивающим голосом сказала:

— Погоди ужо. Я Миньку Нефедова позову. Он славил донись [71], может, и тебя научит...

Глазенки у Илюшки засверкали, и он, открыв рот, молча смотрел на мать, положив обе ручонки на свои сложенные калачиком худые ноги.

А мать добавила:

— Пимы свои на тебя надену. А шапку у дяди Ивана попросим.

И, уронив вязание, прислонила его головку к своей плоской, давно высохшей груди.

#### IV

Минька Нефедов был на два года старше Илюшки, имел свои черки, сермяжку и опояску, сотканную из отрепья, а овечья шапка хотя была отцовская, но, много раз побывав на дожде, до того ссохлась, что отцу совсем не лезла, а Миньке была как раз впору.

Голова у Миньки была стриженная и красная, точно обтянута кожей с рыжего жеребенка, а лицо было рябое, веснушчатое, будто забрызганное смолою.

Когда он вошел в избу, то сейчас же сбросил шапку, сермяжку и черки и, прыгнув на печь к Илюшке, живо приступил к преподаванию.

Минька нигде не учился и грамоте не знал. При сельской сборне [72] хотя и была маленькая каморка, где сельский писарь учил ребят, но писарь этот давно умер с водки, а новый учить не умел.

Молитвам выучился Минька от своей бабушки, а «славить» — от чужого дедушки Ермила, с которым он христосовался [73] в прошлом году.

Голос у Миньки звучал пронзительно и уверенно и предмет свой он знал твердо, укрепив его новыми репетициями задолго до прихода к Илюшке.

В углу печки он устроил из покрышки [74] божницу и, посадив рядом с собою Илюшку лицом в угол, начинал проворно креститься и откашливаться, как это делал дедушка Ермил. Затем, деля голос свой басистее, выводил: «Ра-ажество Твое Христе Бо-же наш...»

— Тяни за мной! — приказал он Илюшке и вытягивался в струнку перед покрышкою.

И оба тянули бессвязно, не в тон и коверкая слова. Выходило это смешно, но они строго смотрели в угол и на особенно длинных нотах проворно крестились и кланялись.

К обеду дело стало налаживаться, а когда Маркеловна подала им на печь горячую белую кашу из пшена и учитель с учеником ее съели, то урок продолжался еще успешнее.

Теперь уже оба голоса стали походить один на другой и друг за другом гонялись, лавируя и спрыгивая, будто кто-то над избушкой не в шаг бегал — один за другим, скрипя и взвизгивая подошвами...

Когда же Минька собрался уходить и оделся, то Маркеловна заставила их пропеть перед образами по-настоящему, и когда рядом с рослым Минькой стоял босой и худенький Илюшка и, заглядывая в рот Миньке, тянул непонятные, но заученные слова, она стояла у печки в кути и, поджав руки, умильно смотрела на сына, думая про себя:

— Ишь, ведь, понятливый какой! Не отстаёт от Миньки-то.

## V

В сочельник с вечера Маркеловна, покончив с уборкой избы, вымыла Илюшку горячей водой над лоханью [75] и села на печку на обычное свое место дошивать ему новую рубаху.

Умытый и причесанный Илюшка в одних штанах, без рубашки, прикрытый старым платком, сидел возле и терпеливо ждал, когда поспеет рубаха. От глянцевого розового, с мелкими цветочками, ситца приятно пахло. Наконец, рубаха торжественно зашумела и, покалывая худое тельце, поплыла по нему, как холодная вода.

Из остатков от рубашки мать связала тесемочку и подпоясала сына. Застегивая высокий и тугой ворот, не удержалась и, радостно улыбаясь, крепко поцеловала его: так он нравился ей в новой рубахе, которую он и гладил на себе, и одергивал, и нюхал, довольный и смеющийся...

Он даже не мог спать и до рассвета дремал у чувала, чтобы не измять рубашки, а главное — не проспаться...



Перед утром Маркеловна вскипятила старый помятый самовар, постлала на маленьком столе белую, сшитую из двух полотенец, скатерть с красной каймою и стала вынимать из печки горячие, вкусно пахнувшие шаньги.

Продолжительно и сообщая помолвившись, стали разговляться: поели творогу со сметаной, потом жареной картошки, затем стали пить чай со сливками, и при этом Илюшка весело болтал, вытирая масляные руки о свою голову, и все поглядывал в застывшее окошко.

На лицах их не было и тени недовольства на судьбу. Напротив, лица их сияли радостно, отражая праздничную торжественность, — так немного им было надо.

Только мать часто прислушивалась к метели, которая то и дело набегала на потолок, шурша снежным подолом о трубу избушки...

В окне забелело утро. Илюшка засуетился. Мать сняла с себя пимы, свою теплую душегрейку [76] и с кривого наместа взяла шаль, которую ей купил покойный отец к свадьбе.

Илюшка, одетый в широкую, сползающую с плеч душегрейку и перевязанный шалью, концы которой были стиснуты у него на спине, совсем утонул в порыжевших и испещренных заплатами материнных пимах-валенках.

— Ну, иди со Христом!.. — сказала она и вывела его на улицу. — Да вот так, прямо по дорожке иди... В сугробы-то не ходи, а то в пимы снег насыплется... Вон новая крыша-то: там Мартын Иваныч-то живет, туда и ступай, да к тетке Дарье зайди... К дедушке Мирону... Иди со Христом!

И босая, с раздутым метелью подолом юбки, она стояла в снежной яме, которая вела к двери избушки и, поджав руки, смотрела, как Илюшка,

похожий на девочку, потащил огромные пимы, через силу выдергивая их из снега, как из жидкой и тяжелой белой тины.

Мечты Илюшки сбылись: он ушел славить... Вернувшись в избу, Маркеловна стала греть озябшие ноги на печи и беспокойно думать о своем Илюшке, единственной утехе, надежде и опоре в ее одинокой, вдовьей доле.

Мартын Иванович считался в той деревне самым богатым человеком и торговал медом, маслом и сальными свечами. Дом его в две избы, недавно перестроенный, покрыт был желтым тесом и весело смотрел на кривые и старые соседние избы своими раскрашенными окнами.

Вся семья Мартына Ивановича, состоящая из четверых малолетков и жены, сидела в переднем углу вокруг крепкого тяжелого стола и разговлялась. Мартын Иванович, нестарый мужик с черной благообразной бородой и длинными волосами, сидел в переднем углу, а жена его, веселая и толстая Герасимовна, в новом сарафане и сапогах с подковками, то и дело вставала с места и ходила в кут за новыми и более сытными блюдами.

Дети сидели в ряд на большой лавке, все в красном, болтали ногами и проворно ели жирные щи. Они начали было спорить из-за косточки с мозгом, но отец строго покосился на них и негромко произнес:

— Эй, вы!

— Што вы, Христос с вами, — добродушно поддержала его жена, — нявжо [77] вам не хватает! Ешьте на здоровье! Все сыты будете.

В это время послышался за дверью какой-то шорох и затих. Затем опять.

— Кто там?.. Отвори-ка, — крикнул Мартын Иванович жене.

Та пошла и, пнув дверь, столкнула с ног Илюшку.

— Ну, иди скорее, — крикнула она, поднимая его за ручонку.

Илюшка, улыбаясь, встал, еле перетащил через порог свои пимы и прижался у порога к кровати.

Ребятишки засмеялись над его пимами и кофтой, а Мартын важно спросил:

— Ну, чё скажешь?

Илюшка молчал, жуя свой язык и неловко улыбался, пряча озябшие руки под шаль.

— Ты чья будешь? — спросила Герасимовна, но Илюшка все молчал, подвигаясь вперед.

— Да это парнишка, надо быть?..

— Ты славить, видно, пришел? — спросил снисходительно Мартын Иванович.

Илюшка молча болтнул головой и устремил свое благоговеино-смеющееся, раздумянившееся личико на иконы.

— Ну, славь, славь, милый сын! — сказал Мартын и встал из переднего угла. Ребятишки прыснули, но суровый взгляд Мартына укротил их, и они встали с мест, приостановив еду. Герасимовна наблюдала из кути.

Илюшка встал в передний угол и начал тоненьким дрожащим голоском, картавя:

— Ло-озество... — и замолчал, припоминая дальше.

— Ну? — ждал Мартын.

— Ло-озество... — и опять нету дальше слов, точно провалились они.

— Ну, дак ты не умеешь, видно, а пошел славить тоже... Ну, пой дальше: «Твое Христе Боже наш», — подсказал хозяин.

Но Илюшка затих совсем, правую ручонку потянул к перекосившемуся личику и отвернулся от образов, а затем, громко заплакав, пошел обратно к порогу.

— Вот добро!.. — растянул Мартын, улыбаясь..

— Дак ты чё?.. Кто виноват-то?..

Илюшка плакал и прятал свое лицо в материну шаль...

— Дай ему, Герасимовна, копейку! — велел хозяин и снова сел за уставленный кушаньями стол.

Ребятишки, разинув рты, уже не смеялись, смотрели на всхлипывающего Илюшку, на рыжую кофту, на пимы, подпирающие его маленькое туловище, и следили, как мать достала с полки тряпичный мешочек, звякнув медяками, достала копейку, какая поплоче, и понесла Илюшке.

— На-тко!.. Не заробил ведь, не следует и давать-то...

Илюшка, не взглянув на копейку, как-то лениво повернулся к двери лицом и стал стучать пимом в тугую дверь, все больше всхлипывая...

— Еще не берет... — недовольно сказала Герасимовна. — Ступай, ступай, милый сын, — помогая отворить дверь, добавила она. — Ишь, ведь, какой спесивый! — и положила копейку обратно.

## VI

Кутаясь в шаль, Илюшка остановился среди сугробов снега. Ветер осыпал его снежным песком, насовывая целые горсти за пазуху, в рукава и за голенища пимов, а он стоял и, обливаясь слезами, однотонно тянул единственное слово:

— Ма-ама!..

Затем, начиная зябнуть и не переставая плакать, побрел мимо сугробов по безлюдной улице между наполовину погребенных в снег изб.

Но, вспомнив, что если вернется домой безо всего, то мать скажет, что он не ходил славить, что напрасно звала учителя. И ему будет стыдно.

Сдерживая плач и чувствуя, как начинают коченеть руки, он сквозь слезы стал твердить то, что так хорошо выходило с Минькой...

И пока твердил — помнил, а когда отыскал еще новый дом, чтобы «выславить» что-нибудь, то сра-

зу почувствовал, как хитрые и непонятные слова отступали куда-то, точно их вырывала у него буря.

Но все-таки шел, бредя по белому снегу темной лохматой точкой, широко размахивая руками и с трудом таща по глубокому снегу огромные пимы.

Вот уже и новый дом с темными стеклами окон, тепло в нем, потому что где холодно — стекла белые, в инее.

Вот и желтое крыльцо с витым из железа колечком на двери... Зашел на него, сделал большие, почти мужские следы на тонком снежном слое. Взялся за кольцо, но когда оно брякнуло — испугался. Только в груди что-то метнулось сильно и замерло.

— Лозество... Лозество... — начал было твердить, но слова опять куда-то ускользали.

Отнял руку от колечка и прислушался. Все молчит вокруг, только ветер шипит снежной пылью по крыше.

Может, выйдет кто и увидит? Может быть, скажет жалостливо, чтобы он зашел погреться?

Но никто не выходил, и Илюшке стало так себя жаль, что он прижался в уголок крыльца, притянул к мокрому от слез лицу свои озябшие руки и, сдерживая крик, стал вздрагивать всем телом и захлебываться накопившимся горем.

Когда крик все-таки стал вырываться из груди, он медленно потащил опять свои пимы прочь от нового дома.

Его плач все больше и больше разрастался, оглашая сугробы, но буря подхватывала его и, завывая, бросала в белую мглу.

Илюшка шел медленно, еле таща пимы по снегу, и часто запинаясь, падая голыми руками в снег. Вот он упал против подворотни какого-то двора и силился встать, пурхаясь в снегу, а на него с оглушительным лаем наскочила большая лохматая собака и, схватив за кофточку, стала рвать ее зубами, тряся обезумевшего и вдруг смолкшего Илюшку...

Когда же страшный вопль вырвался из его груди, собака бросила его и, лая и рыча, металась возле него, как бешеная, хватая его за пимы, за кофточку, за шаль, пока, выбежавшая из избы девка, не ударила собаку сковородником...

В растрепанной, разорванной кофточке, в одном пиме, наполовину нагруженном снегом, побелевшими и окоченевшими руками Илюшка шарил в снегу спавший с него другой пим и ничего не мог ответить спрашивающей его о чем-то девке. Он только через силу выдыхал какие-то отдельные звуки:

— Сы-а... бы-а... к-ка...

И все шарил в снегу, отыскивая материн пим и неудачно поджимая босую ногу...

— Да беги ты скорее в избу!.. Замерз ведь до смерти! — кричала девка, но Илюшка шарил и все больше коченел, захлебываясь и выдыхая непонятные звуки, пока девка силой не поволокла его в избу.

Маркеловна долго сидела на печке, раздумывая и вспоминая свою, как-то незаметно увядшую, не виденную, но тяжелую и мутную жизнь.

Беспорядочно чередовались в ее думах обрывки от недавнего, то детского, то девичьего времени, чередовались, не задерживаясь в памяти.

И все прошлое было горько и печально, политое слезами и потом, такое безотрадное и унылое, как сжатая полоса поздней осенью. Вспомнилось и такое, что она не хотела вспоминать, и хотя гнала его, стараясь не думать о нем, оно все-таки вторгалось в ее душу, впивалось в мозг, упрямо развертывая подробности и шепча на ухо под злое гудение бури над потолком избышки:

— А помнишь, как вожжами-то он тебя, как скотину, драл?

— А как о печку головой стучал?.. Еще косы-то твои у него в руках остались!?. Помнишь?..

— Да не надо, не надо! — отмахивалась Маркеловна. — Умер он... Прости его, Господи... И его жисть была несладкая...

Но шепот еще более зловещий, еще более властный настаивал:

— А босиком-то в одной рубашке на мороз — вытолкнул?! А ночью-то... Помнишь, ночью-то, пьяный... Исщипал-то всю, раздевши?

И что-то черное, тяжелым свинцом сдавливало грудь, горячим железом прожигало сердце, и ныло все истерзанное, поруганное и изношенное тело.

— Господь с ним! — сказала Маркеловна вслух и, зашмурыгав носом, стала сморкаться в рукав и крючковатой рукой вытирать покрасневшие глаза. — Теперь некому так-то изгаляться... Умер, — упокой, Господи, душу его грешную... Илюшенька подрастет вот, дак, может, и моя жисть полегчает...

И вздрогнула вдруг, насторожилась, двинулась с места и оглядела избу.

Вспомнила...

Вспомнила о нем и заторопилась... Соскочила с печки, поискала пимы.

— Где же он так долго? Ведь уж вечереет, — суетилась она по темной, сырой и маленькой избенке...

А буря на потолке выла все злее и постукивала в старое ведро, точно просилась в избу через трубу, как ведьма.

Кофтенки тоже нету... Достала праздничную, еще подвенечную шаль, накинула ее и прямо босиком вышла на улицу.

Посмотрела — буря метет, крутя снежную пылью до самого неба, и не видно изб.

Постояла чуточку. Кинулась было в избу... Опять постояла и, как была босая и раздетая, так и пустилась во всю прыть через рыхлые сугробы искать по избам своего Илюшку...





## ПО УКАЗУ

С лица суров, а на слова скуп Калистратыч. Широкая борода давно пожелтела, редкие волосы все еще смачивает по утрам и косым рядом зачесывает назад... Плешина не больше екатерининской медной гривны [78], и так же темно-красна, и так же неровно закруглена.

Годов десять назад подбородок брил и с седыми баками походил на сенатора, а теперь руки трястись стали, того гляди, зарежется... Не стал бриться, и оттого середина бороды как-то короче, и все темно-бронзовое, крепко сплетенное лицо кажется треугольником, суженным кверху...

Родни никого нет. Сиротой называет себя Калистратыч, когда приходит к молодежи Авдотье.

— Опять к твоей милости, Авдотьюшка: зашей, Бога ради... Ишь, вот опять где разорвалось. — И старательно показывает новую прореху на старом-престаром кафтане, когда-то черном и бархатном, а теперь рыже-сером и реденьком, как смятая миткаль [79].

— Господь его знает, как это я его разорвал, — как бы оправдываясь, бубнит Калистратыч, снимая свой кафтан, — невзначай как-нибудь, надо быть... А с прорехой-то неловко... В указе, мотри, сказано: «одеваться пристойно должен».

Авдотья жалостливо улыбается ему задумчивым бледным лицом и, зашивая кафтан, спрашивает Калистратыча:

— Не вспомнил, сколько годов-то?.. Поди, на том свете-то тебя ищут не доищутся...

— Куда деваешься: зажился, прости меня Господи... Сам знаю, што пора бы честь знать, дак ведь што поделаешь?.. Господь смерти не дает: согрешил я перед Ним — не прибирает. — Осторожно сев на лавку, он обеими руками держится за край ее и, опустив голову на грудь, задумчиво смолкает.

Авдотья, склонившись над кафтаном, чинит его, и ее тонкий, надломленный ранним вдовством стан перегибается к коленям, глаза с покорной грустью изредка куда-то далеко смотрят в степь через стекло маленького косоного окошка, и все лицо ее нарисовывается на окошке, точно на иконе.

Молчаливо и покорно маленькая избушка слушала, как похрустывала игла под наперстком Авдотьи; изредка из глубины ее впалой груди вырывался глубокий, но осторожный вздох, а через окно смотрели в избу далекие и ближние белые поля, лишь кое-где оживленные слежавшимися полузасыпанными стогами сена и скривленными скирдами хлеба. А рядом и напротив, прижимаясь одна к другой, стояли серые косые избы с дырявыми крышами и седыми заборами дворов... Иногда по сугробистой улице проедет воз сена, и сидящий на нем знакомый мужик в сером армяке как-то лениво крикнет на нерасторопную измученную лошадь:

— Ну, ты, ослапина!

А дед Калистратыч сидит и будто спросонья повторяет вслух то, что отрывочно удержала еще его старая голова.

— Вот и говорит мне, бывало, Николай Николаевич, царство ему небесное, утюг, говорит, ты, Калистратыч, стальной, говорит, а не жиленный. К тебе, говорит, и розга-то не льнет и спицутрен-то [80] тебя не берет.

— А што это за спицутрен-то? — спрашивает Авдотья, вдевая нитку в иглу.

— А палки это такие, таловые и березовые... были и черемуховые... били которыми. Через строй проведут, бывало, какого побарахлявее-то, он и полусотка снести не может... Почернеет, зайдет, да и того — отляживать в гошпиталь... Вылежится — ему еще полусоток... Другой раз весь-то строй в полгода еле осилит, а там, смотришь, — опять што ни на есть нагрезил [81]: либо выругался при начальстве, либо урок свой не поспел...

— Опять драть? — оборачивается и, смотря на деда большими глазами, спрашивает Авдотья.

— А как же? — удивляется Калистратыч. — Такой устав был: не токмо што не поспел, а коли и переробил сверх заданного, и то порка... Иной двести и даже пятьсот получить должен.

Авдотья втыкала иглу и, положив руки на кафтан, молча и недоумевающе глядела на старика. Затем озлобленно спрашивала:

— И терпели?

— Кто смог — терпел, а кто и под гробовой доской прятался, не выдерживал. А мне-ка вот ничо не доспелось... — И, хихикнув, Калистратыч опять вспоминал: — Утюг, говорит, ты, Калистратыч, стальной, говорит, а не жиленный... Лютой до розги, на руку торопливый, на слово остер был, Николай-то Николаевич.

— Вы, знать-то, как скоты, и терпели? — опять сердито кидала ему Авдотья. — А я бы дак ни за что не стала. Убежала бы, да и только.

— Да куда ты убежишь?

— А мала тайга-то, што ли?

— Хе, хе, хе... Найдут!.. А найдут, — убежденно и невозмутимо продолжал Калистратыч, — найдут!

Сердито бросала Авдотья кафтан деду и торопливо шла в куть, к печке.

— Не гневайся, Авдотьюшка. Не гневайся, доченька... Старые люди крепки были, а начальство строгое... На то устав был... Соблюдали... Иной порет тебя, своего же однокашника порет и не смеет пожалеть... Как ударил послабже, ну, значит, крест ему мелом на спине нарядчик поставит... Значит — самого пороть... Вот и стараются все: своя-то спина дороже... А я всегда так делал: как зачнут меня пороть-то, я полу армяка возьму в зубы, да о чем-нибудь другом и стараюсь думать. Научил меня один несчастный. И не считаю. Не приведи Бог считать удары по себе. Вот и пособлял Бог — сносил, мотри. Только раз один и лежал в гошпитале-то... Дык холки-то в те поры ровно на пельмени были иссечены... Триста в раз дали втупор!..

Странно было для Авдотьи, что дед без злобы вспоминал об этом, напротив, как-то даже с бахвальством, точно хорошее что. И сердилась она на него, и жаль ей было его, и тошно слушать его воспоминанья, и хотелось их слушать.

— И баб драли? — спрашивает она и, поджав руки к сердцу, даже зубами скрипнет.

— Дра-али, не глядели, мотри. Потому для всех был «обязательный». А в «обязательном» разве спрашивали, мужик али баба. Хе-хе... Николай Николаевич, уставщик-то наш, любил даже сам баб-то пороть... Ох, и люто-ой был до розги. Царство ему небесное!..

— Смолу б ему кипучую, паршивцу окаянному!.. — не выдержав, кричала Авдотья и даже сплевывала на пол...

Тихо хихикал Калистратыч, скривив беззубый рот, и успокаивал ее:

— Устав был такой! Свыше велено, под началом был и Николай-то Николаевич. Все под началом были.

— Не ври! — кричала Авдотья. — Хошь бы и под началом — кто мне-ка велит бить ни за што? В его власти, поди-ка, люди-то али нет!.. Под началом!..

— Потом, слышим, воля царская [82] вышла... «Обязательный прекратить!» — И, спохватившись, старик прибавляет поспешно: — А волю-то мы услышали во-он когда, года полтора спустя... А то под сукном волю-то в конторе держали... Получили это волю-то и — молчок... И бить, и кровь нашу пить надо было, не насытились еще, — начинает сердиться и дед. — И держали все в секрете. Боялись будто, што разбегутся, да и ехать-то на нас привыкли. А потом писец такой был, он и увидел манифест-то, да кому-то ненароком и проболтался. Ну, мы, значит, все на дыбы... А тут еще со стороны кержак [83] один пришел, бродяга какой-то, — тот тоже бает: «Давай, мол, царский манифест!» «Нет, — говорят, — никакого манифеста». Да нас всех пороть... Перепороли всех да назавтра и волю объявили.

И дед опять заулыбался и, понизив тон, прибавил:

— А писца-то, бедняжку, так-таки и упекли куда-то... И не видали мы его с той поры... Кто сказывает, што в тюрьму запрятали, кто сказывает, што убежал он... А мы так полагали, што укокошили его: боялись, што царю донесет...

И умолкал старик, и умолкала Авдотья, а с унылой улицы доносился визгливый лай собачонки и чья-то длительная злая ругань...

Помолчали-помолчали, да вздохнули тяжело, попеременно, а затем Калистратыч сказал:

— Ну, спаси те Бог, Авдокеюшка!..

Надел кафтан, подпоясал его древней гарусною [84] опояской, нахлобучил старый картуз [85] с кошёмной подкладкой и, взяв костыль, пошел опять к старосте.

— У кого мне-ка ночевать нынче? — спрашивал он, стоя под порошком.

— Ну, хоть к Митрию ступай, а завтра, што ли, к Егору, — говорил староста и сердито ворчал: — Чего не умираешь? Сидишь на шее у общества. Возись с тобой — корми, пои тебя... Тут и у самих-то жрать нечего!..

Оперся на костыль Калистратыч, покачал упрекающе головой и сказал сквозь слезы:

— Эх, Ерёмша, Ерёмша!.. Грех тебе меня, старика, избывать. Кабы не было указа у меня, я мог бы и Христовым именем прожить, а то сам знаешь, указ имею... И одеваться пристойно должен, и милостыню не должен просить, и робить своими руками должен... А как я теперича, коли руки-те у меня не гнутся?.. А указ, мол, даден! За непорочную службу царю-отечеству. Не за бирюльки даден!.. По указу и жить должен, а ты избываешь, — и старик затрясся весь, всхлипывал и нервно хватался за рукоятку костыля.

А потом пошел по улице под гору, где над застывшей речкой, ниже громадной плотины, стоял старый, вросший в землю рудничный завод... Его облупившиеся кирпичные стены, провалившаяся крыша, железные ржавые двери и выбитые окна говорили о том, что много уже пролетело годов с тех пор, как вырос он под натиском тяжкого «обязательного» труда, и не одна сотня жилистых черных рук напрягалась под этими угрюмыми переплетами в крыше и громадными черными балками из вековых лиственниц.

Шел старик к заводу по занесенной снегом дороге и все всматривался в далекое прошлое, когда здесь кишмя кишел народ, и он, молодой и сильный, был в среде его и пренебрежительно сносил побои, и жизни не видел, как прошла, и света не видел, пока не подсекла беспомощная старость. И ничего нет теперь, кроме желания умереть скорее и уйти от людских поношений на старого, всем надоевшего и никому не нужного горнорабочего.

Вот и старые весы, где руду вешали, вон и красно-багровые отвалы породы из глубоких шахт, с которых будто вчера еще таскал он тяжелые носилки с рудою. Вот и площадь, где пороли. Вот и место, где контора была, провиант выдавали, да по гривне в три дня — жалование. А вот и ржавые двери.

Берется старик за громадную железную скобку, но открыть нет силы, тяжелы стали двери, заржавели в петлях...

Постоял-постоял да и вспомнил, что ведь теперь не лето, когда он от людских обид прятался в развалинах завода.

И одиноко стоял у ржавых дверей завода, такой беспомощный в своем старом, когда-то бархатном кафтане.

И сгибался все ниже под тяжестью семидесятилетних унижений, будто сейчас только сознанных. Тряслась его седая голова, дрожало истерзанное побоями тело, а Калистратыч не знал, куда его девать, что делать с этим крепким, все перенесшим телом, которого не прибирает разгневанный за какие-то грехи Господь...





## ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Дедушка Макар с утра и до вечера с длинным посошком бродит за своим небольшим смешанным табуном скотины.

Лицо, шея и руки его стали темно-коричневы. Ноги в старых сморщенных обутках и холщовых штанах сами, помимо его воли, идут и идут — либо позади табуна, либо впереди. Маленький, иссохший и сгорбленный, в дырявом овечьем полушубке и серой войлочной шляпенке, он напоминает домового. Редкая седая борода, светло-синие прищуренные глаза, лоб с тысячью морщинок, кучерявая седая бахрома волос на висках и затылке — домовый, да и только.

Через плечи на нем холщовая сума с черствыми кусками хлеба и маленький жестяной чайничек, в руках длинный, с крючком наверху березовый посошок, он часто подставляет его под бороду и, задумавшись, смотрит в заобские просторы.

Смотрит он так себе — надо же куда-нибудь смотреть. Смотрит и удивляется, как велика земля Божия.

— Во-о-н там за рекою тайга залегла, — лениво тянет дед, — а за тайгою Томско, а за Томском, поди, опять тайга, а за тайгою море, а за морем заморские люди, немцы разные, а за немцами облезьяны живут, а за облезьянами тигры, а там какие-нинабудь еще зверушки — Божья тварь...

— Далеко край света белого!.. — вздохнет старик и переведет сощуренный взгляд на скотину, которая разбрелась по серо-зеленому полю и дружно чавкает свежий корм.

Увидит жеребушку или ягненка, резво бегающих вокруг матерей, и пошлет свое любовное:

— А-а, штоб вас Бог любил!.. Гоп, гоп, гоп!..

Особенно любит он жеребяток.

Хорошенькие, с тоненькими ножками, кучерявыми хвостами и гривками и атласной лоснящейся шкуркой, они одним своим видом вызывали его улыбку, а когда начинали бегать по зеленому ковру, дедушка Макар озабочено выкрикивал:

— Помаленьку, помаленьку! Ушибешься, штоб те Бог любил!.. — И сам себе пояснял: — Ишь, ножки свои расправляет...

И любил он слушать ржание жеребят, таково-то звонко, молодо разносится оно по полю. А тут еще рассыпчатые серебряные голоса ягнят да несмолкаемое щебетание жаворонков — все с утра до вечера веселит дедушку Макара.

Так он живет в поле изо дня в день всю весну. И никогда ему не бывает скучно.

На высоком увале над Обью стоит древний курган, давно кем-то разрытый, но еще высокий и увенчанный кудрявыми кустами черемухи. Под этими кустами в прохладной ямке дедушка в жаркий полдень любит отдыхать, а в холод и стужу прячется в ней как в своем жилище.

Мимо кургана на берег Оби идет тропинка, по которой с соседних пашен ездят по воду и гоняют на водопой лошадей.

С кургана деду все видать: как с первых дней весны оживают поля, как вырастают черные полосы, как покуривают дымком становища пахарей. В праздники иные пахари приходят к деду на курган. Особенно частенько ходит к нему Тишка, тринадцатилетний паренек, вдовухин сын.

Он живет в работниках у Еремея и пользуется всяким случаем пошалопайничать.

Забегит или заедет, слезет с лошади, сядет возле деда на курган и, достав из-за голенища кисет с табаком, свернет собачью ножку и деловито, с видом пожилого человека, закурит.

— Ишь, постреленок, уж курить умеет!.. На што куришь? Ведь грех!..

— Грех как орех — раскусить да бросить.

— А мать-то тебя за это не порола?..

— Руки короткие, нос не дорос!..

— Ах ты, стрикулист [86]!.. — хватаясь за костыль, грозит дед и собирается ударить Тишку, но тот ловко увернется и сделает непристойный жест.

Дед еще больше сердится и гонит Тишку от себя:

— Иди, лодырь эдакий!.. Хозяин-то тебя ведь ждет теперь, работать надо!.. У-у! Бесстыжий!..

Но Тишка как будто не слышит. Он бросается поодаль от деда на траву и заводит новый разговор.

Бывает, Тишка и не озорничает. Целыми часами лежит на склоне кургана, подложив руки под затылок, и насвистывает. Дед в это время, как ручеек, журчит-журчит, рассказывая о прошлой всякой всячине сибирской.

— ...Бывало, рыбы в этой Оби было — невпроворот!.. Пойдешь после паужина [87], посидишь, подержаешь с часок — смотришь, на два пирога да на щербу [88]!

Но Тишка, видимо, не слушает. Он отдается своим думкам. Вдруг на полслове перебьет старика и скажет:

— Нонче уйду я, дедка, в Россею... Вот до Петрова [89] доживу, посев продам, выкуплю пачпорт и уйду...

Дед не обижается на то, что Тишка перебьет его. Он ведь не столько Тишке, сколько самому себе рассказывал о прошлом.

— Да куда ты уедешь от своей дурости?.. — спрашивает он Тишку. — Где тебя этого не видывали!..

— А вот увидишь!.. Уйду сперва в Россею, а там на море поступлю моряком! Ей-Богу!..

— Больно ярый... Еще молоко-то на губах не обсохло, а уже навроде волка... Шляющий!.. Мать-то бросить, што ли, норовишь?

— Сперва брошу, а потом, когда богатый буду, выпишу ее... По крайности, земли разные погляжу...

— Поглядишь!.. — дразнит дед. — Богатый, мотри, будешь...

— А то нет?.. — всплывает Тишка. — Да я, ежели захочу — в Америку свисну!..

— Свисни, свисни!.. Ступай-ка вот лучше к хозяину-то... Он те покажет Америку: за вихры да об пол!..

Тишка со злым выражением лица делает тот же непристойный жест уже по адресу хозяина.

Дед стучает его костылем. Тишка равнодушно почесывает ушибленное место, не сердясь на деда, и продолжает мечтать во всеуслышание:

— Укачу в Америку, поступлю в машинисты и так зачну работать, так зачну!..

Он эту фразу произносит с такой уверенностью, что даже дед начинает верить в то, что так и будет.

— Ох, и шустрый ты, Тишка! — говорит старик и задумчиво вглядывается вдаль, на могучую реку, лениво нежащуюся в узорчатых и зеленых рамках берегов.

Туда же глядит и Тишка, но видать, что его черные живые глаза смотрят гораздо дальше, за леса, за моря, в Америку.

— Здесь что?!.. — вдруг срывается он с места и, схватив в горсть свежей травы, вырывает ее из земли и бросает наотмашь. — Здесь хоть кто пропадет!.. Гм!.. В работниках у Еремея жить!.. За полдесятины всю весну!.. Да подь он весь к черту!..

Тишка круто обрывает, умолкает, разъяря себя остальное напряженной думкой.

Дед тоже умолкает. Он уже не придает значения болтовне парнишки и полудремотно смотрит на реку.

— Ишь, пароход опять идет!.. — всматриваясь из-под ладони, говорит он про себя. — Ишь, как покуриват!..

Тишка встает на ноги, колет взглядом пространство и долго, не моргая, глядит на приближающийся белый пароход с откинутым назад султаном дыма.

В обтрепанной рубахе парень кажется бронзовым, крепко ввинченным в вершину кургана. От кустов пахнет черемуховой корою, ноздри Тишки широко раздуваются, и медленно поднимается и опускается его тощая грудь.

Дедушка Макар журчит:

— Господа, поди, опять на вольный воздух покатили... Чего им — посиживают... Плывут!.. А я вот век свой прожил и не бывал на нем, на пароходе-то... — И прибавляет после паузы: — И не манит, слышь...

Они долго смотрят, пока пароход проходит мимо, провожают его взглядом и молча думают, каждый про себя, по-своему. Вот скрылся пароход из виду, только чуть заметная струйка дыма осталась и плывет по синеве тайги, а Тишка все еще смотрит в ту сторону и стоит неподвижно.

Голубою тонкою каймой лежит тайга за Обью, кривой блестящей лентой нежится в зеленых берегах великая река, и голубеет безграничная глубь неба с ярким и горячим шаром посредине, а Тишка стоит на кургане и смотрит, смотрит вдаль. Вдруг сжимает свой грязный кулак, поднимает над головой и, кому-то погрозив, выкрикивает отрывисто:

— Эх, и укачу же я куда-нибудь!..

Дедушка Макар молчит в ответ. Непонятны ему вспышки юной крови, и глядит он уже не на Обь, а на широко разбредшийся табун скотины. Тишка спрыгивает с кургана, забирает логушок [90] с водою, карабкается с ним на худую, затянутую работой лошадь и быстро уезжает на полосы... Так быстро, будто он уже в Америку поехал...

А дедушка Макар, опираясь на посошок, бредет опять по зеленому полю вслед за скотиною и ласкает новорожденное животное покоем любовным взглядом, приговаривая:

— А-а, будьте вы благословлены!..

И поет над ним, заливаясь хлопотливый жаворонок, рассказывая непонятные заморские сказки.

## УБЕЖИЩЕ

Было это на берегах одной из быстрых горных рек русского Алтая и было не так давно, на рубеже двадцатого столетия, да и теперь, пожалуй, это водится...

В просторную и сумрачную избу с темными стенами, расписанными какими-то несуществующими цветами, степенной старческой походкой вошел гость.

При его появлении сидевший на лавке бородастый и нестарый еще хозяин почтительно встал и, одергивая длинную красную рубаху, отошел к кути, где возле печки возилась полная и краснощекая молодуха. Он радушно смотрел на гостя, пока тот, сняв меховую, с бархатным четырехугольным верхом шапку и сгибаясь под низкими полатями, степенно прошел на середину избы и, глядя на старинные потемневшие иконы, истово и двуперстно помолился. Поклонившись в последний раз образам, он машинально погладил стриженую седую голову с длинными висками и низко дважды поклонился хозяину.

— Здорово ночевал, Ивойло Терентич!.. — сказал он совсем молодым и мягким тенором и поклонился еще раз.

Хозяин, отвечая гостю на каждый его поклон, просто и ласково приветствовал:

— Здорово ты живешь, Зосим Савватеич!.. Проходи-ка, садись, милости просим!.. — И тоже погладил свою стриженую голову и длинную, черную и волнистую бороду. — Беседуй-ка, Бога ради...

Гость, высокий и тонкий, немного согбенный под тяжестью семи десятков лет, положив на кровать шапку и не снимая короткого черного тулупа без воротника, медлительно сел на лавку. Придерживаясь за нее обеими руками, устремил на хозяина свои голубые, светящиеся строгим умом и крепким характером глаза и многозначительно помолчал.

Борода у него была узкая и совсем белая, с легкой желтизной, брови густые и нависшие, а лицо смугло-бронзовое, сплетенное из крепких и сухих мускулов. Характерный венчик из мелких седых кудерьков над лбом и висками придавал ему нечто святительское и подвижническое.

И так как он не сказал ни единого слова, а только пристально поглядел на хозяина, то этот понял его и проговорил мягко и поспешно своей снохе:

— Настасюшка, тебе пора бы коровушек доить, доченька!.. Иди-тко с Богом скорее...

Настасья, успевшая молча поклониться гостю и понявшая, что старикам надо потихоньку поговорить, быстро вышла в глухие сени, а свекор, дождавшись, пока хлопнут сенные двери, подошел к гостю и, облокотясь на кровать, склонился к нему и пытливо и тревожно посмотрел под поветку его седых бровей.

Старик опустил глаза и сказал мягко и певуче:

— Поберегись...

Наступила продолжительная пауза, после которой как бы после раздумья хозяин сказал полупшепотом:

— Добре!.. Спаси те Христос!..

Зосим взялся за шапку, а хозяин выпрямился, зная, что не время его удерживать... Затем старик встал, отошел от двери и, поминая шапку в руках, повернулся опять к хозяину.

— А помолимся там же... — сказал он дрогнувшим голосом и, сморщив лицо, заморгал учащен-



но и прибавил порывисто и задыхаясь: — Ибо и Сам Господь обрел там убежище Свое... — И, поклонившись в пояс, вышел, надевая шапку в сених.

Ивойло недвижно стоял посреди избы, задумчиво насупив брови и устремив черные глаза на желтые, чисто вымытые сосновые доски пола.

Затем поспешно стянул за рукав с полатей тяжелый зипун с вышитым воротником и, подпоясавшись ниже живота, достал с гвоздя старинную, с четырьмя углами шапку и рукавицы и вышел в сени, где опять сосредоточенно остановился. Но, как бы подстегнутый какой-то пугающей мыслью, быстро направился в темный и обширный двор, где двое сыновей его, женатый и холостой, весело разговаривали, проворно звенели пилой, перерезывая большой кедровый кряж на дрова.

В глубине двора, в лабиринте многих перегородок и прясел, шумя сеном и соломой и пуская обильным дыханием облака теплого пара, кормился многочисленный скот. Там же в коровнике слышался ласковый распевистый голос Настасьи, обращенный к корове:

— Ну, стой, штоб те Бог любил!.. Да стой же, Богородица с тобою!..

А звонкая пила, пережевывая толстую и хорошо пахнувшую лесину, пела в руках краснощеких и рослых сынов Ивойлы так сильно, что первые слова отца они не слышали.

Ивойло подошел ближе и взялся за плечо младшего. Ребята, прекратив разговор, остановили работу и внимательно поглядели в лицо отца.

— Авдеюшка, запряги-ка мне Игреньку в розвальни... Да сенца побольше положи, помягче штобы сидеть...

Авдей встал и, сняв с деревянной спицы у амбара узду, удалился в глубь двора.

— А ты, Кирилла, ступай-ка позови Самойлу Гаврилыча... Да с глазу на глаз, смотри!..

Кирилла, знавший тайны отца, догадался в чем дело, и, не сказав ни слова, быстро вышел на бурлящую улицу, скрипнув тяжелыми воротами.

Ивойло вернулся в сени и, притворив двери в глухое крыльцо, достал из-под теса свой крючковатый и длинный костыль, поставив его в уголок сеней, а сам вошел теперь в горницу, где под руководством его жены, сухой и подвижной бабы в шашмуре [91] и синем сарафане, происходила «супрядка». Несколько молодых и старых баб и краснощеких девушек, в том числе и три дочери Ивойлы, при громком и веселом разговоре пряли белый и пушистый лен. Они спешили, помогая хозяйке окончить скорее пряжу ввиду предстоящих праздников и мясоеда, в котором у Ивойлы предполагалось две свадьбы: женитьба Авдея и выдача замуж Аксиньи, старшей дочери...

— Замает она вас! — указав на жену, шутливо сказал Ивойло.

— Нас-то? — крикнули в голос две полные молодухи. — Да што мы за клячи водовозные, чтобы нас замаять?..

— Мы только что разробились! — пошутила одна из девушек, а другая поддержала:

— Только что руки разошлись...

— Не говори ты!.. — буркнула одна из пожилых.  
— Рабочая какая!

— А тебе, тетка, наскучило ужо? — огрызнулась та.

Все громко засмеялись, заглушив своеобразную музыку нескольких веретен и пряча лица за свои прялки с пышной куделью, напоминающей чьи-то мягкие и чистые бороды, которые потихоньку вытеребивали пряльщицы.

— Немного, девоньки, немного осталось, — уговаривала хозяйка. — Вот еще с часочек, а там,

што останется — мы сами докончим... Да и не докончим — не беда!.. Потрудитесь, немножко уже...

Ивойло понял, что супрядку скоро не выживешь из горницы, а время между тем не терпит. Тогда он сказал жене:

— Настасья тебя там звала чего-то... — и вышел раньше нее. А когда вслед за ним вышла жена, он сказал ей шепотом:

— Не Настасья, а я звал. Мне-ка надобно взять там... Поскорее шевелись с супрядкой-то... Кончай, што ли!..

Она поняла в чем дело, и кинулась было назад, но муж остановил ее:

— Да сысподтиха ты, не сразу... Я подожду-нито...

В это время вошел Самойло Гаврилыч, низенький, с редкой и коротенькой бородкой, большим носом и сутулою широкой спиной. Торопливо помолился, поздоровался и вопросительно устремился на хозяина.

Тот кивнул жене и, когда она ушла, сказал:

— Грозятся!

— Слышу...

— Прибери подальше!

— Слышу, слышу!.. — задумчиво сказал Самойло и голосом, полным непримиримой вражды, спросил сурово:

— Никониане [92]?..

— Кто больше-то?..

— А сотня? Ведь он взял!..

— Взял, да мало, видно... Да и другим захотелось, надо быть, поживиться... Мало их тут разве... Знают, что на празднике без молитвы не обойдемся...

Задумались оба, и глубокие складки между бровей говорили о том, как оскорбительна несправедливость.

— Поспеши, Гаврилыч! — сказал наконец Ивойло и взялся за шапку.

— Слышу... — еще повторил тот и тоже пошел к порогу.

Лошадь была уже готова, и скоро в сенях раздались звонкие женские голоса: то пошли с супрядки бабы и девки, отказавшиеся от ужина, так как каждую дома ждали предпраздничные хлопоты и надо было спешить.

— Спаси, Христос, што потрудились!.. — напутствовала их с крыльца хозяйка и инстинктивно оглядывалась, не идут ли уже. Слишком знакомы ей были эти непрощенные гости, приходившие по два и по три раза каждый год... Она не вполне понимала, в чем состоит вина ее мужа и его немногих единомышленников, но хорошо знала, что за такие же, как у него, книги, куда-то далеко угнали с тузом на спине уже четырех самолучших стариков, и потому боялась за мужа.

Тем же был проникнут сын Ивойлы Кирилла, но в нем не было страха, а давно поселилась какая-то непримиримая вражда к никонианам, вражда, граничащая с готовностью подвижнической смерти за свою веру. Он будто по делу зашел к соседу, откуда были видны задние и передние улицы села, и наблюдал за фасадом своего угрюмого и темного дома с полузасыпанной снегом высокой и немного покосившейся крышей.

Авдей, запрягши лошадь, удалился в глубь двора и там полусушутя разговаривал с жеребьями, котрые очень любили, когда им почешут гривки.

А Настасья уже была в избе и, твердо зная, что ей ничего ни знать, ни видеть не надлежит, не подавала даже виду, что она что-нибудь понимает...

Так же и дочери, с детства привыкшие, как дикие волчата, кого-то бояться и не говорить много, молчали и делали каждая свое дело...

Ивойло знал это, когда, взяв в сенях свой костыль, вошел в горницу и, не зажигая огня, за-

крючил дверь. И только теперь он почувствовал, как страшно, если «они» уже идут к нему... Точно вор, он беззвучно прошел в задний угол за печку и, озираясь по сторонам, в полумраке горницы казался большой черной тенью.

Взяв свой костыль за нижний конец, он просунул его в отверстие под печку и, зацепив крючком, вытащил что-то тяжелое и темное... Вытащил и, стоя на коленях, снял шапку... Перекрестился, развернул темную и длинную пелену и одну из книг, что толще и больше всех, взял в обе руки и, раскрыв, приблизил к своим губам...

Жаль было эти близкие, такие понятные и значительные книги, которых нельзя больше нигде достать, над которыми много лет назад сидели святые подвижники и букву за буквой тщательно, по-печатному, выводили черными и красными чернилами... И еще дороги они были потому, что содержали в себе то, что гонят и что много раз читано и передумано, закапано воском и облито следами...

Но страшная мысль, что «они», может быть, уже близко, вдруг уколола его. Он завернул книги, встал и, взяв драгоценную ношу в беремя, быстро вышел во двор и там поспешно положил в дровни, прикрыв сверху сеном.

И в тот момент, когда он, вернувшись в сени, чтобы положить обратно костыль, взялся за скобку дверей горницы, на крыльце заскрипели чьи-то торопливые шаги.

Ивойло замер на месте, ожидая.

Отворилась дверь в сени, и показавшийся Кирилла сказал:

— Идут...

— Там, в санях!.. — в свою очередь бросил ему отец и толкнул его по направлению к двору, а сам, стараясь быть спокойным, пошел в избу.

А в душе кипело... Что сделает Кирилла?.. Догадается ли?.. Не попадетсЯ ли?.. Станет выезжать на лошади, а «они» тут... Господи, помоги!.. Раздевается, медленно вешает на гвоздь шапку и, подавляя в себе целый ад волнений и скорби, говорит мягко и певуче дочерям:

— Что же вы, доченьки, на крыльце-то не вымели: гляди-тко, сколько снегу-то намело туда!.. Да огонька бы запалить надо — чего впотьмах-то сидите?

В то же время на крыльце загремели шаги многих человек, и вскоре один за одним темной вереницей ввалились в избу «они».

Впереди шел староста с медалью на тулупе, в базарной шапке, за ним сотский [93] с медной бляхой на груди, в короткой сермяге, а за ним в длинной черной одежде некто с белым матовым лицом... Затем человек пять каких-то плохо одетых мужиков, видимо, немного подвыпивших.

Побледневший, но спокойный Ивойло почти-тельно отошел к сторонке и ждал, пока староста, отыскав икону, торопливо перекрестился и сказал:

— Здоровы были!..

— Поди-тко, гостем будешь! — сказал хозяин тихо и, увидев, что человек в черной одежде не снял шапки, добавил: — А ты, милый человек, выйди со Христом!.. У меня святые иконы на стене, и в шапке быть непристойно...

— Што-о?! — рявкнул человек с матовым лицом. — Ты смотри!..

— А смотрю, смотрю я, — так же мягко и спокойно продолжал хозяин. — Смотрю, мол, и вижу, што не брат во Христе стоит у меня, и изгоняю его, яко еретика скверна.

— Слышишь, староста?.. — прищурился духовный следователь на старосту.

Все притихли, а хозяин продолжал:

— Надо быть, и слышит, и видит непотребство твое, и знает, думать надо, что пришел ты по худое дело...

— А ну-ка помолчи!.. — настороженно прошипел вошедший.

— А пошто мне молчать, коли я ничего дурного не творю, и старосте это коротко знамо.

Вошедший пристально воззрился на божницу и, увидев там огарок самодельной свечи из яркого желтого воску, еще тише спросил:

— А это што?..

— А разве не видишь? Жертва Господу от трудов моих... Из воску некраденного и не купленного на чужие деньги...

— Молились?!.

— А пошто не молиться? Молились о грехах своих...

— А ну-ка, староста, обыщи, где у него спрятаны эти поганые и Богом проклятые книги!

Ивойле нестерпимо больно было слышать это, но он опять тем же мягким и упрямым тоном говорил скрепя сердце:

— Грешно клеветать на Господа: никого и ништо не проклинает Он, аще же созидает, творя...

Понятые начали обыск, вернее нарочитый и озорной переворот всего, что спокойно и просто лежало на местах.

И когда, перевернув все и заглянув всюду, вывернув плахи в сенях и обшарив все углы в доме и дворе, ничего не нашли, то духовный следователь сказал грозно:

— Все равно не мытьем, так катаньем я дойму тебя... Дойму!

— А доймешь, доймешь!.. Верю я, — тихо говорил Ивойло, а староста, желая примирить стороны и устав от бесплодной работы, сказал без обиняков:

— Пошто это ты, Терентич, в щет все норовишь? То ли дело мирно-то ба!..

Ему поддакнул один из понятых:

— Ведь мы не какие вороги тебе. Дал ты одному, ну и этому надо... А нам — и того меньше... Ты же мужик с достатком... А?

— Знамо дело, так!.. — в голос поддакнули другие понятия. — И дела бы не зачинали, а то еще упекут, братан..

Ивойло, бледный и утомленный от напряженной борьбы с бушующей в нем злобой, сказал все тем же тихим голосом:

— Где это, в каких законах писано, шtbody за дозволенье молиться Господу Богу подать налагалась? Да такая подать, которую платить надо не царю и отечеству, а вам, господа честные?.. Покажите мне закон такой!

— Ладно!.. — мстительно, октавою, сказал следователь. — Это мы еще поглядим! — И, повернувшись, он направился к выходу. Тронулись и понятия, а староста, задержавшись, опять потихоньку сказал Ивойле:

— Отвязался бы ты лучше... А то, право же, донесет — хуже будет... Мое дело — знаешь: велят, куда деваешься, скрутишь и повезешь...

— А скручивай, Христа ради: супротивничать не стану, только нет такой подати на молитву... И не дам я ничего!.. — задыхаясь, ответил Ивойло.

Пожал плечами староста, ударил себя по бедрам рукавицами и, виновато ухмыльнувшись, вышел прочь.

И только теперь Ивойло глухо простонал и изнеможенно опустился среди темной и опустевшей горницы с опрокинутой обыском утварью...

Но мысль о том, что спасены книги, вновь ободрила его: неужто книги спасены?! И как же спас их Кирилла, когда и лошадь, и дровни оказались на своих местах?

А Кирилла в это время был уже далеко от дома. Увидев запряженную лошадь, он хотел было ехать, но догадался, что будет хуже, и быстро решил сделать иначе: крикнув Авдея, он велел ему отпрячь лошадь, а сам, обняв сверток с книгами, вышел из двора задней калиткой и исчез в белой мгле ночной вьюги...



Он понимал, какой ценный багаж уносит, и направился от села без дороги прямо в гору... Сначала, пока склон горы был отлогий, он шел скоро, а где частые кустарники и мелкие пихты, задержав рыхлые сугробы снега, стали загребать его по поясу, он часто останавливался, распыивая снег ногами и, то и дело цепляясь за кусты и запинаясь, поднимался все выше и выше и уходил все дальше от села. Оно осталось уже далеко внизу и сквозь густую вуаль метели мерцало десятками ночных огоньков.

На одном из пней Кирилла, потный от ходьбы и обсыпанный снегом, сел отдохнуть и, тяжело дыша, сказал, взглянув на деревню:

— Найди-ка теперь меня!

И опять двинулся вперед, выбирая такое место, куда никто бы не мог проникнуть и где можно было бы потом найти поклажу.

Вот он выбрал покатую и чистую полянку в толпе могучих кедров с сухими верхушками и стал рыть руками яму в снегу. Когда же положил в нее книги, то не зарывал яму, а, бросая против бури снег, делал так, чтобы вьюга сама замела ее, загладив поверхность над драгоценным кладом.

Возвращаясь, он то же самое проделывал и со своими следами и, довольный своей работой, вошел в узкую улицу окутанной мраком деревни.

Он хорошо знал, что всегда в ночь Рожденья Сына Божия, когда в холодной и бурливой мутной мгле уже чувствовалось наступление торжественной минуты, одни тайно и беззвучно собирались где-то в погребах и подпольях, в амбарах и подземельях, чтобы полупшепотом помолиться при тусклых восковых светильниках, а другие так же беззвучно и тайно разыскивали их, чтобы жестоко наказать за то, что одни не делают этого так, как делают другие.

Когда же им удавалось открывать тайные общественные молитвы староверов, они творили то же,

что творили язычники в первые века: хватали, связывали, оскорбляли иконы, сжигали книги. И это из года в год...

Вот почему в сочельник вечером, когда совсем стемнело, Зосим Савватеич, надевший чистое белье и теплый новый тулуп, с какой-то ношей под полою вышел задним двором из своего дома и, крадучись возле прясел и стен домов, пошел из деревни. Вот он вышел на берег реки и, зорко вглядываясь в окружающую темноту, нырнул под яр и возле него быстро направился вверх по реке, по оголенному метелями льду...

Шел он быстро, согнувшись и низко опустив голову, а так как ветер дул ему в спину, то полы его тулупа и длинная борода трепались, устремляясь вперед заостренными углами.

Долго шел он, часто перебредая глубокие снежные сугробы и вновь скользя по льду. Но вот русло реки, изогнувшись, повернуло влево и скрылось за огромной, преградившей путь и совершенно темной стеной отвесного утеса, где-то высоко подпершего небо чернеющим венцом из кедров.

— Именем Господа?.. — неуверенно раздалось откуда-то со скалы...

— Именем Господа!.. — твердо ответил Зосим на условный окрик и повернул к черной могучей скале, подножие которой было пышно задрапировано складками из снежных волн. Он осмотрелся и пропал в одной из складок.

Видно было, что ему давно известна эта тайная дорога к его цели.

Вход в пещеру начинался от самого русла реки, так что летом к ней нельзя попасть иначе, как на лодке, и Зосим всегда, входя в нее глубокой ночью, чувствовал невольную жуть, потому что до конца ее никто никогда не проходил и не знает, живет в ней кто или нет, и не пришел ли в нее кто-либо раньше его, кто-либо враждебный и жестокий.

Поэтому перед входом в пещеру Зосим задержался и, переводя дух, слушал, как из глубины ее идет какой-то глухой шум, точно из исполинской медной бочки. Но он снова произнес:

— Именем Господа? — и, не получив ответа, быстро вошел, простирая вперед руку, чтобы не удариться о нависшие острые камни.

Там было темно и пахло затхлой сыростью, а когда он, запнувшись о камень, застучал, пробудив молчание пещеры, то сверху раздалось шумное трепыхание и свист голубиных крыльев. Это ободрило Зосима, и он, пройдя первый коридор, остановился среди куполообразного широкого места пещеры, где она уходила вправо невысоким гротом, и, прижавшись к сырой каменной стене, замер в ожидании... И то, что этот старый пришелец в пещеру недвижно стоял у холодного камня во тьме и безмолвии, придавало пещере какой-то зловещий смысл... Может быть, в глубине ее так же безмолвно, в страхе перед другими, прижались еще много живых существ и, переживая один другого, таят в себе неизмеримый страх и ненависть?

И Зосим подумал, как должны были бояться Иосиф и Богоматерь, прячась в такой же пещере в великую ночь... И вдруг умер его страх перед страхами пещеры, и влагой подернулись старческие глаза, и весь он проникся великой гордостью за страдания Сына Божия, рожденного в пещере. И в эту минуту он больше, чем когда-либо, был уверен в том, с какой сладостью принял бы он мученический венец от своих гонителей...

И прижимал к груди твердые, в деревянных крышках книги, и шептал умиленно:

— Слава тебе, в нищете родивыйся, дыханием скота согреться и создавший славу свою во веки веков!

В это время у устья пещеры раздалось условное:

— Именем Господа?..

— Именем Господа! — ответил Зосим и, достав из пазухи кремень, стал высекать огонь.

В пещеру входил с пучком желтых свечей Ивойло, за ним Самойло Гаврилыч, а с утеса еле доносилась все чаще и чаще условное:

— Именем Господа!

И наполнялась мрачная пещера старинными христианами, будто вышедшими из тысячелетних гробов, и, тускло освещенная самодельными свечами из желтого воска, огласилась вскоре нестройным, но дружным и радостным пением:

— Христос рождается, славите...

Задвигались кривые тени по темным стенам пещеры, раскрылись тяжелые крышки старинных книг перед поставленными на камень иконами, загудела пустая пещера, хранительница многих тайн издревле, и росла просветленная непоколебимой верой толпа и, плача от радости, молилась, спрятанная от братьев-христиан в груди угрюмого утеса.

А невидимо сидящий над пещерой и слившийся с чернотой скал Кирилла слушал слабые отзвуки древнего скорбно звучавшего пения и, мысленно подпевая ему, зорко охранял вход в священную пещеру — единое убежище древнего мученического христианства.

## ЛЕСНЫЕ КОРОЛИ

### ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЙ АБРИС

#### I

Михаил Григорьевич любил свое лесничество, как самого себя. Он был холостяком, охотником по перу и пуху и большую часть времени проводил в лесу.

Часто отправляясь в лес, он чувствовал какую-то отеческую нежность к каждому деревцу, всякому ручью, дорожке, камешку, как будто все это были давнишние и младшие друзья, которых надо заботливо любить и охранять.

Иногда, не выезжая в лес с неделю, он обстоятельно расспрашивал объездчиков о новостях и происшествиях в лесу и, как бы между прочим, вдруг припоминал:

— А что сосна у Крутого Ключа, помнишь, с затесью, — поправилась?

И, получив подробный рапорт о сосне, лесничий наставлял:

— Там у Бродка есть старая береза с кокориной [94], в дуге кокорины губа [95] растет, так ты посматривай — я берегу их для коллекции...

И лесник или объездчик следил за сосной и за березовой губой и в следующий раз, не ожидая вопроса, докладывал:

— Так что затесь на сосне покрылась серой... Сосна в добром здоровье, только что верхушка пошла вширь... Должно, рост остановился.

Михаил Григорьевич был доволен, что его объездчик смыслит в лесоведении, и говорил:

— Хорошо... Спасибо...

Объездчик же рапортовал дальше:

— Так что и губа вашего высокородия... березовая, то есть, в сохранности...

Михаил Григорьевич улыбался неудачному выражению объездчика, потом расспрашивал о глухарях, о том, не высыпали ли тетерева, если дело было летом, о раскраске белки — если осенью.

Сведущий объездчик вдруг преобразался и спешил:

— Семь кулём [96], вашескородье, конфисковал... Должно, опять Антроповы сыны наставили...

— Так, так, так... — твердо поощрял Михаил Григорьевич. — Кулемы к черту, к черту, а охотников лови, лови да в протокол... Капканами брать зверя в моем лесу я не позволю.

Возмущенный сообщением, он вскоре ехал на охоту и самолично, зорко, через золотые очки посматривал между деревьев, нет ли коварного и скрытого врага зверей — кулёмы или капкана.

Обыкновенно на охоту ездил он на паре простых лошадок, в простом плетеном коробке, и кроме объездчика на козлах, брал объездчика верхом, который то и дело по указанию лесничего делал разведки насчет дичи, а главное, ловил или проверял порубщиков.

Михаил Григорьевич одевался просто, в бобриную верблюжью тужурку [97], в высокие простые сапоги, в ушанку-шапку без кокарды. Большого роста, плотный, с полуседой подстриженной бородкой, он походил бы на прасола [98], торгующего лошадьми, если бы не носил золотых очков и не обладал певучим, мягким, барским голосом.

Ездить с утра до вечера по лесу, осматривать, считать пеньки, о том о сем калякать с лесниками, ночевать в палатке у костра — для Михаила Григорьевича было настоящей жизнью, в которой он был добр и весел. Сидеть же дома, составлять

бумаги, подписывать билеты [99], читать начальнические циркуляры или выслушивать рассказы старой экономки о новостях и сплетнях на селе — было для него ленивым прозябанием, которое давило скукой и клонило в долгий и тяжелый сон.

Оттого и в холостой его квартире было неуютно, все разбросано, запылено и одиноко. И оттого же Михаил Григорьевич все чаще уезжал в леса, раскинувшиеся на сотни верст по горам, по долам и долинам рек и речек.

Иногда, заехав на одну из гор, лесничий, прищурившись, оглядывал синеющие дали и с чувством глубокого удовлетворения думал: «Да, есть где поохотиться... Есть где побродяжить».

И Михаилу Григорьевичу хотелось в этот миг загородить огромное лесничество высокой стеной, у ворот поставить стражу и царствовать в лесу одиночно... Пусть бы рос и дичал лес, плодились и множились звери и птицы, а Михаил Григорьевич бродил бы в нем, как в заброшенном саду, и только изредка бы пропускал гостей из города и угощал бы их неслыханной охотой.

Но эти думы посещали Михаила Григорьевича ненадолго. Он тут же внутренне смеялся над собою, считал свои мечтанья вздором, а себя старым дураком, к которому прокрался бес в ребро...

## II

Был у Михаила Григорьевича грех один.

Он прятал этот грех от всех, кривил из-за него душою, боролся сам с собою, потому что был не молод и не глуп, но все-таки грех над ним властвовал. Он часто против воли тянул его в лес, туда, в Медвежий Лог, где в синеве густого кедрача, на дне ущелья, запряталась заимка богача Антропа с большим, в два этажа, кедровым домом.

Однажды, год назад, Михаил Григорьевич в дождливую погоду заехал на заимку ночью. Ан-

тропа дома не было. Он был на ярмарке, а сын его, большак Самойло, с женою ушел на помощь к тестю — строили амбар в селе. Дома были меньшаки Антропа, немая дочь его от первой бабы и молодая Зеновея.

С лесничим были два объездчика. Их приняли в двух помещениях: объездчиков — внизу, в избе, где спали меньшаки Антропа, а Михаила Григорьевича — в горнице, где находилась Зеновея с дочками Самойлы.

Лесничий в первый раз увидел Зеновею, недавно вышедшую за Антропа. При свете восковой свечи, с которой Зеновея встретила лесничего в дверях, он увидел красивое, открытое лицо, смугло-матовую, высокую, обвитую янтарями шею и пышные, крутые плечи, не покрытые ничем. Зеновея не сконфузилась и громко, певуче приветствовала гостя.

— Проходи-ка, здорово живешь... А мы уж спать легли, ишь, я в одной юбчонке.

На полу в горнице лежала мягкая перина, а на ней, разметавшись, спали две маленькие светлосые девчурки.

Случилось как-то так, что Михаил Григорьевич не захотел ни есть, ни пить, и Зеновея не настаивала. Она переложила девочек с перины на кошму, перетрясла, расправила постель, подвинула ее в передний угол и, почесывая грудь, сказала:

— Ложись-ка, спи давай...

Михаил Григорьевич стоял в двери, как бы боясь, что Зеновея выйдет, и, не узнавая собственно го голоса, спросил:

— А ты-то где же ляжешь?

Молодуха повернула к нему голову, тряхнула тяжелыми сережками, усмехнулась широко, оскалив белый ряд зубов, и весело сказала:

— Дыть ты, поди, меня не съешь!.. Туи же, подле девчонок и уягусь...



Михаил Григорьевич в ту ночь, как никогда, был разговорчив... Никогда, даже в гимназические годы, он не говорил так горячо и молодо, как в эту ночь. Десятки лет свалились с его плеч, и в сердце заползла такая жажда жизни, такая смелость и отвага, что он не узнавал себя... И молодая, казавшаяся уверенною и довольной, баба ослабела, расплакалась, рассказала шепотом про свое короткое житье-бытье со старым ненавистным мужем, про свое сиротство и нужду в девичестве, а на заре сама пришла к Михаилу Григорьевичу.

С тех пор между ним и Зеновеей возникла связь, воровская, узловатая, но крепкая и неизбежная, как смерть.

Михаил Григорьевич в любовь не верил и то, что чувствовал к жене Антропа, не считал любовью. Но каждый раз, когда ехал по лесу, против воли попадал в Медвежий Лог и заезжал к Антропу. Когда же видел Зеновею, ядреную, красивую и молодую, весь загорался желанием открыто отобрать ее у старого Антропа и увезти куда-нибудь в лесную глушь, зажечь там попросту и никуда не выезжать.

Любила ли его Зеновея, он не знал. Но чувствовал и видел, как при встрече с ним в ее светло-голубых и бойких глазах загоралась страсть и как ловко и настойчиво она обманывала всех, находя час и место для свиданья с ним...

Он также чувствовал, что не похоть связывает их друг с другом. В бойкой гордой бабе он не видел рабства, он видел в ней простого неиспорченного человека и не считал ее виновной в том, что она обманывает мужа. Может быть, это происходило оттого, что он невольно чувствовал к Антропу страх и в разговоре с ним кривил душой. Старался быть с ним строгим и решительным и на словах не делал никаких поблажек насчет лесу, хотя и знал, что Антроп безнаказанно ворует лес, живет в нем

неограниченным хозяином и истребляет птицу и зверя всеми недозволёнными способами...

Михаил Григорьевич часто бродил с ружьем по лесу, терзался разными сомнениями и злыми думами против Антропа и снова заезжал в Медвежий Лог, то будто мимоездом, то будто по делам...

### III

Стоял декабрь, морозный и бурливый, с пургой и вьюгами и с непроезжими путями. Снег был еще рыхлый, и ходить на лыжах было трудно.

Михаил Григорьевич давно не ездил никуда и лишь пешком бродил в окрестностях своей усадьбы, стоявшей на краю села, у склона заросшей пихтачом горы. Он уходил далеко, забирался в тесные семейства темноствольных пихт и выслеживал горностаев. Белые, как самый снег, они выстрачивали по нему узоры из следов и изредка мелькали темными кончиками хвоста... Мелькнут и скроются за ствол лесины, обовьют ее и сделают прыжок к другой... Заманивало и убить, и пожалеть зверька, и иногда лесничий, прицелившись, раздумывал стрелять, спускал курки и любовался красивой трусостью зверька, накладывавшего все новые и новые строчки следов на белый снег.

Раздумывал и удивлялся: «Что это со мною: я остываю или нездоров?»

Было странно, что охотничья страсть, всегда такая беспокойная и жгучая, теперь в нем умолкает и уступает место чему-то как бы постороннему, но важному и близкому...

— Да, да... Мне сорок третий год... Пора и остывать... Пора, пора... — тихо говорил с собою Михаил Григорьевич и почему-то вспомнил яркий тихий день минувшей осенью...

Он шел один по лесу в Медвежий Лог, и золотые листья сыпались спокойно, чуть-чуть шурша и устилая землю золотым ковром... Небо, синее,

глубокое, раскинулось над лесом... В душе была какая-то певучесть, и было безответно радостно и грустно в одно и то же время. И вдруг по тропе навстречу едет Зеновея. Она сидит верхом на рыжем жеребце и потихонечку напевает песню. Лес ей вторит, умножает звуки, как будто помогает петь.

Увидела его, смутилась, осадилла лошадь и молча подозвала к себе рукой. Затем отъехала в густой осинник, сошла с коня и строго указала на приподнятый тугой живот:

— Вот беда-то... Понял ты!..

Михаил Григорьевич понял и упрекюще сказал:

— Это не беда, а радость!

— Радость! — проговорила Зеновея. — А как родится да в тебя?.. — добавила она и нехотя улыбнулась.

— Тем лучше! — говорил лесничий, радостно смеясь и чувствуя, как он обновляется и крепнет, будто обрастает древесиной... — Тем лучше... — повторил он и смотрел на Зеновею, тайную свою жену и мать его ребенка, такую близкую и дикую, как лесная бузина, с зардевшимся лицом и в красном с желтыми цветами сарафане.

— Ах ты, ребенок мой матерый!.. А как Антроп-то догадается, тогда што будет, а?..

— Боже спаси тебя, чтоб догадался, — зашептал лесничий. — Ты подготовь его заранее, да чтобы он поверил, что его...

— А как не верит он?.. — вдруг скорбным шепотом спросила Зеновея. — Как ежели он догадки делает да по ночам меня изводит, а?.. Вот погляди-ка, грудь-то как исщипана...

Зеновея расстегнула сарафан и показала иссиня-багровые кровоподтеки на груди.

Лесничий замолчал, склонил лицо и слышал, как глубоко и скоро дышит Зеновея.

— Да ладно уж, все вытерплю... — сказала она. — Только ты хучь не брось меня...

Она вдруг заморгала, сморщила лицо и, наклонившись, подняла край нарукавника, чтоб про-  
сморкаться.

Осенний лес молчал, пронизанный лучами солнца, и Зеновья еще роднее показалась Михаилу Григорьевичу, как будто между ним и ею совершился настоящий равный брак...

Но с тех пор вот уже два месяца прошло, а Михаил Григорьевич не был у Антропа и не знал, что с Зеновеей. Словно боялся туда ехать.

Совсем забыв про горностаев, он шел по лесу, поднимаясь выше на гору, как будто хотел с нее увидеть, здорова ль Зеновья, а главное, не умерло ли то, что так сроднило его с нею и что она должна беречь под сердцем...

Но на вершине горы выла вьюга, сыпала пургой и застилала матовой завесой все дали.

Михаил Григорьевич вскоре стал спускаться под гору и, по колена утопая в снегу, побрел к селу.

Вблизи села его догнал верховой объездчик из Медвежьего Лога и, поздоровавшись, возбужденно сообщил:

— Так что, вашескородие, Антроп Савелич поклон вам посылают. Будто што берлогу медвежью они обложили... На охоту приглашают...

Михаил Григорьевич растерянно переспросил:

— В самом деле?

— Так точно. И так что говорят, медведь громаднейший... Много лет пасеку ихнюю зорит... Видели его там не одна.

— Ну, ну... Подумаю... А ты ко мне?

— Так точно. С талонами [100]...

— Хорошо. Поезжай вперед, скажи, чтобы самовар поставили.

— Слушаю!

Объездчик ускакал, а Михаил Григорьевич остановился и подумал вслух:

— Тут щука не без чебака... — И по лицу его скользнула тень. — Но надо ехать! — добавил он, направляясь к дому.

И Михаил Григорьевич решил поехать на Антропову заимку на другой день во что бы то ни стало.

#### IV

К утру буран утих. Оранжевое солнце показалось в рукавицах [101] — погода настывала.

Михаил Григорьевич проснулся до свету, при огне напился чаю и с восходом солнца велел запрягать в кошевку [102]. На резоны старшего дежурного объездчика о том, что дорогу занесло и нет ни одного следа, лесничий энергично крикнул:

— Я знаю, что я делаю! Седлай и ты — со мной поедешь.

Он захватил трехствольное ружье, на всякий случай несколько разрывных пуль на зверя, в кошевку кинул лыжи, подбитые жеребковой шкуркой, и взял с собой дорожный саквояж с припасами. Уселся в кошевку и по нетоптаной дороге тяжело поехал в лес.

На козлах сидел лесник, позади ехал верхом объездчик. Лошади едва везли, и лесник то и дело соскакивал с козел, пинал из-под полозьев комья снега и снова понукал упревших лошадей.

Лесничий кутался в доху, смотрел на изукрашенный белыми кружевами лес и ни о чем не думал. Но в душе его притаилось напряженное ожидание чего-то нового, необычайного.

Дорога шла густым затихшим, будто спящим под покровом снега лесом, часто изгибалась в нем, падала в овраги и взбегала на косогоры. Когда измученные лошади останавливались, было слышно только их короткое, тяжелое дыхание, а лес молчал и точно слушал что-то важное, таинственно совершавшееся в природе. Это давно знакомая зим-

няя тишина в лесу напомнила Михаилу Григорьевичу о вечном молчаливом покое, таком вдумчивом и бесконечном...

И такой коротенькой и жалкой представилась человеческая жизнь. Его же жизнь показалась никому не нужной, бессмысленной, ничем не связанной с людьми. А то единственное, что связывало его с природой — охота, — вредило ей, отнимая у нее ее живые украшения, зверей и птиц.

В чем оправданье жизни?.. В чем цель ее?.. Он снова вспомнил Зеновею и то значительное, что связывает их, ее беременность... Но в то же время стало как-то стыдно и обидно: чужая по духу и закону баба, краденая, случайная, будет матерью его ребенка. А что же ждет ребенка?.. Он не знает...

Углубляясь в думы, он шептал: «Глупо все, как глупо...»

Но кони трогались, кошевка начинала покачиваться, скрипеть полозьями, и лес оживал. Деревья торопливо перебежали друг за друга, ближние бежали назад, дальние вперед. И думы отступали, сменяясь все тем же напряженным ожиданием ближайшего, сегодняшнего будущего.

«А хорошо бы, — вдруг улыбнулся в бороду лесничий, — родился бы мальчонка, взял бы я его, нанял бы няньку, вырастил бы шустренького шалуна... А там, на старости, учить, и все бы для него... Разлюбозное бы дело... Вот тебе и смысл бы, и оправданье... Да...»

И становилось веселее и светлее на душе... В тело вступала бодрая упругость, будто оно готовилось к какой-то сильной схватке с недругом.

Вскоре засинел Медвежий Лог, а в нем покуривала широко рассевавшаяся заимка Антропа.

Подъезжая к ней, Михаил Григорьевич впервые заметил, как хозяйственен Антроп и как много украл он для своих построек лесу.

Огромные дворы раскинулись обширно, их звеня плотны и высоки, повети покрыты сплошной жердью, столбы и ворота — из лучшего строевого кедрача... Коренастые амбары расселись важно, как бояре, с туго нахлобученными тесовыми крышами, теперь придавленными снегом. И посреди амбаров, как древний царь среди бояр, возвышается суровый, серый, крепкий дом в два этажа. Его крутая крыша, решетчатая загородка на глухом крыльце, маленькие, точно прищуренные окна и низенькие двери — все говорило о том, что строил человек тугой, расчетливый и осторожный, ревниво берегущий свое добро и предрассудки дедов.

И Михаил Григорьевич проникся вдруг невольным уважением к маленькому седенькому старичку с причесанными висками на плешивой голове и с узенькой святительской бородкой, когда старичок этот в одной длинной расписной рубахе появился на крыльце, встречая гостя.

Он опирался на решетчатую загородку и, указывая костлявой рукой леснику на раскрытые ворота в теплый двор, тоненьким, но строгим голоском кричал:

— Заводи коней-то да выпрягай!.. Рогожами укрой их, штоб не передрогли!.. Пожалуйте-ка, вашеское благородие... Проходите в горницу... Да не отряхивайтесь, бабы там обчистят... Пожалуйте-ка, грейтесь...

— Я не замерз... — сказал лесничий и встретил взгляд колючих светло-синих глаз Антропа, с двумя торчащими клочками седых и реденьких бровей.

— Как, поди?.. Дорога дальняя, худая, — чеканил Антроп каждое слово. — Сейчас медку дадут, погрееетесь.

Они вошли в теплую, пахнущую кумачом, воском горницу, где встретила их Зеновея.

— Здравствуешь, хозяйюшка, — проговорил лесничий, стараясь быть дружелюбным и спокойным.

— Здорово ты живешь, — ответила та в тон ему и улыбнулась. — Проходи-ка, раздевайся, гостем будешь...

В голосе ее лесничий уловил едва заметное дрожанье, но удивился, что она так просто владеет собой, будто между ними никогда и ничего не произошло. От этого и сам он стал спокойнее и даже пошутил с хозяйкой, чтобы ободрить ее и отвлечь подозрительный и острый взгляд Антропа:

— Ай-да молодуха!.. Да она тебе, Антроп Савельич, еще какого-то Антропыча готовит...

Но шутка оказалась неудачной.

Антроп метнул глазами на жену и гостя и отчетливо проговорил:

— Ишь, в очках-то вам, вашеское благородье, повиднее... А я так еще не разглядел: забрюхатела она али жиреет?.. Однако надо завести и мне очки...

Все неловко замолчали, но хозяин вскоре выручил.

— Давай-ка, Зеновья, поворачивайся... Гостя-то надобно кормить... А то он с голодухи-то тебе еще не это брякнет...

Михаил Григорьевич принужденно рассмеялся, чувствуя, как от стыда перед самым собою у него холодеет тело и учащенно моргают веки.

«Как грубо, глупо это вышло у меня!» — подумал он с негодованием и не мог глядеть в глаза хозяевам.

Зеновья сдвинула собольи брови, с силой пнула дверь из горницы, спустилась вниз готовить ужин.

## V

Антроп, усевшись в передний угол у стола, заговорил:

— Да, вашеское благородье, был бы жив родитель у меня, дак взял бы свой костыль — учил бы, учил меня, сукина сына...

— За что же так? — глядя в окно на сумеречно окрашенные лесистые горы, спросил лесничий.



— А за то што с семидесяти лет сызнава жить захотел, на молодой женился... Вот за што!

В тонком резком голосе Антропа Михаил Григорьевич чуял искренность, но каждое отчетливое слово падало ему на сердце горячим угольком. И он не знал, что говорить Антропу.

— Жил, так будем говорить, сорок пять лет со старухой, похоронил... Полтора года вдовел, все чинно, благородно... И надо бы вдоветь до гроба, построить на пасеке келейку, да молиться о грехах... Дак нет! На шестьдесят восьмом году увидел бастенькую [103] девку, взглянул — женился... Ну ка те, скажи, разве это не дьяволово искушение, а?

Михаил Григорьевич молчал, не понимая, к чему старик ведет.

— У меня вот сыну за сорок, внучата — женихи, скоро будут правнуки, а им дедушку ровесника рожу... Кто поверит-то?..

Михаил Григорьевич чувствовал, что он немеет перед стариком, теряет мысли и слова, как будто их перехватывал и крал Антроп, и не находил, что отвечать ему.

— Вот, скажем, вы ученый человек, вашеское благородие, и дела и мысли ваши не моим чета... Марать себя каким ни на есть грехом паскудным не пожелаете. А в нашем-то быту прохвостов всяких разве мало!.. Да я вон собственному сыну меньшаку не верю... Вот до чего дошло... Не грех ли это, не дьявольское ли наваждение?

Старик все понижал тон, но слова его звучали все отчетливее, все строже...

Михаил Григорьевич не выдержал и вдруг, собравшись с духом, с улыбкой возразил:

— Так что же ты, Антроп Савельич, надо мной-то строжишься?

Старик скривил шею, наклонил голову и принужденно захихикал:

— Хе, хе, хе... Пошто же строжиться... Я к слову, вашеское благородие, к слову... Извините, хе, хе, хе... Оно и так будем говорить, живем в лесу, молимся колесу. Приехал посторонний человек, мы рады все помыслы ему отдать... Действительно, все это вам не любопытно.

— Нет, отчего же... Если хочешь поделиться — я готов... Я слушаю...

— А вот сейчас мы зайдем вас медвежьим разговором... Это будет для вас забавнее. Сейчас я кликну большака...

Старик, согнувшись и не переставая тихонько похихатывать, направился к двери, одергивая длинную, цветистую рубаху и поглаживая узкую седую бороду.

Лесничий стиснул зубы, провел по волосам рукой и собрал остатки сил, чтобы не потерять самообладания.

Вскоре вошел Антропов сын Самойло, такой же маленький, стальной и быстроглазый, как отец, но с черными, как смоль, волосами на голове и бороде. Только светло-серые глаза его на темном лице сверкали ярче и сверлили сильнее.

Он неуклюже шагнул из-под порога, погладил голову и протянул гостю твердую рабочую руку.

— Како вы? — спросил он вместо приветствия, лениво усевшись у печки на скамейку.

— А ничего, спасибо... — проговорил лесничий и сел возле стола. — Вот приехал медвежатничать, если есть за кем...

Самойло слова цедил скупое, совсем не так, как отец, и загадочно усмехался.

— Куда он девался!.. — медленно тянул он. — Только вот как его узять-то?.. Он не скотина — поймал да стукнул по лбу... Ноне я вот в пасеке стренулся с ним, дак куды у меня и память девалась... Встал

как на дыбы да рывкнул, дак я ровно, как перед королем каким, так на коленки и присел... Седой весь, старый, должно... На хребте щетина...

— Как же ты расстался с ним? — спросил лесничий.

— А вот от батюшки-родителя слыхивал, что надо кричать и не убегать. Ну и кричал... Он ревет, и я реву. Поревели, поревели — разошлись... Его, если не тронешь, — он смирный, только пугливый будто што...

Антроп сидел, облокотившись на стол, склонив голову, и суровым взглядом, исподлобья, следил за сыном. Видно было, что тот под этим взглядом не смеет сказать лишнего глупого слова.

— Случалось же, раза три добывали мы с родителем, — нерешительно продолжал Самойло. — Один-то был матёр, четвертей [104] семнадцать... А два — поменьше... Их раньше тут водилось много... Оттого и место Медвежьим Логом зовется... — Самойло замолчал, потупив острые глаза перед отцовским взглядом.

Антроп перевел глаза на гостя.

— Годов тому десятка с три, вашеское благородие, сюда тропинки не было... Я промышлял же раньше, было дело, помоложе-то был, пошустрее... Наткнулся как-то тут на вольных пчел и думаю, не воля ли Господня перст свой указывает?... А втупор притесняли нас за веру-то нещадно... Ну, посоветовался с дядей... Родитель-то был уж покойным... Да и переселился... И трудно было, а пришлось... Дак много лет скотинка не велась. Кругом леса были, тайга страшная, и самый этот зверь, как скот, ходил... Как вырвалась скотина, отошла на версту, он ее либо задавит, либо пугнет... напорет на сухару... Помаялись мы тут, пока все сладили... Покосов не было, дорог — сажени не было протоптано...

Лесничий понимал, что Антроп говорил это не без расчета. Теперь с него берут и за покос, за лес, за пасеку и за усадьбу, а он считает все своим, трудом добытым — и лес, и пасеку, и расчищенные покосы...

Вошла с тарелкой меда Зеновея. За нею старая и толстая немая с накрошенной парной говядиной и булкой хлеба. А вскоре и сноха Антропа, жидкая сухая баба, со строгими карими глазами. Она несла жбан с медовой брагой и кричала на бежавших позади девчонок:

— А вы зачем бежите? Без вас не принесли бы!..

Она взяла от одной ложку, от другой вилку. Все входившие молча здоровались с гостем, а немая попыталась даже что-то объяснить ему, мыча и широко улыбаясь. Но Антроп остро взглянул на нее, что-то помаячил, и она обиженно ушла.

Одна из девочек, поменьше, стала меж колен Самойлы и взяла в рот палец.

Зеновея снова весело, непринужденно улыбалась и громко говорила гостю:

— Покушай-ка, садись, нашего хрестьянского угощенья... Не обессудь...

Антроп очистил стол, взял с него толстую, в деревянных крышках, Кормчую и, отодвинувшись на лавке, ткнул пальцем в жбан и коротко приказал Самойле:

— Налей-ка да подай!

Самойло встал и бережно налил в две чашки брагу. Одну подал отцу, другую гостю и снова сел у печки. Антроп большим крестом размашисто перекрестился.

Зеновея, положив руки под пазухи, стала в куть. Самойлова жена несла к столу соленые капусту и арбуз.

Михаил Григорьевич сел за стол один и, по-нуждаемый со всех сторон, стал ужинать.

Из лесу надвигались сумерки. Самойло зажег желтую восковую свечку своего изделия.

Михаил Григорьевич знал, что за столом у староверов говорить не принято, и молча ел без аппетита.

Наконец, когда молчание стало тяготить его, он обратился к Самойле:

— Ну так как же мы насчет медведя-то?..

Но Зеновея громко оборвала его:

— Да ешь ты хлеб-то соль сперва с молитвой!..

Не поминай «его», Христос с тобой!

Антроп сурово покосился на нее и отчеканил гостю:

— Успеем, вашеское благородие, утречком о «нем» поговорим...

Самойло встал и, направляясь к выходу, поддакнул:

— Как не успеть! У него, мохнатого, теперь ночь долгая — до самой Пасхи, почитай, проспит...

## VI

Спать ложились на заимке рано. Но Антроп для гостя повечеровал. После ужина рассказал лесничему длинный ряд воспоминаний об отцах и дедах и, как бы в назиданье Зеновее, сидевшей за шитьем, припомнил посторонний случай о том, как молодую бабу одну муж посадил в муравейник.

— Никак не каялась, а грех имела... Как посадил ее раздетую, да с часик подержал — все, как на ладонку выложила... — он поклевал пальцем правой руки по ладони левой.

Зеновея выслушала, откинула голову назад и, брякнув янтарями, громко возразила:

— А, может, она наклепала на себя?.. Хучь до кого доведись — зачнут мучить, так покаешься, в чем и не грешен!..

Антроп смутился и не нашел что ответить. Он злобно метнул на Зеновею острым взглядом и передразнил:

— Гм... Не грешен!..

Михаил Григорьевич уловил, что властный, сильный патриарх Антроп не властен над женою. Никто в семье не говорил с ним так непринужденно, как она. Сила власти преклонялась перед силой ее молодости и красоты. И с ужасом чувствовал лесничий, что Антроп догадывается о виновнике своих придушенных мучений. Что только спесь да мужественное самообладание, а может быть, и какая-нибудь тайная цель удерживает старика от жуткой расправы. И, может быть, еще — лесничий хотел этого — у Антропа теплилась искорка веры в чистоту жены.

Спать легли рано. Михаила Григорьевича уложили на кровать. Антроп лег на полу. Зеновея постлала себе в кути, поодаль от Антропа.

Михаил Григорьевич почти всю ночь не спал, ворочался, вздыхал и скрипел кроватью. Он слышал, что не спят и Зеновея, и Антроп. Старик два раза выходил на улицу, и Михаилу Григорьевичу показалось, что оба раза он из сеней не выходил, а слушал у дверей. Лесничий и Зеновея друг другу не сказали без него ни слова. Между тем Михаил Григорьевич теперь-то и хотел с ней поговорить. Он чувствовал, что надо пощадить Антропа и лгать ему во что бы то ни стало, только бы не убивать его страшной истиной. Но в то же время Михаила Григорьевича, как никогда, тянуло к Зеновее; не к телу ее, но к душе, правдивой и прямой, к простому, гордому характеру... А главное, к тому, что крепко-накрепко связало их — к ребенку, которого еще питает и согревает ее кровь.

Он метался, мучился, но ничего не мог придумать и только перед рассветом тяжело уснул. Уснул и увидел странный сон. Будто он маленький мальчик, а с ним его бабушка. Она рассказывает ему сказки про медведя. А он такой маленький, что боится сказки и в то же время хочет посмотреть мед-

ведя, настоящего, в лесу. Он упрасивает бабушку показать ему медведя, она берет его за ручонку и ведет в тайгу... Но там жарко и темно... И в темноте на них напал медведь... Он навалился, но не душит, а будто обнимает и шепчет ласково и тихо:

— Эй, слушай-ка... В лесу-то осторожней с ними. Я боюсь, как бы они тебя, мой сокол, не убили... Слышишь ты?

Он проснулся. На груди его лежала грудью Зеновья и сжимала его плечи...

В горнице чуть-чуть белел рассвет. А со двора доносился резкий голос Антропа:

— Самойло!.. Лыжи-то, гляди, не надломилась бы...

— Понял ты, ай не, я што сказала?.. Не гляди, што они ласковы... Смотри...

Ее глаза теперь казались темными, глубокими, и радостна была их жгучесть и тревога. Она приникла смуглой щекой к его щеке, смахнула фартуком с ресниц слезинку и быстро и беззвучно скрылась за дверь. Михаил Григорьевич сел на кровати и потирал рукой сморщенные брови.

Но то, что шепнула ему Зеновья, вдруг отрезвило его, он быстро встал и начал одеваться, проворчав с заносчивой уверенностью:

— Врут... Не посмеют...

Его охватила какая-то отважная решимость. Он спустился вниз, велел леснику распаковать ящик с зарядами и вышел в ограду.

Антроп был в теплой легкой шубке, поскрипывал пимами по мерзлому снегу, побрякивал и проворно, молодо покидывал несколько пар лыж, выбирая себе покрепче и полегче.

После сытного завтрака и дружных совещаний Антроп, Самойло и лесничий с лесником, увешанные припасами и снаряжением, не торопясь, пошли на лыжах по крутому склону, забирая наискось на синюю большую гору.

Впереди шел Самойло, за ним Антроп, потом лесничий и лесник. Самойло на цепочке вел серую, с остроконечными ушами Рыску, которая, поставив на хребте щетину, рвалась вперед, придушенно повизгивала и зубатым ртом хватала снег.

Сначала все шли молча, лишь Самойло разговаривал с Рыской, да Антроп побрякивал, сердясь на лыжи, которые под ним фальшивили. Потом в одном логу лесник догнал Самойлу и разговорился. Антроп с лесничим поотстали.

Небо было тусклое от неуспевшего растаять раннего тумана. Кедрь и пихты покрылись куржаком, и лес казался отлитым из серебра.

— А далеко еще? — спросил Михаил Григорьевич у Антропа, когда стал уставать.

— Да нет уж... Версты со три эдак, почитай... Нам вот только на седло взобраться... А там, под гору-то, живо... В логу «он», в ямине... — добавил он спокойно.

Лесничий помолчал. Станным показалось ему спокойствие Антропа. Как-никак идут они на лесного витязя, на смертную борьбу с ним... Неужели так легко прийти, нарушить его сон, взять, убить?.. Михаил Григорьевич даже на охоте за волками чувствует всегда какое-то торжественное напряжение и скрытую тревогу. На медведя он идет впервые, и кажется, что он идет на край могилы... Лежащий где-то в буреломинах, под снегом, зверь должен чутя их приход и видеть вещий сон. Теперь он просыпается и настороженно ждет врагов... Он, владыка дикого, глухого леса, не даст своей богатой шубы даром...

И Михаил Григорьевич спросил у Антропа:

— А как, Антроп Савельич, сердце-то очень бьется?.. Все-таки, зверь!..

Антроп остановился, глянул из-под глубокой шапки на лесничего и, моргнув глазами, проговорил:



— Да на вашем месте как бы не билось... Говорят, матерый!..

— Как на моем?.. — удивился Михаил Григорьевич. — Разве мы не вместе будем?

Антроп просыпал мелкий козлий смехок:

— Вот насмешили бы мы добрых-то людей, кабы у гостя блюдо с угощением отняли...

«Ага-а... — подумал Михаил Григорьевич. — Вот оно что...» Он пощупал за спиной тяжелый и холодный ствол ружья и вслух проговорил:

— Спасибо за такое угощение!.. Оно, пожалуй, и само может слопать...

Антроп остановился.

— Неужто вы, вашеское благородие, боитесь!.. Ежели боитесь, все это напрасно мы... Тогда вернуться надо.

— Да нет, с какой же стати... — поспешил сказать лесничий, почуяв, что пятиться назад теперь невысказано.

— То-то што... — сказал Антроп — При вашем-то ружье, да скинуть бы лет двадцать, дак и я бы не попятился.

Михаилу Григорьевичу вдруг стало почему-то грустно, будто он был одиноко брошен в пустыне и не надеялся найти из нее выхода.

Антроп же между тем ехидно проблеял:

— За бабами-то ты, слышать, охотишься не худо?!

Михаил Григорьевич почувствовал, как обожгло его этими словами, и он принужденно, почти вызывающе, весело ответил:

— Да не пожалуюсь!.. Везло мне, черт возьми!..

— Везло, дак повезет и дальше, — отчеканил Антроп.

— Повезет, не повезет, а назад играть не станем, милый человек.

— Слышу, слышу...

Антроп уже не величал лесничего и был с ним почти резок. Он тяжело дышал, едва передвигая лыжи, и то и дело опирался грудью на каёк [105].

Михаил Григорьевич обошел Антропа, не сказав ему ни слова.

Вскоре он поднялся на седло хребта, где поджидал его Самойло с лесником и Рыской. От быстрого хода смуглые щеки его, прорезанные двумя глубокими у носа морщинами, разгорелись, как у юноши.

## VII

Когда пришел Антроп, Самойло счистил рукавицей с валежины снег.

— Садись, батюшка, передохни.

Антроп присел и устало поглядел назад, под гору.

— Уходили бурку крутые горки, говорится!..

У Самойлы усы и борода покрылись инеем, и теперь он был вылитый Антроп. Он заботливо сказал отцу:

— Тебе бы дальше-то идти я не советовал...

— Да я и не пойду туда... Вы помоложе... Да и глаз у меня не тот уж... Уж я отсюда, в случае чего, полюбопытствую...

В душе Михаила Григорьевича вместе с нетерпением поднималось какое-то презрительное чувство и к Антропу, и к Самойле. Он видел, что они с полуслова понимают друг друга, стало быть, план их ясен, стало быть, и на Самойлу надеяться не следует. Это как бы подзадорило его, прибавило отваги, и он, обращаясь к леснику, тревожно посматривавшему в ямину, сказал:

— А ты тоже не ходи. Останься здесь.

Лесник был молодой, услужливый и бойкий. Он храбро выпрямился и сказал:

— Помилуйте настолько, ваше высокородие... Я желаю находиться при вас... Все-таки ведь зверь!..

— Ну, ну, не разговаривай!.. — коротко окрикнул Михаил Григорьевич и посмотрел на Самойлу, который крепче привязывал к опояске Рыску.

— Вот что, Самойло Антропыч, — сказал он строго. — Ты собаку-то бы отпустил с цепочки...

— Што вы, што вы, ваше благородие... Она ведь может раньше времени кинуться... Может помешать... Она еще не ставила зверей, молодая...

— Ну хорошо, — вынужденно согласился Михаил Григорьевич.

Теперь уж он не сомневался, что «кержаки», как звал он их за глаза, хотят его стравить медведю...

— Посмотрим... Поглядим... — сказал он вслух и ближе положил запасные заряды. — Ну, что ж, готово все?

Антроп поднялся с места, снял шапку, подозвал Самойлу и перекрестил его.

«Иезуиты, сукины сыны», — подумал Михаил Григорьевич и ту же натянул ушанку, сунул по карманам рукавицы и голыми руками взялся за кайки.

— Левей держите... Тут положе, — напутствовал Антроп. — Да сразу близко-то не подходите... Пар должен идти... На пар и подходите... Да однако я и сам отправлюсь?..

— Ну нет уж, батюшка!.. — встревожился Самойло. — Ты не ходи... Неровен час...

Лесник приблизился к Михаилу Григорьевичу.

— Ваше высокородие... Разрешите вместе?

Михаил Григорьевич порывисто ответил:

— Ну нет, голубчик, ты останься!.. — шагнул вперед.

Но Самойло обогнал его. Рыска едва поспевала вслед за ним, то и дело падала, проваливаясь меж кустов в рыхлом и глубоком снегу, и давилась цепочкой.

Антроп и лесник не удержались и потихоньку пошли следом.

Михаил Григорьевич подкатывался под гору. Он представлял себе лохматого, полуседого зверя, огромного и беспощадного, и чувствовал, что весь дрожит.

«Так вот кого избрал моим судьей Антроп Савельевич!.. Посмотрим, поглядим!..»

Самойло шмыгнул с крутика меж густых огромных кедров. Рыска слетела на цепочке вслед за ним кубарем и завизжала. Должно быть, ушиблась за лесину. Михаил Григорьевич по следам Самойлы скатывался осторожно и напряженно думал о том, что надо быть спокойнее.

Лес пошел все гуще и дичее, и Михаил Григорьевич почувствовал себя совсем оторванным от мира, заброшенным куда-то на край света, в необитаемую глушь.

Спуск был еще круче, лыжи понеслись стрелой, и где-то, в темной яме Михаил Григорьевич наткнулся на Самойлу.

Сквозь чащу лохматых великанов брызнул на снег луч солнца, яркий, ослепительно сверкнувший на ледяных сосульках, свисавших с веток кедрача.

— Вот тут... Шагов с полсотни... — прошептал Самойло и нерешительно стал высекать длинную тонкую жердь.

— Поди, протокол-то не составишь... — усмехнулся он лесничему и, сваливши жердь, стал очищать ее и завастривать вершинку.

Когда жердь была готова, он заткнул топор за опояску и таинственно спросил:

— Передохнем ай сразу?

— Пожалуй, отдохнем...

И снова тишина лесной глуши, какая-то особенно торжественная и извечная, прикоснулась к душе Михаила Григорьевича и далеко-далеко отодвинула от него все, что было так близко и дорого, — работу и воспоминания, охоту и друзей и

копашуюся где-то за лесами пышную культуру, в которую он верил и которой поклонялся... И даже самый лес, который он любит и в котором был теперь, куда-то отступил и помутнел... И только Зеновья с тугим и теплым животом отчетливо нарисовалась и стояла, как живая, близко, где-то тут же рядом.

— Ну, Господи, благослови... — сказал Самойло и пошел вперед.

Уже виделась гряда буреломин, осмысленно наложенная пирамидой и закутанная плотным тяжелым пластом снега.

Рыска задергала ноздрями и подняла щетину на хребте. Самойло в одной руке держал ружье, в другой кайки и длинную жердь и шел в обход берлоги.

Михаил Григорьевич воткнул кайки в снег, взял ружье на изготовку и пошел к берлоге. Самойло что-то маячил ему руками, как бы останавливал его, но он медленно подвигался ближе и радовался тому, что теперь совсем не волновался... Ему даже представилось, что в берлоге нет никого и что это, вероятно, и не берлога вовсе, а так, куча буреломин, и даже показалась комически-забавной такая их предосторожность.

Самойло не спускал собаку. Он то и дело останавливался, приглядывался и прислушивался.

«Какие-то сны видит его величество?» — подумал Михаил Григорьевич и вздрогнул.

Рыска резко и визгливо тявкнула. На синем пятне тени, падавшей от соседнего кедра, Михаил Григорьевич заметил пар... В нем вдруг проснулась охотничья страсть и заслонила собою и страх, и думы, и рассудок. Он быстро подкатился к Самойле и сказал:

— Что ж ты?.. Отпусти собаку!..

Самойло откатился от берлоги и выронил из рук жердь.

Михаил Григорьевич обернулся к нему и закричал:  
— Отпускай собаку!

Самойло, держа ружье наизготове, молчал и пятился за кедр. Рыска рвалась, потягивая его за опояску.

— Ах, ты, сволочь! — зашипел лесничий и, схвативши жердь, погнался за Самойлой. Но тот навстречу Михаилу Григорьевичу прицелился и угрожающе сказал:

— Смотри не балуй!.. — И, повернувшись, выстрелил в берлогу.

Михаил Григорьевич оторопел и бросил жердь.

Позади него затрещали буреломины, и над пирамидой их в крупных брызгах снега, как в облаке, на задних лапах стоял огромный зверь и раскати-сто, свирепо рывкал.

Михаил Григорьевич рванулся вперед, но забыв, что под ним лыжи, упал с них в снег... Но быстро встал, прицелился и выстрелил во что-то близко подкатившееся, кошмарно-беспощадное и дикое. И в тот же миг почувал, что болезненно кричит и с кем-то борется, сжимая голыми руками остистую сырую шерсть...

И чует, хрустнула его ступня в железной пасти, и внутренности подступили к горлу, лезут в рот, но ему не больно... Он знает хорошо, отчетливо и трезво, что руками крепко ухватил медведя так, как хватают его умные собаки, когда ставят на ноги. Пусть зверь отгрызет ему ноги, пусть тискает в своих когтях, но он ни за что не разомкнет судорожно сжатых рук и не даст уродовать лица, засыпанного снегом, который почему-то совсем не холодит и пахнет теплым и соленым...

«Кровь... — догадывается Михаил Григорьевич. — Значит, ранен... Значит, сдохнет...» — И он радостно забылся, потеряв сознание.

## VIII

Поздно вечером к заимке шли на лыжах трое: Антроп, Самойло и лесник. Они поочередно везли сделанные из лыж нарты, на которых лежала свежая, окровавленная медвежья шкура, а на ней, в полусознание, едва живой и изуродованный Михаил Григорьевич.

Когда пришли к заимке, Антроп был снова строгим и гостеприимным и рассудительно приказал объездчикам:

— Поосторожнее, ребята, выносите... Поосторожнее... — И жалостливо обращался к гостю, когда его положили на кровать в горнице: — Што, вашеское благородие, больно?.. Говорил я вам, раз не хватает твердости, вернуться надо... Но вот, ужо Зеновея походит — Бог даст, поправитесь... А там в больницу, в город отвезем... Где Зеновея-то?

Но Зеновеи не было... Вошедшая жена Самойлы негромко сообщила старику:

— Она сейчас в кладовке заперлась... Дрожит чего-то, стонет там...

Антроп с Самойлой ворвались в кладовку и увидели, что Зеновея выкинула сына. Она придушенно шептала старику, вонзя в него острый, лихорадочно горящий взгляд:

— Убивец!.. Лиходей!..

К утру лесничий умер.





# ВЕСНОЙ

## I

На третьей неделе Великого поста [106] были еще жестокие холода.

В одно из утр рано встал Артем и, выйдя на поветь своего двора, деловито оглядел сметанное там сено. Прикинул в уме: хватит ли скотине до Пасхи и не перевести ли рогатых на солому?

— Бычишки-то и впроголодь могут пробиться, — соображал он, — на них не пахать, а вот лошади... Их, матушек, беречь надо: кто знает, какова весна будет?... Как бы в пахоту-то с ними не наплакаться!..

Захватив вилами добрый пласт зеленого сена, он бросил его лошадям на чистый белый снег. Те обступили и, ссорясь, жадно стали жевать.

Артем еще поглядел на распчатый омет сена и, увидев веточку засохшей клубники, бережно взял ее в руки и съел, улыбнувшись при этом. Затем, опершись на вилы, поглядел вдаль на волнистые поля, еще закованные снежной броней.

Вдохнул потихоньку:

— Со всё Господь... Сколько ни сердится, да расплачется, — подумал он про зиму. — Сопки почернеют, так мелкую-то скотинку можно и на подножный выгнать.

И, не отрываясь, смотрел в поля. Что-то родное, давно знакомое привлекало туда взор старого пахаря. Уже ощущалось дыхание весны, приходил конец зимнему мужицкому отдыху, но грядущему весеннему труду улыбалась душа Артема.

На дорогах уже подтаял навоз, и снег на полях слегка погелубел. Еще неделя тепла, и пойдут воды. В начале пятой недели на верхушках холмов появились черные пятна, а к концу ее и все поля заперсттели, как шкура гигантской пантеры... Скристиализовавшийся снег затвердел, и по нему могли, не проваливаясь, ходить не только волки, но и лошади.

Курицы стали разгуливать по лужам и через улицу бродили к соседям в гости, значит, весна близко. Петухи в золотой соломе, точно унтеры на маневрах, браво вытягивались и то и дело драли глотку.

Пестря на солнышке растянулся и спит, зажмурившись.

Сноха Артема Федора объявила свекрови, что на счастье Климки семь куриц с яичком пришло...

Торопливее застучали кросна в горнице: хозяйка дома, жена Артема, торопится к Пасхе выткать холсты... На последней неделе уборка, стряпня... А там мужиков на пашню провожать. Хлопот — по горло.

И челнок нырял взад и вперед в ее костлявых пальцах, трепало [107] посвистывало, и поскрипывали кросна:

— Тырлик, тырлик...

Котенок с темным пятном, как с повязкой на глазу, пытался все спутать клубок ниток и мешал хозяйке.

Маленький Климка сидел у окошка, набегавшись по двору, и пристально рассматривал пригретую солнцем муху.

Насколько ему помнится, муха эта всю зиму просидела на потолке. Часто, лежа на кровати, он видел там ее темное пятнышко. Теперь там нет, значит, это она сидит на окошке. Задавил бы, да жалко, потому что она всего одна.

— Ишь, как лапками-то скет, — говорил он вслух, швыряя носом.

— Кто это у тебя там? — спрашивает бабушка.

— А муха-то...

— Ишь ты, мухой занялся... Ожила, видно... Оттаяла...

— Она разве мертвая была?..

— Мертвая...

— А тетка Ненила тоже оттаает?..

— Тетка Ненила в могилке... Она не оттаает уж...

— А пошто?..

Все мужики на улице, скот из двора выпускают, и меньшак Артема, Ипатка, звонко кричит, команду отданным под его начало маленьким гуртом.

Он сидит верхом на старике Рыжке, на подостланном отцовском тулупе, за спиной у него мешок с припасами и чайником, в руках длинная пастушья палка.

Погнал на степь нерабочую скотину.

Делал он это с удовольствием, потому что пасти скот собралось много деревенских подростков, и это сулило много веселья. Он уже уговорился с товарищами, кто должен взять картошки и котелок, кто увезет на место пастыбы короб соломы, охапку хвороста и кольев для балагана.

С видом знатока своего дела и самостоятельного человека, Ипатка не допускал никаких отцовских наставлений.

— Зна-аю! — торопливо отвечал он, когда ему говорили, чтобы не утопил в глубоких «зажорах» [108] какую-либо старую кобылу или молодую телку.

За деревней, ожидая его, уже гарцевали пятеро товарищей.

— Помаленьку, ребята, не гони! А то как бы овец не помять... — кричит Ипатка, с места забирая атаманскую власть в свои руки.

— А серянки [109] взяли?

— А то нет?.. Ванька, не давай им ворочаться назад-то, — успевает вставить распорядительный Ипатка. — Заворачивай, фу ты, полоротый какой!.. Степша, калач-то выронишь!..

— Эй, ребята, я мяса вяленого кусок везу... — объявляет один.

— А ведь пост теперь?.. — испуганно спрашивает другой.

— Молчи — пост!.. Не хочешь, так не ешь, а мы будем, — скрепляет третий. — А сала-то взяли?..

— Есть... Гей, ку-у!..

— Эка-а, ты-ы!..

— Помаленьку, ишь проваливаются...

— А Гришка вперед уехал, — весело докладывает Ипатке Степша, — с утра балаган делает...

Всем было весело на воле после деревенской зимней сиденки, и потому без особой причины смеялись, кричали, шутя ругались, гикали на скотину и делились предположениями насчет порядка дня. Хорошо им дышалось на лоне родных полей, при первых поцелуях грядущей весны.

Потому что видели, с какой настойчивостью веселое солнце своими горячими лучами расстреливало зимнюю рубаху земли.

Сдержаннее других держался лишь Ипатка. Он, помимо сознания важной ответственности атамана, не хотел еще ронять авторитет своего отца, которого все почитали... Зато больше всех смеялся и кричал о чем-то верзила Гавря, придурковатый и самый старший подросток, сосед Ипатки. Он был добр и никого не трогал, и за это его все обижали, а он смеялся.

Ипатка видел, как больно зашибли Гаврю ребятки, стащив с лошади в снег, и решил заступиться:

— Не связывайтесь вы с полоумным, — резонерски громко сказал он. — А то он возьмет ударит палкой: глаз либо нос зашибет...

И ребята послушались, даже помогли Гавре сесть на лошадь. Тогда Гавря счел нужным разобидеться и действительно замахнулся палкой на обидчиков.

Ипатка и тут пришел на выручку:

— Полно, товарищ!.. Ведь ты не дурак какой-нибудь, чтобы драться...

Гавре это польстило, и, сев на свою хромую кобылу, он поковылял за живой, движущейся лавиной скота. И даже весело запел что-то...

— Вот он, Гришка-то, на Лысой... Ишь балаган строит... Вороти, ребята, туда! — скомандовал Ипатка и крикнул переднему: — Да слезь с коня-то, в поводу проведи его через лог-от... Эх, какой ты неудальй!

Лысая сопка, изобиловавшая мелкими холмами, уже наполовину была обнажена и седела старой травой, как темя большущего старика, высунувшего голову из-под снега. Выпас был на Лысой добрый.

Приехав туда, ребяташки, вручив наблюдение за скотом добродушному Гавре, побежали к Гришке, который встретил их с неподдельной радостью. Он достраивал балаган, и одни бросились ему помогать, а другие взялись за разные приготовления к обеду. Двое пошли за дровами, один — за снегом для чая, один — копать кандык, а один стал резать на мелкие кусочки вяленое мясо...

— Грешно, да потом покаемся, — смягчал он собственное преступление, — просто, надоела эта картошка, ей Богу, ребята...

Коровы и овцы разбрелись по бурому склону сопки, жадно хватая примятый снегом корм. Видно было, что и скот зашевелился проворнее и не дрался, не бодался, как в тесном дворе, а каждый в отдельности ел полным ртом.

Гавря развалился на проталине и, пригретый солнышком, пел какую-то дикую, несуразную песню, не для того, чтобы услаждать себя, а для того, чтобы показать товарищам: какой он веселый даже при исполнении своей скучной обязанности.

Но то и дело становясь на колени, он поглядывал к балагану, где собравшиеся в кучу товарищи быстро сооружали высокий маяк из камней, а на верхушке его развели костер, задымившийся кудрявым и голубым столбиком.

## II

Снег с каждым днем убывал, сползая с гор в низины и овраги. Ребята ревниво следили за тем, как раздевается земля, и по утрам у края снегов ставили знаки, а по вечерам меряли шагами, сколько растаяло за день.

Вот поля скоро совсем стали темно-серыми, и по оврагам говорливо побежали шумные ручьи, умолкая только ночью. Утром на их местах оставались лишь тонкие, перламутровые льдинки, мелодично звеневшие под копытом скота. Потеплели и ночи. В один из дней, за неделю до Пасхи, ребята решили не гонять скотину домой, а ночевать на Лысой...

— А волки ежели?.. — пугливо спросил самый младший.

— Волки!.. Смотри, хватают уж тебя сзади-то, — огрызнулся на него Ипатка.

Тот, действительно, оглянулся назад и, сконфузившись, рассмеялся...

— Так я ничё... Я только што это, за овечек... А то тятенька-то задаст мне, ежели какую задавит!

— Задавит! А ты карауль, не спи!.. — посоветовал Степша...

Но когда наступила ночь, то все, не исключая и самых храбрых, вдруг приумолкли и испуганно озирались по сторонам.

Ипатка предложил собрать скот и подогнать поближе.

Зажгли костер и окружили его тесным кольцом. Гавря для безопасности даже попробовал по-волчьи выть, но от этого стало только хуже... Его выругали.

— Говорят, он, волк-от, огня боится... — сказал кто-то...

— А дедушка сказал, что надо камнями стучать... Он подумает, что ружье!

— Подумает! — угрюмо передразнил Ипатка.  
— Их теперь не один, а много... Они теперь табунами бегают... Свадьбы у них теперь! — и он невольно оглянулся назад в черную пасть ночи.

— Надо скотину-то поближе подогнать, ребята! — прибавил он, не оставляя атаманского попечения. — Гавря, ступай, заворачивай!..

— Ну-у, я боюсь... — выпучив глаза, ответил Гавря шепотом.

— Ребятишки, айда-те!..

Но ребятишки переглядывались и молчали, а самый меньшак так даже засипел носом:

— Вот они... как всех нас... съедят, так узнаете.

— Эх, вы... — лихо вскрикнул Ипат и, вскочив, схватил палку и отошел на сажень от круга...

— Ну, пойдете все! — прибавил он, испугавшись темноты. — Гавря, ведь ты вон какой молодец!..

Гавря поднялся, взял палку и, размахивая ей вокруг головы, храбро двинулся впереди всех. И ребята за ним, а врозь, чтобы отдельно заворачивать скот, никто не идет...

Шли кучкой и жадно прислушивались к каждому звуку. Фыркали козы, блеяли бараны и жевали коровы — все это казалось чем-то необыкновенным и звериным.

Вдруг один из мальчуганов споткнулся и упал... Другие бросились назад, а он закричал:

— Ма-а-а-ма!.. — и остался один, насмерть перепуганный и плачущий...

Когда же все вернулись к костру, то уже не сомневались, что волки пришли и начали есть баранов, а стало быть, доберутся и до них. У всех явился воинственный вид, но, чуть не плача, каждый лепетал о том, как он слышал, что «харчала» овечка, или даже «лаял» волк...

— Вот ведь Пестрю-то не взял я, — сожалел Ипат. — Да он бы их тут... Ребятишки! — сейчас

же предложил он, забыв о том, что он может приказывать, — вот что: давайте пустим пал... Ей богу, все они, проклятые, сгорят, и больше ничего...

— А табун-то как испугается да разбежится? — усомнился все тот же младшенький. — Тятенька-то тогда мне-ка задаст...

— Вот те на: испугался... Сказал тоже!.. Да ведь мы, поди-ка, туда его, пал-то, пустим, на волков прямо, а не на табун?!

— Ну, так что... Давайте!

— Давайте!..

И каждый, захватив с балагана пучок соломы, зажигал его от костра и, как с факелом, бежал под гору, рассыпая снопы красивых искр.

Зажгли...

В семи местах закружились живые снопы огня, стали расти и, залиывая красными языками сухую траву, поползли один к другому...

Но, странное дело: огонь пускали на волков, а он побежал во все стороны: и к скоту, и к балагану, и даже на самих поджигателей. Попробовали было топтать ногами, но огонь хватается за полы азямов [110] и сермяг.

Вскоре все семь кругов уже сцепились в одно звено и, захохотав, быстро погнались пастухов в одну сторону, а скотину — в другую.

Поняли ребята, что дело плохо, и, давай Бог ноги — в овраг, на снег... И видели, как пышно и ярко запылал их соломенный балаган с оставшимся там мелким имуществом.

Стоя на снегу, все молчали и забыли о том, куда и как теперь попадет скот... Слышали крик баранов и мычание коров, но пока это, как будто их не касалось.

Огонь у края снега давно уже потух. Балаган курился дымом и слабо таял, а они все еще стояли на снегу, мерзли, молчали и не смели войти на теплую обуглившуюся верхушку сопки...



И не видели, как за ней бестолковые бараны, ворвавшись в огонь и вспыхнув, бегали по степи живыми факелами и падали, испуская смрад от горящей шерсти и заживо поджаренного мяса...

И только утром, когда забрезжил свет, все опомнились и, заревев разными голосами, нехотя пошли: кто прямо домой, кто искать убежавшую скотину, а кто смотреть на похолодевшие останки сгоревших животных...

А ушедший в глубь степи пал, окрасив в черное пустынные поля, ушел далеко и уничтожил много остатков зимних запасов — десятки стогов сена и скирдов хлеба...

В деревне была собрана сходка.

Долго галдели, махали руками, ругались и, ничего не поняв, уныло разошлись по домам.

— Куда деваешься, что доспеешь? — говорили потерпевшие, что помирнее, а злые грозили кому-то, и в том числе друг другу.

Но тем дело и кончилось. А когда через неделю вместо черной гари на обожженных полях красиво зазеленела молодая трава, — мужики и вовсе обмякли, давно привыкнув к ударам суровой судьбы.

— Ох, и корм хороший растет! — говорили они, показывая на пожарище.

А товарищи-пастухи, встретившись у Христовой заутрени, весело смеялись и вспоминали:

— Ладно мы тогда волков-то испугались!.. Хи, хи?..

— Их, поди, вовсе и не было, а мы зажгли!.. Гы, гы!..

И спрашивали потихоньку друг у друга:

— А тебя отец-то шибко драл?

— Ниче-о, зажило уж...

Все залечила весна...

### III

Пасха...

Расплеснулась народная волна по полянкам и улицам, по завалинкам и крылечкам. Гудит, пестреет яркими цветами нарядов, цветет платками, сарафанами, рубашками и поясами, блестит козырьками картузов и голенищами сапог, лаковыми ремнями и дешевыми костяшками. Поет и пляшет, хочется и кричит без удержу.

На всех хмелем дохнула весна...

Вот по полям и лиловым далям идет она, рассыпая цветы и зелень, чудотворно залечивая земные недуги и царапины, целуя все живое и мертвое. Идет и властно пробуждает все к жизни и торопит жить всей силой беспредельных желаний...

Целую неделю звонят люди во все колокола, приветствуют ее приход, любят, отдыхают перед грядущей трудовой порой, насматриваются друг на друга и на самих себя.

А в Фомино воскресенье после обедни, как только смолкли колокола, — баста!.. Все зажило иной, рабочей жизнью, сбросило с себя вместе с праздничным нарядом и коросту зимней лени.

К вечеру многие уж потянулись в поля с сохами и боронами, с ворохами разной рухляди и косяками рабочих лошадей... Вместе с молитвой ожила деловитая русская брань, рядом с песней идет по полям трудовая скорбь и насада...

У пробойного мужика Артема все было готово еще постом: поправлены хомуты, наварен лемех плуга, подновлены бороны и отваяно лучшее зерно на семена. Его большак Михайло собственноручно сшил себе кожаные чембары, густо намазал дегтем бутылы, а в войлочную шляпу, на всякий случай, воткнул большую иглу с драгвой, и в Фомино воскресенье возбужденно хлопотал возле лошади и сбруи.

Артем сосредоточенно таскал из амбара и насыпал в телегу пшеницу, бережно ровняя ее в возу, чтобы не уронить ни одного зерна на пол...

Свекровка со снохой укладывали в мешки хлеб, шили мешочки для соли и круп, починяли старые холщевые чембары и наполняли берестовые туески топленным молоком...

Ипатка, только что вернувшись с полянки, в красной рубахе и плисовых штанах, проворно уплетал жирные щи, поторапливаемый матерью:

— Поедай, поедай живее, да снимай одежду-то, одень старенькую, отцу пособлять надо. Будет уж, пора напраздноваться! Весна-то, она не ждет ма-тушка, поторапливает.

И перед вечером, помолившись Богу, длинным обозом тронулись все на пашню. Дома остались только бабы да цыплята... Климка сидел на телеге рядом с дедушкой Артемом и изливал свои беспричинные восторги...

Покидая дом, и Пестря вел себя оживленнее. Он подскочил к морде Рыжки, лизнул его в знак товарищеских отношений и пустился вперед обо-за показывать давно знакомую дорогу.

На пашню приехали до заката солнца и остановились у земляной избушки, сделанной еще давным-давно и обитаемой только по веснам сообща с другими соседями по пашне.

Соседи были уже тут, и какое-то дружеское расположение к ним, какого не может быть в деревне, почувствовала семья Артема. Это родные и чем-то особым связанные с ними люди — братья... Вместе с ними и труд пахаря не в тягость, а в удовольствие, скрашенное общим оживлением и взаимным сочувствием.

Избушка, заброшенная с прошедшей весны, как-то похилилась, обросла травой и продырявилась, а окружающие ее столбы и коновязи по-

седали и сбоченились. Но при веселых шутках и дружеском смехе, все быстро отремонтировано, и в маленькой избушке все разместились тесно-тесно, как птенцы в гнездышке.

— В тесноте, мол, да не в обиде...

Ипатке, скаля белые зубы, улыбались двое незнакомых подростков, и хотя говорить еще не начинали, но в готовности помогать друг другу чувствовалась какая-то артельная близость. Сначала пособили спутать на лугу лошадей, а потом дружной компанией насбирали в овраге хворосту и, притащив по вязке соломы, разостлали в избушке — тем временем передружились.

Михайло, между тем, пробуя плуг, напахал свежее дерна и подновил крышу избы, а рядом во вновь выкопанной яме закурился артельный очаг, над которым на треногом тагане висели котелки и чайники...

Весело запыхавший костер, сменяя дневной свет, стянул к себе всю семью старых, молодых и малых пахарей... И под фыркание чайников и потрескивание хвороста полилась давно знакомая, такая дружная и понятная речь.

Окруженный этой семьей Артем снова почувствовал себя хорошо, как много весен подряд, и хотя мало говорил, но сидел тут же, слегка и добродушно улыбался веселой болтовне ребят, коротко отвечал или сам коротко спрашивал... Он весь был погружен в свои пахарские думы. Задумчиво смотря на яркий костер, он, с крупным лицом, густо заросшим полуседой бородой, с длинными волосами, прикрытыми зимней шапкой, олицетворял величавый образ Пахаря с заглавной буквы, богатырски-значительный в своей красивой простоте.

Стемнело...

Повеяло холодком, и мужики, накинув на плечи старые тулупы и зипуны, уселись у огня ужинать. С разных концов душистого, только что зазеленевшего поля неслись песни перепелов и сусликов,

басистый и строгий крик коростеля и звонкое ржание жеребца, связывающего свой косяк в грудку.

И потому, что все называли Артема «дяденькой Артемом», а мужики постарше «Артемом Тихоньчем», — сыну его Михайле было лестно, и он старался держаться солидно и с достоинством, чтобы не уронить отцовскую репутацию.

Потому-то все, когда стали укладываться на ночлег на мягкой соломе в избушке, верили, что завтра не проспят, так как дяденька Артем утром разбудит вовремя...

Все уже спали, когда Артем, сходяв посмотреть лошадей, вошел в избушку и, не раздеваясь, лег у самых дверей, подложив под голову хомут с седелкой.

А утром, когда из-за горы чуть-чуть забрезжил свет, он проснулся и осторожно вышел из избушки.

Луг, на котором паслись лошади, был окутан седым туманом, на молодой низенькой траве серебрился иней, а вверху, невидимый, пел уже беззаботный жаворонок. Вот это — то самое, что всегда в жизни Артема вызывало слезу умиления весной... Серебристо и весело, несмолкаемо и непонятно рассказывал жаворонок что-то, качаясь в высоте и так сладко умильно ласкал душу, что невольно она просилась к Богу... И, умывшись у речки, Артем отошел в сторонку и, став лицом к востоку, под песнопение невидимой птички, тихо и долго молился.

Будто навстречу его молитве, все ярче окрашивался восток, и пурпурная заря разрезалась острыми и золотисто-яркими копьями лучей, воткнувшимися в лазурь неба.

Разжег огонь, подвесил все чайники на таган и, когда они закипели, пошел в избушку будить своих товарищей.

— А ну-тко, ребята, вставайте! Начнем-ка, благословясь, — что нам Господь пошлет нынче!.. — говорит он негромко и певуче и, достав из меш-

ка большую булку хлеба, стал резать ее крупными ломтями и в движеньях своих был важен, точно совершал обряд.

Потянулись, помычали молодые, открыли глаза и быстро начали вставать.

А через полчаса лошади были уже у кормушек с овсом и «сечкой» [111], возле избушки дружно загудели голоса, и возле плугов и сох проворно двигались неуклюжие и серые коренастые дети полей.

Вот Ипатка вскочил в старое седло на Рыжку, и вся пятерка, запряженных в плуг, рванулась вперед и почти на рысях потащила плуг к знакомой полосе.

— Подожди, ребята, еще натянитесь! — уговаривал их Михайло, и Ипатка понимал, что надо сдерживать, и туго натягивал вожжи. Вот и у края полосы, а на том конце уже воткнута Артемом сажень, и на ней висит шапка: это Ипатке, дабы не скривил он первую борозду.

Поправил постромки Михайло, поплевал на ладони, взялся за ручки плуга, ловко поставил его и, сняв шапку, перекрестился:

— С Богом!..

— Гей, вы-ы!.. — зазвенел Ипат, и натянулись постромки, как струны, копыта лошадей врезались в землю, и заскрипело колесо под тяжестью... Захрустела родная нива под острым лемехом плуга и, упираясь в мягкую влажную землю, напрягли свои мышцы привычные кони.

— Гей, вы-ы! — как бы помогая им, кричит Ипатка, напряженно глядя через уши своей лошади на отцовскую шапку.

Угрюмо и молча, согнувшись над плугом, шагал коренастый Михайло и зорко оглядывался назад на первую, протянутую черной ниткой борозду.

Запахло свежей землей, откуда-то взялись вороньи грачи и, разевая красные рты, густо кричали, выискивая червей.

Заливался в весеннем восторге жаворонок, точно пел молитву за недосуженного пахаря.

И благословляя все величавой и светозарной улыбкой, вышло из-за горы веселое солнце и щедро бросило на проснувшиеся поля необъятную золотую парчу.

Как будто радуясь всему на свете, Пестря, высунув язык, поспешно бегал по пустошам, деловито обнюхивая заячьи следы и то и дело подбегая к Артему. А Артем, насыпав из телеги полную меру пшеницы, привязывал ее на плечи опояской, чтобы легче нести, и спрашивал:

— Што, Пестря, зайчишка шарить?.. Нету? Ах, он такой-сякой, бесхвостый! — и Пестря, повизгивая, вилял хвостом и холопски пресмыкался перед хозяином.

— Ишь ты, смыслит, ровно как... — сказал Артем и, подняв на высокую грудь тяжелую меру, медленно двинулся к черной свежей ниве.

На краю он снял шапку, перекрестился трижды и, взяв полную горсть золотистой пшеницы, смелым, привычным размахом рассыпал ее крупным дождем на землю... И величественно пошел по рыхлой черной мякоти, твердо и уверенно, как много лет хаживал...







Пудлицестика

Литературно-  
этнографический  
очерк

## РЕКА УБА И УБИНСКИЕ ЛЮДИ

### I. Речная система Убы, истоки ее и устье

Река Уба — дочь юго-западного Алтая. Светлые голубые воды, стремительный бег и властный говор являются лучшей метрикой ее царственного, альпийского происхождения. Являясь правым притоком Верхнего Иртыша, она растянулась по юго-западным отрогам Алтая более чем на сорок верст.

Река Уба сливается с Иртышом как раз на пути между Усть-Каменогорском и Семипалатинском, т. е. примерно в ста верстах от того и другого, причем реку Убу не следует смешивать с рекой Ульбой, упавшей в Иртыш также справа, около самого Усть-Каменогорска.

Основная артерия реки Убы состоит из четырех главных притоков, берущих начало в западных склонах горного Алтая, а именно, считая снизу, рек: Белой Убы нижней (или правой по течению), Становой Убы, Черной Убы и Белой Убы верхней (или левой по течению).

Нижняя Белая Уба берет свое начало в роскошном альпийском озере на горе Седлухе, т. е. на северном водоразделе, противоположные, т. е. северные, склоны которого направляют свои потоки уже в реку Обь, образуя реку Белую, сливную с Чарышом.

Приняв речку Шумиху и несколько горных потоков без названия, река Белая Уба сливается с

главной Убой как раз в верхних убинских порогах, т. е. приблизительно в двухстах верстах от устья Убы.

Река Становая Уба берет свои широким веером раскинувшиеся истоки у юго-западных склонов Коргонских белков, северные склоны которых питают реку Иню, упавшую также в реку Чарыш. В число вышеуказанного веера истоков реки Становой Убы должны быть включены еще река Коровиха с ее ветвистой вершиной и мелкие потоки из белка Свирепого. Приняв по пути несколько горных речек, брошенных западным подолом Коксинского хребта, река Становая Уба падает в главную Убу верстах в ста выше реки Белой Убы, между огромными горами Большой и Малой Теремки.

Затем идут Черная Уба и Белая Уба верхняя, слившаяся вместе выше впадения Становой Убы верстах в двадцати пяти. Река Черная Уба берет свое начало у западного подола Тургусунского хребта, южные склоны которого дают реку Тургусун — правый приток реки Бухтармы. Затем Черная Уба мимоходом принимает около десяти бурных потоков с юго-западных склонов Коксинских белков, северо-восточные склоны которых, как известно, рождают реку Коксу — левый приток Катуня.

Белая Уба верхняя в вершине своей представляет собою целый куст из многочисленных речек и потоков, стремящихся в нее с обеих сторон, и берет начало по соседству от Черной Убы, причем левыми притоками своими упирается в северо-западный подол Ивановского хребта, противоположные склоны которого дают реку Ульбу, падающую в Иртыш у г. Усть-Каменогорска. Таким образом, ветвистые истоки реки Убы, захватив площадь более чем в двести верст шириною, касаются своими ветвями целой системы альпийских хребтов, т. е. Коргонского, Коксинского, Тургусунского и Ивановского.

Если к изложенному выше мы прибавим, что река Уба в среднем своем течении, между впадением рек Становой Убы и нижней Белой Убы, т. е. на расстоянии около ста верст, приняла свыше пятнадцати довольно больших горных речек, то для нас станет вполне понятной та пересеченность верховьев Убы, которая по красоте и дикости природы очень близко роднит Убинский Алтай с Алтаем Катунским.

Ниже впадения реки Нижней Белой Убы, т. е. от верхнего порога, река Уба становится уже плотоходной и после стоверстного крайне капризного течения по узкому и величавому горному ущелью, покрытому лесом и пересеченному еще целым рядом горных речек, она вырывается на более спокойную, безлесную, хотя и холмистую степь и, постепенно поворачивая влево, еще верст через сто падает в реку Иртыш, как раз на грани последних холмов и начавшейся степной равнины, ушедшей к Семипалатинску и дальше. Причем перед впадением в Иртыш Уба разбивается на несколько протоков, главная из которых равняется ста сажням и подбегает к Иртышу совершенно перпендикулярно, отчего ее светлые струи далеко бегут наперерез мутному Иртышу, рождая пенистые гривы и глубокие водные воронки.

Но долина устья Убы совершенно плоская, без крутых и высоких берегов, и теряется в сплошных таловых, черемуховых и тополевых забоках. Вообще, Уба перед впадением в Иртыш кажется утратившей говорливую свирепость горной реки и, украшенная равнинами, а может быть испуганная близким браком с суровым Иртышом, ползет к нему тихо, как бы задумавшись. Но более всего странно, что, слившись с Иртышом, она как будто не увеличивает ни ширины его, ни многоводности.

Он просто, небрежно взяв ее под мышку, сурово стремится к своей бледной и угрюмой невесте Оби...

## II. Убинские казаки

У самого устья р. Убы ниже ее впадения, на правом берегу Иртыша, стоит Убинское станичное поселение. Это небольшой, дворов в полтораста, опрятный и довольно стройный поселок, расположенный на невысоком, но ровном плато, со стороны Иртыша защищенном огромной и высокой тополевой рощей, на фоне которой рельефно белеет церковь поселка.

Улицы прямые, дома большей частью деревянные, крытые тесом, с чистыми оградами и весьма опрятными горницами, в которых, почти в каждой, вы увидите: чистые самотканые половики, старомодный посудный шкаф с комодом, большое простое зеркало, опрятно прибранную деревенскую кровать с высоко взбитыми подушками, периной и цветным покрывалом. У гладко выбеленных или оклеенных обоями стен — старинной конструкции деревянные тяжелые стулья и диваны с кривыми и толстыми ножками, а на стенах, кроме икон и лубочных ярких картинок из серии русских войн и русских сказок, вы непременно увидите портреты каких-либо полководцев и командиров, среди которых предпочтение Линевичу, Скобелеву, Куропаткину, Стесселю, Мищенко [112] и другим героям исторических войн. Кроме того, под самым зеркалом обязательно несколько фотографий с изображением по два и по три молодых казака, в крайне непринужденных позах, с саблями наголо, с закуренными папиросами и в сапогах с высокими рубчатymi голенищами.

Казаки-мужчины отличаются порядочной долей практического ума, ловкостью в джигитовке и любовью к военным подвигам, но все они крайне нерасторопны в делах своего домашнего хозяйства.

Земледелием в последнее время стали заниматься все без исключения, причем почти все тя-

желые работы их исполняют степные киргизы [113], которые находятся у Убинских казаков в вечных и невылазных долгах. В то время как крестьяне соседних сел не могут найти рабочих и дают большие цены, казаки за полцены и без особых затруднений имеют рабочих сколько угодно. При этом отношение к киргизу самое деспотическое. Укажу на примеры.

В поселке Убинском есть очень богатый казак-урядник С. Он только тем и состояние свое приобрел, что умело и неуклонно держал в кабале десятки бедных киргизов. Делал он это так: с зимы охотно дает в долг киргизу продукты первой необходимости: муку, мясо, соль, чай и даже деньги, но с тем, чтобы он выдал ему известное количество хлеба или выкосил и поставил определенное число стогов сена. Беря необходимое, бедняк киргиз за зиму, конечно, влезет в такие долги, которых отработать за все лето не в силах. Но наниматель не только не претендует на это, но и вновь дает киргизу на нужные расходы, только назначает проценты и не деньгами, а той же работой, именно: если, допустим, какой-либо Крытпай должен был в прошлом году поставить двести копен сена, а поставил полтораста, т. е. пятьдесят не доставил, то нынче это количество он должен поставить в удвоенном размере. И вот теперь еще, несмотря на дороговизну труда, у С. имеется несколько десятков таких должников, которые работают за старые долги совершенно бесплатно. Некоторые работают за долги отцов, которые давно умерли.

Не исполнить же работ казаку немислимо, т. к. казак, благодаря своей деспотической настойчивости, всегда сумеет заставить киргиза отработать или больно наказать, включая сюда взыскание убытков и физическое наказание одновременно. Недаром же еще недавно, лет десять-пятнадцать назад, один во-

оруженный только нагайкою казак мог безнаказанно перепороть весь аул и заставить его же угощать себя кумысом и бараниной.

Казаки очень редко относятся к киргизам по-человечески. Отлично владея киргизским языком, они часто между собою говорят по-киргизски и никакие киргизские тайны не минуют их слуха. Очень редко называют они настоящим именем киргиза. Большею частью: «Крытпайка» (вместо Крытпай), «Джума-чишка» (вместо Джуматай), а то и просто «орда», «остроголовый», «лопатка», «головешка», «собака». И никогда не скажут, что умер киргиз, а скажут всегда: «пропал, собака»...

Ввиду такого пользования киргизским просто-душием и выносливостью даже беднейшие казаки живут относительно беспечно и занимаются, кроме посева хлебов, скотоводством и посадкой арбузов, которые на песчаной почве прииртышских увалов рождаются очень обильными и особенно сладкими, почему из большинства деревень крестьяне покупают их сотнями возов, да, кроме того, арбузы десятками плотов сплавляют в Семипалатинск и Омск.

В противоположность мужчинам казачки-женщины весьма недалеки, забиты, очень трудолюбивы, выносливы и чрезвычайно опрятны и скромны. Каждая из них обязательно промышляет листовым табаком, который убинские казачки сажают в огородах и растят при заботливой бдительности и ручной поливке. Поэтому все казачьи девушки и молодые женщины целое лето пребывают на солнце, таская на коромыслах воду из Иртыша. Зато в праздники они любят наряжаться, подражая в отношении костюма городскому мещанству. Очень любят ботинки со скрипом и с глубокими калошами, белые платья и кисейные шарфики, платья «принцессой», т. е. в талию, тугие пояса и белые фартуки с петухами. Очень дорожат скром-



ностью и подражанием сельской интеллигенции, к которой относятся весьма почтительно, а самой умной девушкой считается та, которая меньше говорит и совсем не смеется и которая больше всех сидит дома. Самой же характерной чертой казачьей женщины или девушки можно считать аккуратное произношение буквы «ц». Они всегда скажут четко и обязательно «курица», «Богородица», и считается очень дурным тоном и необразованностью неисполнение этого правила.

Также и молодые люди Убинской станицы весьма трезвы, чистоплотны и обходительны. Любят форснуть вычищенным сапогом, цветной рубашкой, светлым кушаком и узкими брюками и в присутствии девушки или женщины не сделают неприличного жеста и не скажут дурного слова, а на игрищах или вечерках относятся даже с изысканной фамильярностью, называют девушек по имени и отчеству и по возможности на «вы». Но девушки при танцах просто садятся к ним на колени, а при припевах и играх охотно целуют их, стараясь при этом не улыбаться, чтобы не сказали чего дурного. Но очень дурно казачьи девушки и женщины поют, какими-то однотонными, тонкими и нестройными голосами. Зато танцуют недурно, хотя и однообразно, потупляя глаза и стараясь не улыбаться.

В свою очередь и кавалеры, молодецки крутятся вокруг своих дам, выделявая каблуками громкие трели, едят своих дам глазами и, из почтения, до перерыва не вытирают даже крупных капель пота на разруганных лицах.

И все казаки, от мала до велика, к грамоте относятся более чем снисходительно, но в то же время никакая крестьянская фантазия не способна рисовать такие нелепые картины суеверия, как сплошь и рядом делается это среди казаков не только ст. Убинской, но и всей почти Семипалатинской казачьей линии.

### III. Деревни и люди низовьев Убы

От поселка Убинского долина реки Убы почти незаметна и кажется простой широкой низиной, кое-где лишь огороженной небольшими увалами, легкими холмами и раздольными гривами.

От поселка вверх по Убе справа по течению идут роскошные луга, поросшие частыми забочками из тальника и черемухи, а слева по течению идут покатые и споханные увалы. На шестой версте, возле единственного отвесного, но невысокого утеса с левой стороны имеется перевоз, очень примитивный, на канате. Ширина Убы здесь около восьмидесяти сажен. А в семи верстах от поселка, на левой стороне Убы, на низкой равнине и на фоне громадной тополевой рощи рисуется большое серое, неопрятное, но довольно богатое крестьянское село Убинское, с новой церковью, винной лавкой, обычно пустыми и длинными хлебозапасными [114] магазинами и очень небольшой школой. Через село Убинское идет Семипалатинско-Зайсанский почтовый тракт. Здесь насчитывается до четырехсот дворов, из которых около половины новоселов [115] по преимуществу с юга России, и глинобитные и саманные хаты их с соломенными крышами и ограды с журавлями криниц, т. е. колодцев, резко выделяются от поседевших, местами скосившихся, местами раскрашенных и шитых тесом домов старожилов [116], ворота которых обязательно тесовые с фигурчатой резьбой над крышкой и с жестяными звездочками на полотнах, а иногда и на карнизах домов. Крыши домов почти все двускатные с вдавленными лбами и с рубчатой резьбой или петушками на охлупнях [117]. Дома высокие с глухими крыльцами, с низкими, но прочными подвалами, с маленькими раскрашенными окошками и расписными ставнями. Но в селе Убинском есть дома, в которых сохранился

еще дедовский облик. Здесь все говорит о глубоком почтении к старине и о крепости стариковских заветов. В избах пахнет свежее испеченным хлебом, жирными щами и кислыми овчинами тулупов, которые всегда лежат на полотах, а в горницах с расписных широких божниц смотрят суровые потемневшие лики икон. Небеленые потолки и стены украшены какими-то фантастическими, напоминающими современный декадентский стиль цветами и фигурами местного творчества, в углу у двери солидно расселась большая русская печь с ввалившимися глазами-печурками [118] и темной пастью цела [119], а возле нее стоит огромная кровать с массою подушек и длинным цветным, преимущественно красным с большими желтыми цветами, пологом. На полу — цветные половики, против печки — расписной, подвешенный на крючках шкаф с посудой, а в красном углу у широких лавок — крепкий толстоногий стол, покрытый самотканой кубовой скатертью [120]. И степенная тишина, овладевая вами, уносит вас в древнюю Москву и солидно внушает жуткое почтение к русской самобытности, которая, впрочем, сейчас же исчезает при появлении в горнице хозяйки, по большей части недалекой, простодушной и слишком типичной для нашего времени крестьянской бабы, забитой, изнуренной трудом и болезнями, истощенной детьми и побоями мужа. А когда входит, одергивая короткую рубаху, заросший бородою и согнутый под тяжестью мужицкого ярма хозяин и заговорит с вами торопливым, неправильным языком о нужде, о надвигающемся малоземелье, об истощении земли и о дороговизне всего, вы невольно соприкасаетесь с настоящей действительностью и не только видите, что добрые крестьянские устои отжили, но и чувствуете грядущую неизбежность в коренном перевороте

всей их жизни. И чем больше присматриваешься к жителям села Убинского, этого старейшего, существующего около двухсот лет села, тем яснее вырисовываются уродливости вырождающейся самобытности. Об этом говорят пестрые одежды: от расписного сарафана до розовой кофточки, от старомодного дедовского кафтана до базарного пиджака и от почтенной седины до стриженной головы и бритой бороды включительно. И разве где-либо у старого дома на завалинке в праздничную пору вы увидите яркого выразителя подлинного сибирского крестьянства. Это какой-нибудь древний старик с костылем в высокой четырехугольной шапке, в позеленевшем от времени бархатном кафтане. Сидит он, качая старой головой, и думает о милой старине принесенной из глубины веков, о Русской были, о чистоте и простоте былых нравов, не утраченных под ударами неволи и испытаний за веру... А в это время внучата его, подростки, тайком, рискуя поджечь амбар, где-либо в укромном месте курят базарные папиросы и знают то, о чем всю свою жизнь не знал дед, этот доживающий свои дни обломок старой Руси...

Главным занятием крестьян с Убинского является земледелие, а за последние годы — молочное хозяйство и частью рыбалка, извоз, т. к. они живут на тракту, а также и пчеловодство. Очень часто можно встретить чрезвычайно умных и интересных людей, играющих первую скрипку в мужицких настроениях и дающих тон. Так например, некто Е. И-ч, беседуя со мной, говорил о себе:

— По годам-то надо бы на печке давно лежать, а по делам-то выходит на жаре торчать приходится... А жара, братец ты мой, такая, что у меня на плешине хоть блины пеки!..

Это одинокий, бездетный старик, все время работающий сам на пашне и дома. Он рассказал мне

интересную историю о том, как некто Иван Петрович, проповедуя Толстого, поселился в их деревне и около четырех лет работал бесплатно то у того, то у другого.

— Спасался, спасался да потом у псаломщика фарпосного [121] (т. е. из станицы Убинской) бабу и слямзил!.. Слямзил, да и с деньжонками знать-то... А бабеночка-то, слышь, мяконькая была, ну да и спасенье-то прискучило, видно... Потом деньжонки-то порастрѣс, да и бабеночку-то бросил. Псаломщик-то запил да в чахотке умер, а она будто бы с пути сбилась совсем... Вот тебе и апостол! — заключил Е. И-ч и прибавил с характерной для него скороговоркой: — Ишь, вот как спасаются, а нашему брату, вахлаку, где так догадаться... Так видно уж нам положено: здесь-то как червяку ползать, да еще и там-то в смоле кипеть!..

Выше села Убинского долина Убы постепенно начинает суживаться, загородившись с правой стороны высоким яром, а с левой — дав место широкому лугу, сплошь усыпанному талом, черемухой, гороховником и жимолостью, а верстах в десяти начинаются уже легкие взгорья слева и раздольные высокие гривы справа, причем слева по течению Убы на гладкой равнине, огороженной холмами, ровной чередой виднеется больше десяти древних чудских курганов [122], увенчанных кудрявыми кустами черемухи; а тотчас за ними, на крутом левом берегу Убы, прилепилось небольшое селение Орловское.

Селение это выстроилось не более десяти-двенадцати лет назад из переселившихся сюда горнозаводских обывателей села Риддерского, переселившихся потому, что с сокращением работ там они стали бедствовать, а земли для пашни не хватило. Но и здесь они, привыкшие к шахте, не могут оправиться и селение выглядит очень жалким,

забытым Богом и людьми, а жители его являют собою ту, типичную для сибирского мужика промежуточность, которая не похожа ни на крестьянина, ни на мещанина и в то же время в слабой степени содержит в себе признаки и того и другого вместе.

Переехав здесь на лодках на правую сторону Убы и поднявшись на увал, мы очутились на столбовой дороге, идущей от Семипалатинска в Барнаул. Среди тучных пашен и трав по высокому и ровному увалу мы двинулись в северном направлении и видели, как открывшееся перед нами широкой голубой лентой русло реки Убы, нежась в зелени лугов и сплошных забок, вдали круто повернуло направо, на восток, и потерялось там среди первых синеющих отсюда предгорий Убинского Алтая, а позади нас оставался слегка искривленный и синеющий вдали заиртышский горизонт.

Через десять верст мы попали в большое, богатое и интересное село Красноярское, расположенное на правом берегу Убы, под высоким увалом, на прижавшемся к нему клочке луга.

Население здесь то же, что и в деревне Убинской, с тою лишь разницей, что здесь лучше сохранилась самобытность старожильческого крестьянства и меньше наблюдается пестроты, свойственной промежуточности или, так сказать, полукрестьянству. Однако окраины села изобилуют переселенческими курениями [123] и избами с соломенными крышами. В общем, население села Красноярского можно считать в большинстве своем довольно зажиточным. Склоненная к Убе и обрезанная около нее крутым глинистым увалом тучная и плодородная грива, без единой горки, без единого дерева, поднимается на северо-запад отлогим двенадцативерстным перевалом. Обогнув правую сторону Убы на несколько десятков верст, она уходит почти на сто верст вглубь до Шульбинско-Локтевского

бора. Эта-то грива, вся испещренная квадратами пашен, и является лучшей кормилицей и надеждой не только трехтысячного Красноярского населения, но и населения всех смежных деревень: Вавилонки, Сугатовского, Золотихи и Локтя — на севере от Красноярского — и Перерыва, Жерновки и Бородулихи — на запад от него. Эта же грива является и строгой, замечательно ровной гранью последних предгорий горного Алтая и начавшихся и ушедших до самого слияния Иртыша с Обью степей. С перепада этого в ясную погоду можно наблюдать на юго-западе далекие перламутровые марева — признак пустынь, а на северо-востоке — едва видные белоснежные вершины Ивановского хребта, венчающие лиловые волны западного Алтая. И эта грань между безграничных равнин степей и бурных застывших горных волн рождает настроение не то безотчетного восторга, не то упоительной тоски...

Для лучшей характеристики села Красноярского необходимо сделать маленькую экскурсию в сторону от Убы.

В двадцати двух верстах от села Красноярского на запад есть интересное, родственное Красноярскому, но более типичное и еще лучше сохранившееся самобытность село Перерыв или Ново-Шульбинское. Это село охотно поддерживает село Красноярское — в смысле сохранения самобытности, — т. к. красноярцы очень часто берут из него невест и отдают за перерывцев своих дочерей. А т. к. Перерыв лучше уберег дедовские заветы относительно веры, обрядов и семейных отношений, то Красноярцы в значительном большинстве отдают Перерыву первенство и по возможности подражают ему.

Перерывские старожилы, еще недавно гремевшие богатством и славой, теперь значительно обеднели, благодаря почти захлестнувшей их волне переселения, которое не только стеснило их в от-

ношении землепользования, но и в значительной степени пошатнуло старые заветы. И все же еще много старожилов в Перерыве, которые еще не падают под натиском времени и крепко держатся старого закала: не берут в жены никого, кроме дочерей старожилов, и сами не отдают своих без разбора. Берегут старинные обряды, веру, костюмы и обычаи. Кроме того, в этом им способствует то обстоятельство, что они находятся в стороне от тракта и ломка старины происходит не с такой быстротой, как в Красноярске. Идя по Перерыву из конца в конец, вы на расстоянии почти четырех верст криво растянувшегося по равнине села увидите строго разграниченные две противоположности: с западной части села — беленые саманные хаты, высокие овины, длинные журавли криниц [124], малорусские свитки и поневы [125], а с восточной части — высокие, прочные, деревянные дома, крытые тесом и украшенные резьбой и цветистыми узорами на окнах и ставнях, глухие дворы с тесовыми крытыми воротами и — если в праздник — красные, с крупными разводами сарафаны и, что замечательнее всего, частые группы у ворот или на завалинках замечательно красивых, со смуглыми лицами, длинными тонкими носами, черными длинными и ровно стриженными волосами мужчин разных возрастов. И все они одеты в большие сапоги с медными подковками, в цветные и широкие ситцевые штаны и рубахи, в черные базарные шляпы и в черные бархатные халаты и кафтаны. И картина такого постоянства и выдержанной стильности — поразительно оригинальна.

Вот это же самое, но в более слабой степени, можно наблюдать и в Красноярске, стоящем на почтовом тракту и потому более подверженном соблазну цивилизации.



Но двинемся дальше вверх по Убе.

Сделав десятиверстный зигзаг, мы огибаем высочайший яр, и, переехав по прочному мосту через первый правый приток реки Убы довольно большую речку Вавилонку, круто поворачиваем направо, к Убе, и в стороне от тракта, как раз на крутом изгибе Убинской долины, как бы на верхушке дуги, встречаем деревню Вавилонку, названную так не потому, что она имеет родственное отношение к древнему Вавилону, а потому, что по выражению жителей, река Уба здесь делает «вавилон», поворот дугообразный. Довольно большая, но менее зажиточная деревня Вавилонка резко бросается <в глаза> своей отсталостью как от Красноярска, так и от села Убинского, которое по типу своего населения она больше всего напоминает. Но эта отсталость совсем не такая, как в Перерыве. Там сознательная, упрямая отсталость, отсталость во имя стариковских заветов; а здесь отсталость тупая и темная, отчего население Вавилонки является жалким и каким-то беспомощным в своей наивности и бесхитростной простоте. Вся жизнь с прогрессом, культурой и новостями проходит совсем мимо, по тому отстоящему только в трех верстах почтовому тракту, который обновляет и двигает к видоизменению Красный Яр и с. Убинское. Здесь много лет не было ни школы, ни церкви, которую недавно кое-как выстроили, а общение с двумя находящимися в противоположных концах рудниками, Сугатовским и Николаевским, отстоящими в девяти верстах каждый, лишь способствовало большей по-давленности тела и души вавилонцев, ибо бывшие в этих рудниках горные работы, на которые часть вавилонцев ходила, лишь давили и выжимали из них лучшие соки и уродовали их крестьянские души.

Невольно хочется остановиться все же на том, что подобные вавилонцам крестьяне отличаются редкой скромностью и наивностью, приближающими их к возрасту в малоразвитых, запуганных детей.

Надо видеть, с каким, например, страхом и растерянностью такой крестьянин входит всего лишь в присутствие волостного правления.

Что же касается наиболее крупных представителей власти, то столкновение с ними повергает этих людей положительно в священный ужас.

Для примера я приведу картинку допроса мужика мировым судьей. Мировой судья совсем и не сердитый, он только серьезно сосредоточен и деловит.

Перед ним, переминаясь с ноги на ногу, стоит высокий лет сорока крестьянин и смущенно щупает собственную опояску.

— Как тебя зовут? — спрашивает судья.

— Чё это?.. — отвечает тот вопросом.

— Твое имя?..

Мужик оглядывается назад и, все еще не понимая в чем дело, молчит.

— Я спрашиваю, как тебя зовут? — уже повышая тон, спрашивает судья.

— Али меня-то!.. — догадывается свидетель и прибавляет: — Да Иваном звали, ваше степенство...

— Звали?.. А теперь как зовут?

— А нас-то? — переспрашивает вопрошаемый, называя себя во множественном числе.

— Ну да, вас-то! — уже кричит раздражившийся судья.

— Дак Иваном, мол, Иваном, ваше благородие...

И так далее в этом же роде.

Здесь немудрено понять истинную причину такой, кажущейся многим, тупости. Привыкший к примитивным отношениям крестьянской среды, мужик почти никогда не имеет общения с людь-

ми цивилизованными, и сталкиваться с ними ему приходится лишь в каком-либо сутяжном, всегда щекотливом деле.

Вот почему некоторые старики с гордостью заявляют всегда — как высшее доказательство своей честности: «и в свидетелях не бывал».

Это и доказывает их замкнутость в своей особенной по простоте наивности и делает их похожими на малоразвитых детей, с которыми надо обходиться с материнской заботливостью и ласкою, а отнюдь не с розгою, что только портит и уродует их.

Выше деревни Вавилонской, верстах в пяти по левому берегу Убы, в устье второго с низу притока, речки Таловки, стоит новое селение Усть-Таловское, домов в двести. Здесь поселились лет двенадцать-пятнадцать назад добровольные переселенцы, преимущественно из Воронежской губернии. Будучи хорошими землеробами, люди эти резко отличаются от старожилов своей неопрятностью и грубостью. В их жилища трудно войти, так они пропахли всевозможными следами неопрятности. В сторону от Убы в трех верстах находится селение Николаевское тоже в двести-двести пятьдесят дворов, с церковкой без колокольни, с одной школой и брошенными казенными рудниками. Здесь люди, превратившись из горнозаводских рабочих, достаточно освоились уже с ролью земледельцев, но все еще не могут отделаться от чисто «бергальских» (от слова «бергайер») [126] замашек кутить по праздникам, бить жен и детей, выбивать двери и окна у соседей и по целым дням опохмеляться. Эти люди, являясь осколками бывшего горнозаводского режима, в сильной степени унаследовали от самодурствовавшего начальства дикость нравов и, пребывая в них до сего времени, безропотно, как рабы, несут крест своего невеже-

ства... Но в то же время, как это ни странно, себя считают неизмеримо выше коренных крестьян-«поляков» и очень часто награждают их эпитетами «крестьянишки», «чалдоны», «рохли» [127] и т. д.

Благодаря большому пристрастию многих из них к водке, они охотно принимали к себе новоселов, которые совместно с новыми и новыми пришельцами теперь кругом опахали их и в какие-либо десять-пятнадцать лет от просторных полей, облежавших село Николаевское, ничего не осталось. Вокруг села Николаевского, на расстоянии от трех до девяти верст, стоят восемь селений, а именно означенные Орловское, Красноярское, Вавилонское, Усть-Таловка, Рулевское, Озерки, или Верх-Таловское, и Половинное, населенное «молоканами» [128] и стоящее на левом берегу Убы выше Усть-Таловки версты на две. А севернее в девяти верстах стоит еще громадное, с многотысячным населением, село Шемонаиха. Таким образом, село Николаевское, являясь старожильческим, оказалось почти обезземеленным в самом начале земельного устройства. Что же будет дальше, когда все селения, в том числе и Николаевское, возрастут населением?.. И начальство, ведавшее нарезкой земли, не только не учло густоту населения, но и вырезало из наделов николаевцев самые лучшие участки земли в пользу Кабинета [129] и сдает их в аренду новоселам.

#### IV. Культурный центр края — село Шемонаиха

На правом берегу Убы, выше устья верст на шестьдесят, расположено огромное, более чем в восемьсот дворов, село Шемонаевское — с каменной церковью, каменной больницей, большой школой, волостью, почтой и телеграфом, лесничим, приставом и прочей менее значительной сельской знатью.

Село Шемонаевское — узел четырех больших дорог: на Семипалатинск, на Барнаул, на Усть-Каменогорск и на Бийскую казачью линию.

Широко раскинувшееся по двум упавшим в Убу речкам, это село состоит из целого лабиринта кривых улиц и переулков с угрюмыми, старинной архитектуры, кривыми и высокими домами и с непрерывной сетью обширных бревенчатых дворов и жердяных пригонов. Село это основано в конце XVII столетия, т. е. более двухсот лет назад и населено крепким и суровым крестьянским народом, именуемым здесь «поляками» [130].

Неуклонно следуя преданьям старины, крестьянство это почти два века не меняло ни внутреннего уклада жизни, ни внешней оболочки и в продолжение целых столетий было как бы застывшим в одних и тех же формах неподвижности.

Богатство добывалось трудолюбием, духовные потребности удовлетворялись церковью, отдых находили в праздничных посиделках на завалинке и — в редких случаях — в медовом домашнем пиве, после третьего стакана которого не поднять руки для буянства, а высшее просвещение исчерпывалось мирным чтением псалтыря. И вся иная жизнь проходила мимо, не нарушая ровного течения спокойной жизни, и лишь разве появление всемогущих самодуров-управителей, а позднее земских заседателей, вспугивали на время житейскую тишь, да и те в конце концов не оставляли заметных следов, ибо старые люди были крепки и к кулаку, и к розге и оставались в той же добродетельной патриархальности, в которой и пребывали почти до наших дней. Но наши дни — с их огромными событиями и всеобщим распадом — пошатнули и эту упругую неподвижность крепкого крестьянства, и Шемонаиха, давшая тон многим окрестным

селам и изобиловавшая умными и довольно могучими патриархами, к совету которых прислушивались целые волости, надломилась в самом корне, и среди молодежи вы немного теперь встретите почитателей этой старины.

Вот сценка на пароме через Убу.

Старый перевозчик с длинной, пожелтевшей и спутанной бородой в четырехугольной шапке, рукавицах и сермяге, подпоясанной шерстяной опояской низко, у самых бедер, стоит у рулевого весла.

Паром отправился от левого берега на правый, т. е. к селу. На пароме, кроме нас, земская подвода с волостным кандидатом [131], хохлацкая бричка, две бочки с дегтем, верховой старенький киргиз и несколько молодых баб с тяжелыми снопами чеснока, который они держали на головах комлями вниз, как большие зеленые короны. Загорелые ноги в низких кожаных башмаках без чулок, сарафаны высоко подтыканы, из красных фартуков сделаны кошельки. В ушах огромные серебряные серьги. Двое помощников кормовщика — бородатый мужик и молодой парень — кричат на дегтярей:

— Беритесь-ка за шести!

Дегтяри и киргиз угодливо хватаются за шести, а молодой парень начинает крутить папироску.

Старик брезгливо сплевывает:

— Тьфу! Ровно он без этой чертовой соски и не жив прямо... Епишка, брось!.. — голос у старика круглый, большой, хорошо сохранившийся, и когда он говорит, длинная борода вся целиком откинулась на плечо и вздрагивает. Голубые поблекшие глаза смотрят умоляюще и грустно, но парень, свернув папироску и взяв ее в губы, самодовольно улыбается и лезет за пазуху за коробкой спичек...

— Епишка!.. — кричит старик и будто порывается от кормы.

Парень уже закурил, и легкий ветерок несет удушливый зеленоватый дым прямо в лицо старику... Он плюется...

Бабы и бородатый помощник громко смеются и кричат старику:

— Умирай ты скорей, а то прокоптят они тебя, внучатки-то... И в рай не пустят копченого-то...

Старик, умолкнув, отвертывается и начинает в отчаянии сердито бить веслом о голубые убинские волны, чтобы хоть на них выместить свою тяжелую обиду...

И это один из зажившихся патриархов старины, когда-то знатных и сильных. Парень — его внук, а мужик — работник. Еще в девяностых годах старик этот пользовался большим влиянием, служа много лет старшиной и будучи очень богатым... А теперь, на старости, должен грести веслом и слушать горькие насмешки внука и работника.

В Шемонаихе есть несколько больших торговых лавок, а в декабре бывает ярмарка. Кроме того, в этом году закончена постройка большой крупчатой мельницы [132].

Все жители исповедания единовѣрческаго [133], и до сих пор еще сохранилась кучка стариков, ревниво оберегающих старинность обрядов в богослужении, и если они услышат, что священник в чем-либо ошибся или отступил от подлинного текста священного писания, то они тут же в церкви крикнут ему строго:

— Не так, батя, не так! — и священник должен в ту же минуту поправиться.

Все мужчины в церкви становятся впереди, а женщины обязательно у порога, и если здесь же становится какой-либо неопытный богомолец — бабы энергично протолкают его вперед. Причем все бабы и старухи в церковь ходят в тех самых кичках

[134], в которых венчаются. Дети становятся в центре храма перед алтарем, а взрослые замыкают их полукругом, надзирая за их поведением, причем не считается предосудительным, если здесь кто-либо посторонний из стариков пощиплет за виски или за уши какого-либо расшалившегося мальчугана.

Пение в церкви старинное, и хор всегда случайный, из желающих, причем, если запоет женщина, ей обязательно погрозят пальцем, т. к. пение, видимо, составляет привилегию мужчин и мальчиков.

Для развлечения молодежи в длинные зимние вечера устраиваются посиделки, или вечёрки. Это происходит так. Какая-либо девушка выпрашивает у матери или у родственницы на один вечер избу, в которую приглашает своих подруг. Те приходят с работой, преимущественно с пряжей или шитьем, и при тусклом освещении сального огарка или маленькой закопченной лампы прядут или шьют, сидя по лавкам, и поют песни. Но девахи, еще до этого, как только узнали о посиделках, сообщают одному или двум из знакомых парней, а то и просто ребята, бродя вечером по улице, сами услышат песни девиц и заходят беспрепятственно. Угощения на таких посиделках не бывает, разве какой-либо парень дешевых конфет или орехов принесет. Чаще всего здесь происходит то, что на местном языке имеет название «женихаются», т. е. парни сглядывают себе невест, а девушки женихов.

Любопытны в Шемонаихе летние игрища молодежи, происходящие на полянках, чаще всего у хлебозапасного магазина, а то и за селом на чистой открытой местности. В Шемонаихе, где девушек и парней насчитывается ежегодно по несколько сот, такая полянка в летние праздничные дни представляет из себя грандиозное зрелище по своей живой пестроте. Вся площадь усеяна живыми, движущимися красными, синими, зелеными, желтыми, голубыми и другими яркими цветами.



И несмотря на очевидную некультурность и непоэтичность взаимных отношений молодежи, от нее все же брызжет силой и здоровьем и веет простым и прочным смыслом.

К труду в Шемонаихе относятся с большой любовью, особенно к труду на земле. Любопытно наблюдать летом, выехав на любую из дорог, ведущих на покосы или пашни, когда в понедельник из Шемонаихи непрерывной нитью бегут бойкие, сытые пары лошадей, впряженные в простые телеги, усаженные здоровыми, полными смеха и песен мужчинами, женщинами, парнями и девицами. И особенно характерно то, что почти все молодежны едут отдельно, на особой паре, сидя близко друг к другу рядом, причем мужчины — в белых рубахах и штанах и войлочной шляпе лодочкой, а женщины — в красном сарафане и обязательно с какой-либо работой в руках — вязанье, вышиванье или шитье. Это на случай ненастья, росы и всякого вынужденного антракта в полевой работе. По целым неделям они не выезжая живут в поле, и всякая отдельная супружеская чета имеет свою холщовую палатку.

Шемонаевцы работать большие мастера. Это выносливые и проворные косари и жницы, и их бабы в редких случаях уступают своим мужьям.

И если близко присмотреться к жизни простого, не тронутого цивилизацией народа долины Убы, то можно увидеть в нем столько своеобразной красоты и прелести, что не трудно полюбить его больше, чем издерганную и выдохшуюся интеллигенцию, потерявшую пути к истинной жизни и способную только ныть и нытьем отравлять все светлое и яркое в жизни...

Недаром же Л. Н. Толстой в продолжение своей большой жизненной дороги пытался нас убедить в этом и из затхлой атмосферы города звал на чистый воздух, в просторное поле народной, простой жизни.

От Шемонаихи начинаются уже большие горы. Так, напротив села, на левом берегу, возвышается огромная гора, являющаяся углом целой горной гряды, ушедшей на восток. А на востоке от села стоит похожая на исполинский саркофаг гора Мохнатая, состоящая из сплошных гранитных утесов. Природа здесь уже становится наряднее.

На реке Убе в четырнадцать верстах выше Шемонаихи, на левом увале, на так называемом Овчинниковом лугу, имеется небольшой заселок, состоящий из двух-трех десятков небольших глинобитных и частью деревянных изб. Здесь водворены переселившиеся лет пятнадцать назад из Виленской губернии белорусы. Характерно воспоминание местных жителей о том, как первое время жили эти люди, не привыкшие к суровой сибирской природе. Приехали они под осень большим обозом. Все нарядные, в пиджаках, в узких брюках и лаковых сапогах, хотя и в посконных рубашках. На головах картузы и теплого ничего не было. Сами высокие, тонкие и белолицые. И вот все эти люди должны были наспех вырыть в земле, в яру увала, темные норы и жить в них всю зиму, еле умея добыть себе дров и хлеба. Но интересно, по замечанию сибиряков, то, что эти люди привезли с собою свою южную жизнерадостность, которая умерла в них только к нашим дням. По крайней мере, в первые годы в их земляных норах под звуки гармоники и скрипки очень часто танцевались мазурки, краковяки и польки всех сортов. Теперь они акклиматизировались, погрубели и стали зажиточнее. Причем большинство девушек вышло замуж за сибиряков, а большинство парней женилось на сибирячках, и скоро от белорусов останется одно воспоминание.

В шести верстах от заселка Овчинниковского есть старая, очень типичная деревня Выдриха, в которой еще лучше сохранилась старина средневековой Руси. Особые представители крестьянской

патриархальности могли бы служить материалом не только для литератора, но и для художника. Это не просто крестьяне, это богатые, умные и умеющие сохранять свое достоинство бояре... Таковы — местный крестьянин А. П. Фирсов, Степан Степанович Солдатов, Сухоруковы, Санаровы и много других... Последние годы, правда, в значительной степени подорвали их авторитет в глазах молодежи, но и теперь можно наблюдать семьи, где полновластным главою является старший член ее, перед которым все преклоняются, и воля его равняется волей свыше. Так, у Фирсова два сына, оба почти по-европейски воспитаны, бывают в Москве и ведут крупные торговые дела своего отца, но во всем спрашивают у своего отца, который грамоте научился после тридцати лет своего возраста и теперь грамотен и сведущ настолько, что по своим судебным делам с крестьянами выступает в качестве собственного юрисконсульта, и не без должной эрудиции.

Когда он был старшиною, то часто составлял бумаги на имя высшего начальства, к которому, кстати сказать, относится и до сих пор очень почтительно, и оно всегда находит в его обширном доме радушный и умелый прием. Его жена и снохи носят сарафаны, и вообще режим в его доме таков, что когда одна из снох пала жертвой соблазна в отсутствие своего мужа, бывшего в солдатах, то должна была искупить свой грех тем, что наложила на себя руки... Но мы не ставим такую патриархальность, как образец крестьянского семейного уклада, а напротив, как исключение, ибо А. П. Фирсов богачей не от трудов своих, а от чисто промышленных торговых оборотов, что, несомненно, стоит в связи с неизбежной эксплуатацией местного населения, среди которого А. П., хотя и пользуется почетом, но не пользуется любовью.

Другой патриарх, С. С. Солдатов, является святом Фирсова и отличается своей скупостью и замкнутостью. Многие свои десятки тысяч он хранит где-то в подземельях, а своим жене и снохам сарафаны и рубашки к празднику выдает из-под замка своеручно. Деньги свои он нажил хлебными операциями в старые годы, сплавляя хлеб на сотнях плотов в Семипалатинск и Омск.

Как и Фирсов, старик этот необычайного ума, но в противоположность прямому и громогласному Фирсову, он тих, молчалив и скрытен. Его ум остр и немного сатиричен, так что многие его остроты и изречения вошли в пословицу.

Как на более типичных патриархов можно указать на тех из глав семейств, которые занимаются исключительно земледельческим трудом, скотоводством и пчеловодством. Вся семья у таких патриархов находится в непрерывном труде, как и сам патриарх, зато без ущерба ближнему люди эти живут в полном достатке и независимости. Один из таких патриархов также был старшиною, и некий администратор попытал было попробовать на нем силу своих кулаков. Патриарх не отвел «высокоблагородного» кулака, но принял меры к тому, чтобы добиться справедливости, и добился. Высокое благородие было свергнуто с высокой должности. И вообще, если всмотреться в недавнее прошлое убинских старожилов, то все, что лучшее в нем было, — это патриархальность, охранявшая не только веру и чистоту нравов, но и человеческое достоинство. Этих людей нелегко было превратить в безропотных и безличных рабов. Это были люди с большой человеческой душой и мягким, отзывчивым к ближнему сердцем. Всякого незнакомого странника сами позовут, накормят, обогреют и вымоют в бане. Выругаться нехорошим словом, поесть молока в пятницу, послушаться

старшего — было редким и большим грехом, и оттого дети до двадцати лет были целомудренны, а семейные отношения освещались согласием, взаимным уважением и мирным трудолюбием...

Выше деревни Выдрихи, на правом берегу Убы, есть большое село Большая Речка, где имеются три церкви: православная, единоверческая и австрийская [135]. Народ здесь больше всего напоминает красноярский и убинский (села Убинского) и в значительной степени отличается от шемонаевцев и особенно выдрихинцев как по костюму, так и по общей картине нравов. В общем, конечно, это одни и те же «поляки», вышедшие из пределов Польши, где они скрывались от преследований Петра Великого за старую веру, но видоизменившиеся по разным причинам местного происхождения, в недавнем прошлом.

А еще выше, верст на двенадцать, на левом берегу Убы расположено огромное и самое верхнее в низовьях Убы село Верх-Убинское, или Лосиха, в общем от устья реки отстоящее в ста верстах. Это село является главнейшим пунктом убинского старообрядчества, т. к. здесь сосредоточены все многочисленные толки и секты русских раскольников. Здесь насчитывается до пяти тысяч жителей, есть три церкви, волость, целая площадь лавок, бывает ярмарка и есть каменные магазины. О жителях Лосихи мы скажем более подробно ниже.

## V. Страничка старины

В селе Лосиха, вместо существующей теперь Владимирской волости, раньше было Крутоберезовское волостное правление, а еще раньше, именно в конце XVIII столетия, была Крутоберезовская земская изба, подчиненная управляющей тогда всем горным Алтаем Канцелярии Кольвано-Воскресенского горного начальства [136]. При

архиве волостного правления и до наших дней сохранились любопытные документы древнего делопроизводства, среди которых имеются даже рапорты сельских властей, писанные на бересте. Некоторые бумаги конца XVIII века и начала XIX нам удалось достать в подлиннике. Это список с манифеста императора Павла I о бракосочетании дочери его, великой княгини Александры Павловны, список с манифеста императора Александра Благословенного о созыве войск на Отечественную войну 1812 года, указы от Колывано-Воскресенского горного начальства, приказы земских управителей и рапорты сельских старшин. Документы эти любопытны по их содержанию, а также как памятник старинной каллиграфии; что же касается их слога и языка, то современные казенные канцелярии едва ли ушли от них в своем прогрессе, хотя и пишут уже посредством Ремингтона [137]. Я приведу тексты лишь трех таких бумаг, больше всего характеризующих дух старого времени.

«Приказъ. Въ Круто-березовское волостное Правленіе.

Господинъ маіор Голенищевъ-Кутузовъ рапортомъ по такому жъ к нему редута Плоскова отъ казацкаго пятидесятника Коломна доносить, что из того редута, отпущенные до деревни Старо-Алейской казаки Максимъ Даниловъ и Исакъ Карповъ, гдѣ они прежде жительство имѣли, для забранья хлѣба и своего собственнаго экипажа, на срокъ не явились, почему посыланъ был нарочный казакъ, коему Старо-Алейской деревни жители объявили, что тѣ казаки отправились на двухъ лошадахъ въ одной телѣгѣ в деревню Плоскую, потомъ на редутъ Плоской не бывали, а лошади ихъ нашлись пониже деревни Екатерининской по теченію на правой сторонѣ Алея и по объявленію перевозчиковъ-крестьянъ, что того жъ числа съ перевозу украдена одна лодка, а потому видно, что тѣ казаки бѣжали. Примѣтами

жъ оныя, Даниловъ: двух аршинъ семи вершковъ, лицомъ бѣлъ, волосы и брови русые, голова клиномъ, на лѣвой ногѣ рубецъ. Карповъ: ростомъ двух аршинъ пяти вершковъ, лицомъ смугль, глаза каріе, волосы и брови темнорусые, на лѣвомъ боку белое пятно. На нихъ одежды: на первомъ армякъ, шуба поношенная, опояска шерстяная, шляпа, черки, чулки шерстяные; на второмъ шапка верверетовая круглая, армякъ, шуба поношенная, опояска шерстяная, сапоги. С собою снесли ружье, винтовок двѣ, дробовикъ одинъ, двѣ сумы съ сухарями, которыя по мнотомуйску нигдѣ не найдены. Для того Крутоберезовское Волостное Правленіе имѣеть о присматриваніи и о поймѣ веденія своего жителямъ распубликовать и ежели где найдутся, оныхъ забить в крепкіе колодки и за стражею прислать въ крѣпость Устькаменогорскую. Генерал маіор — (подпись неразборчива) мая 27 дня 1799 года, № 167. г. Устькаменогорской».

Это, так сказать, старинное удостоверение того, как раньше убегали. А убегали сплошь да рядом, и убегали, надо думать, не от сладкой жизни.

А вот второй памятник старины.

«Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссійскаго изъ Канцеляріи Колыванно-Воскресенскаго горнаго начальства Крутоберезовскому волостному правленію.

Сообщеніемъ Тобольское губернское правленіе дня 3 числа минувшаго мая с. г. знать даетъ, что состоящая на крестьянинѣ Тихонѣ Іевлевѣ недоимка по указу правительствующаго сената изъ I-го департамента дня 6 мая 1798 года сложена. А по справкѣ оказалось онаго крестьянина Іевлева вслѣдствіе требованія его черезъ управителя Крутоберезовскимъ волостнымъ правленіемъ къ высылкѣ в свое жительство по случаю накопившейся на немъ немалой казенной недоимки и къ справленію съ прочими крестьянами наряду заводской работы посланы къ управляющему в Барнауль благочиніемъ г. Маіору

Зубареву и Крутоберезовскому волостному правленію указами велѣно: Зубареву Іевлева отослать при врачебномъ письменномъ видѣ за обывательскою стражею въ оное волостное правленіе, на что онъ г. Зубаревъ донесъ, что крестьянинъ Іевлевъ въ волостное правленіе 2 числа марта сего года высланъ, а волостному правленію при присылкѣ того Іевлева въ неотлучкѣ изъ своего жительства отдать на вѣрное поручительство или волостному правленію имѣть за нимъ присмотръ и кромѣ исправленія заводскихъ работъ никуда не отпускать, при чемъ стараться взыскивать съ него не только Государственныя подати и исправленіе заводскихъ работъ, но и въ число состоящей на немъ по винному содержанію недоимки, сколько возможно будетъ въ годъ, однако жъ не менѣе 24 руб. (*Предполагается ассигнаціями: рубль считался около 35 коп. — сумма франц. франка*) и отсылать тѣ деньги къ записѣ въ приходъ въ уѣздное казначейство. Канцелярія горного начальства приказала: о вышепрописанномъ оному Крутоберезовскому волостному правленію дать знать указомъ. Іюня 17 дня 1799 года. Иванъ Алексеевъ. Секретарь Василій Протопоповъ. Канцелярист Семень Черчебинъ. № 4974».

Итак, правительствующий сенат недоимку с Іевлева сложил, а Канцелярія, из которой почему-то повелеваютъ указомъ Его Величества, приказываетъ взыскать с Іевлева не только недоимки, но и работы, и налоги «по винному содержанію» и, сверхъ всего, никуда его не отпускать, кроме какъ на заводскіе работы.

Приведу еще одну бумагу изъ архива, которая характеризуетъ старое время с совершенно иной стороны, т. е. время, когда и урядниковъ — за ихъ непристойность — простые старосты заколачивали въ крепкіе колодки и представляли куда следуетъ... (Мы объ этомъ мечтать уже не можемъ.)



«Въ Крутоберезовское волостное правление деревни Большерѣченской отъ старшинъ Травникова и Кирьянова. Рапортъ. Урядникъ Петръ Груздевъ, напившись пьянъ который на лошади ѣздит и всякаго ругаетъ и меня старшину и заманивается на каждого плетью и отставного Федора Яркова также всячески ругаль и называлъ меня прохвостомъ, а именно за то, что я не пустил со скотиною в селеніе и всю сходку и старшину обзывать всехъ ворами. При семъ урядникъ Груздевъ за буйство въ колодкѣ представляется. Сентября 5 дня 1812 года. Сельская приложена (печать)».

Но это, в своем роде, исключение, да и урядник Груздев, вероятно, совсем иного типа, нежели современные его коллеги. Больше всего бумаг в Крутоберезовском архиве, так сказать розыскного характера... Ищут подати, ищут беглых, ищут для отбывания телесного наказания розгами и шпицрутенами, ищут отступников от православной веры и ищут бродяг и колодников.

Недостаток времени не дал нам возможности глубже и продолжительнее погрузиться в Крутоберезовский архив, в котором можно достать очень богатый исторический материал.

Словом, все эти крепкие столетние бумаги знакомят нас с тем железным режимом, который когда-то беспощадно давил обитателей Убы: заколачивал в крепкие колодки, обращал в бегство, принуждал к каторжной работе. И неудивительно поэтому, что верховья Убы с их дремучими лесами, теснинами и глушью являлись лучшим убежищем бесчисленных беглецов.

Вот эти-то беглецы: от наказанья, от тяжкого ярма, от платежа непосильных податей и от всевозможных притеснений и гонений за веру — и были первыми обитателями верховьев реки Убы.

Относительно охранения православия и тогда еще были особые духовные учреждения, что мы усматриваем из бумаг того же архива. Так, например, земский управитель Ахвердов от 31 января 1799 г. за № 166 приказывает Крутоберезовскому волостному правлению:

«Препровождая при семь въ оное правленіе два семипалатинскаго духовнаго десятоначества сообщенія, предписываю немедленно произвести по онымъ на законномъ основаніи слѣдствіе, которое и съ сими бумагами по окончаніи представить мнѣ».

Это значит, что некое духовное десятоначество производило бдительный сыск над убинцами в их религиозных исканиях и преследовало на законном основании.

На основании же других преданий был в начале XIX века следующий случай.

В верховья Убы для розыска некоторых бежавших преступников был выслан военный отряд. Отряд этот вернулся в Лосиху с доброй сотней разных обитателей верховьев Убы. Большинство из них не были ни в чем виновны, кроме неплатежа податей, и жили в лесу из страха перед начальством. Но всех их отдали под суд как беглых бродяг и посадили в Усть-Каменогорский острог. Тогда вступились две деревни, Лосиха и Малая Убинка, и стали хлопотать о выдаче подсудимых им на поручение. Хлопотали долго и при большом расходе. Наконец, добились, что все арестованные им были выданы. И вот все эти взятые на поруки убинцы стали поочередно «умирать». В течение почти трех месяцев они все, около ста человек, «умерли и похоронены», т. е. другими словами, снова ушли в верховья Убы под новыми именами и фамилиями, хотя всем им торжественно и были справлены поминки...

Имена и фамилии они давали себе сами путем самокрещения. А крестили себя просто: разденут-

ся и с молитвой погрузятся в воду реки Убы, надев чистое белье и назовут себя по святым новым именем. Отсюда произошли так называемые «самокресты», которые значительное время и населяли реку Убу в верхнем ее течении.

## **VI. Убинские староверы вообще и поморское законобрачное согласие в частности**

Появление на Убе русских раскольников имеет свою обширную и интересную историю, о которой мы скажем в другой работе. В настоящем же очерке мы остановимся на кратком ознакомлении читателя со староверами на Убе в том виде, в каком они находились в последнее время и в котором находятся теперь.

После завоевания Польши, где они скрывались от преследования русских властей, их сотнями семей выслали в Сибирь, и часть этих-то «поляков», или, по-забайкальскому — «семейских», поселились в глухих и потаенных уголках Алтая, в том числе и на реке Убе, долина которой привлекла их красотой природы и богатством почвы.

В данное время на Убе есть следующие сектанты: единоверцы; австрийцы; старики (они же беглопоповцы); федосеевцы; спасовщики, или нетовцы; самокресты; оховцы, или воздыханцы; однопоклонники, или дырники и, наконец, поморцы. Мы кратко укажем на главные отличия этих толков между собой.

Австрийцы приближаются к единоверию, ибо признают священство, но, в отличие от единоверия, священство это ставят свое, руководствуясь правилами так называемой Белокриницкой иерархии.

Единоверцы же от православных отличаются лишь сохранением дониконианского текста в служебных книгах, придерживаются двуперстного креста и старинных обрядов в богослужении и пении.

Стариковцы сами себя характеризуют так: «Мы никуда не пошедши», т. е. обходятся без попов, при посредстве своих стариков или дьяков, в большинстве случаев грамотных и пользующихся всеобщим уважением. Однако они же приглашают к себе беглых или расстриженных попов, которых предварительно обязывают проклясть «никонианские ереси». Эти попы иногда наезжают и служат, а также снабжают стариков святыми дарами, которыми те пользуются иногда по десятку лет, сохраняя их на сухариках или разводя медом. Поэтому-то стариковцы называются и беглопоповцами.

Федосеевцы — это те же поморцы, но секта эта учреждена старцем Федосеем Васильевичем еще в конце XVII века, когда он бежал от Петровских строгостей в Польшу. Эта секта не признает священства, пока не будет учреждена иерархия по книгам и обрядам древнего христианства, поэтому временно оно обходится, как и поморцы, своими стариками. Но отличие поморцев заключается в том, что они признают законность брака, а федосеевцы допускают брак под условием епитимьи и всю жизнь женщину замужнюю считают блудной девицей, так как по заветам Федосея Васильевича сыны его секты могут спастись лишь безбрачными, а если допускают брак, то это уж блуд, несущий с собою наказание.

Поморцы — это, следовательно, то же, что федосеевцы, но они считают факт пришествия Антихриста совершившимся и строго ограничивают себя от всех новшеств, признавая их еретичеством скверным. Называются они поморцами потому, что основали свою секту на северном поморье, в Выговской пустыни.

Спасовщики говорят, что нужно молиться и каяться одному Спасу, без всяких свидетелей и посредников. А так как многие из них не признают

ничего и никого, кроме Бога, то их называют нетовцами, хотя есть версия, что нетовцы, кроме того, отвергают всякую необходимость спорить из-за веры.

Самокресты — это такая секта, которая не признает иного крещения, как крещения по разумению, т. е. взрослыми, когда крестящийся сам может разбираться, какая вера, по его мнению, более истинна. Крестятся эти раскольники собственноручно с молитвой по псалтырю и с именем по святцам.

Оховцы, или воздыханцы, — это люди, сознающие греховность жизни своей и предпочитающие вместо молитвы и обрядов всегда помнить и вздыхать о грехах своих.

Однопоклонники — это люди, не признающие никакого предметного божества, кроме божества вне времени и пространства. Поэтому они поклоняются одному Богу и обязательно под открытым небом, кланяясь на восток. А когда молятся в закрытых помещениях, то открывают какое-либо специально устроенное отверстие. Отсюда и называют их «дырниками».

Была на Убе еще так называемая белоногая вера. Это вот что значит: приезжал в <18>60-х годах в Сибирь под строгим инкогнито беглый раскольник архиерей, который везде отправлял службу с омовением ног, т. е. держал ноги белыми, и кто последовал ему, того и называли «белоногим».

Когда приходится встречать эти иногда курьезные названия, то следует иметь в виду, что в силу постоянных религиозных споров сектанты часто острят друг над другом и названия «оховцы», «нетовцы», «дырники», «белоножки» и др. дают не сами себе, а другу, стараясь этим уязвить противника.

Обилие верований, с одной стороны, и потеря главных руководителей и патриархов, которых разными административными мерами устраняли с Убы — с другой, способствовали еще большим

спорам и дроблениям, и среди раскольников получилось замешательство. Они чаще стали спорить и сомневаться, чаще переходить из веры в веру и вместе с тем утрачивать прежнюю аскетическую стойкость и подвижничество.

Но искра искания истины не гасла у староверов, и один из наиболее твердых и предприимчивых раскольников, житель верхубинских дебрей — Иван Федотыч Егоров, будучи уже пятидесятилетним стариком, посылает своего старшего сына, двадцатилетнего юношу Нифантия, в далекую сторону — в сибирскую тайгу, где должны скрываться истинные раскольники, найти истинную веру Христову.

Было это в <18>80-х годах, когда и отсутствие путей сообщения в Сибири, и гонение на староверов требовали от юного искателя веры большой находчивости и самостоятельности.

Нифант отправляется в путешествие, как и другие странники «Бога ради», и долгое время пропадает без вести, странствуя по глухим углам томской тайги.

Наконец где-то на реке Яе он знакомится со старообрядческим семейством поморцев Нифантовых. Здесь он долгое время живет, присматривается к их обычаям и религии и находит, что это то самое, зачем послал его отец. Вполне усвоивший все мотивы и запасшийся книгами, он, однако, не принимает сразу новую веру, но возвращается в убинские леса к отцу, которого и знакомит детально со святым багажом, вынесенным из путешествия.

Старик отец, пораженный откровением, в тот же месяц шлет всех своих сыновей, тогда еще молодых, в разные концы Убы и даже на реку Алей с вестью, чтобы все старообрядцы, желающие объединиться в истинной вере, собрались в село Бобровское, где в то время жили самые крепкие

староверы, и было их больше, чем в Лосихе. И вот назавтра со всех концов Убы и Алея верхами мчатся угрюмые седобородые христиане, причем из одной только Гилевой, что на Алее, выехало около шестидесяти всадников и проехало больше ста верст в одну ночь.

Представьте себе, что где-то в угрюмой и дикой стране, по горным тропам, темной ночью, во весь опор мчится больше ста верст эта кавалькада в шестьдесят стариков-витязей, в зипунах и рукавицах, на самолучших взмысленных конях затем, чтобы проверить, а может быть, и отстоять свою духовную правду..

Но первый духовный собор в селе Бобровке не приемлет новую веру Егорова. И после шумной беседы, продолжавшейся около двух дней, все разъезжаются, не сдавшись.

Но не успокоившийся Егоров вскоре собирает второй собор в Лосихе, но и здесь, благодаря огромному влиянию местного дьяка Федосеевского согласия, многие из сомневающихся примыкают к федосеевцам, а вера Егорова опять остается неприемлемой. Тогда молодой начетчик Нифантий Егоров разъясняет отцу, что федосеевцы должны быть безбрачными, тогда как лосевские федосеевцы все женятся. Это вдохновляет старика Егорова организовать третий собор, который он устраивает уже в деревне Гилевой, на берегу Алея. Но и здесь после долгих религиозных споров старик Егоров должен был убедиться, что его предложение не пройдет. Тогда он при тысячном стечении народа единолично и собственноручно крестится в реке Алее и первый принимает веру, которую привез его сын с реки Яи.

Это и было первое на Убе принятие исповедания так называемого Поморского законобрачного согласия. Но старик Егоров долгое время является

одиноким в своей вере и даже члены его семьи и сын Нифантий не решаются принять новую веру. Старик отдельно пьет и ест, отдельно молится и через год полного аскетизма побеждает. Сначала крестятся его дети, затем некоторые соседи, позже начинают у него креститься лосевцы, приезжая к нему, как к первосвященнику, десятками.

А к рассматриваемому нами времени поморское законобрачное согласие является преобладающим уже во всех верховьях Убы, и все остальные секты совершенно теряются среди поморцев, исключая, конечно, нижеубинских австрийцев и стариковцев, живущих в стороне от Убы. Поморцы — неустанные деятели, непримиримые спорщики, и широкая проповедь их является одной из главных черт их жизни. Кроме того, это удивительно впечатлительный, подвижной и до хитрости сметливый народ.

Теперь поморское согласие является главенствующим и по социальному, вернее экономическому, значению для лосевцев и верхубинцев. Это понятно вот почему. Теперь почти все богатые крестьяне перешли в поморство, и иметь дело с ними непоморцам, в большинстве случаев, не только неудобно, но и невыгодно. В брак с поморкой не вступишь, пока не примешь поморства сам, точно так же и не выдашь своей дочери за поморца, не превратив ее в поморку. Дальше: все поморцы имеют огромные пасеки, скотоводство и другие отрасли хозяйства. Сношения с ними на этой почве непоморцам крайне затруднительны, точно так же и в отношении общественных интересов: поморцы, благодаря своей сплоченности, всегда возьмут перевес, а потому большинство непоморцев идет в их веру из чисто экономических выгод. Вот почему, следовательно, и главари поморства всячески содействуют укреплению сво-



ей веры и приобщению к ней большого количества прихожан. И действительно, среди поморцев очень трудно найти бедняка.

Под условием не проходить вперед и не молиться мне удалось попасть на богослужение поморцев в их молитвенный дом в селе Лосиха, потому я считаю нужным поделиться и этими впечатлениями. Вообще, для лучшей характеристики некоторых бытовых черт убинских старообрядцев, я приведу несколько кратких штрихов.

Лосевский молитвенный дом снаружи имеет вид обыкновенной раскрашенной деревянной церкви с колокольней наверху, с оградой вокруг и с тремя главами. Внутри же он имеет форму большого четырехугольного и продолговатого зала с гладким потолком, с некрашеными стенами и без алтаря. Иконостас представляет собою несколько ярусов поставленных в ряд старинных икон на передней стене. Перед каждой иконой горит свечка домашней работы из желтого «ярого» воска, а перед амвоном — люстра в девять свечей. Всюду в молитвенном доме поставлены скамьи, табуреты и лавки. Когда я вошел, сопровождаемый острыми взглядами староверов, служба еще не началась. Все сидели на скамьях, а дети на амвоне [138], спиной к иконостасу. Молодой дьяк стоял у аналая [139] и нараспев читал евангелие. Слушали все, хотя некоторые, увидев меня, стали перешептываться.

Кончилось чтение, и старший дьяк, одетый просто в черную поддевку из нанбука, вошел на амвон и, перекрестившись двуперстно [140], замер в неподвижной позе.

Все зашевелились, встали с мест и стали класть «начало». «Начало» кладут перед всякой продолжительной молитвой. Все враз перекрестятся и трижды поклонятся в землю, каждый, вслух произнося краткую молитву. От общих поклонов и

общей молитвы вслух на минуту водворится глухой шум, будто ворвалась буря. Затем тотчас же, как по одному мановению, все смолкает, и все как по команде замирают в неподвижной позе, поджав кисти рук под мышки и смотря на иконы. Все женщины, стоящие слева позади, одеты в черные юбки и платки, повязанные по-русски, а все мужчины приходят в церковь в черных длинных поддевах, глухо застегнутых на груди, и в черных же бутлах, подвязанных ниже колен. По приходе в молитвенный дом молящийся широко крестится, с размаху делает поясной поклон, затем достает из кармана четырехугольную, сшитую из цветной материи, подушечку, бросает ее на пол и отдает земной поклон, опираясь на нее. Затем встанет, повернется лицом к входу и на три стороны поклонится всем молящимся. Эти подушечки в изобилии висят на стенах вместе с шапками и лежат на скамьях для желающих. Характерно, что и дети от шести до двенадцати лет, иногда босые, без шапок на совершенно кремowych головах, но в черных поддевах, также с размаху кланяются сначала иконам и, взяв кисти рук под мышки, замирают в неподвижной позе, поставив ноги пятками в ряд. В отдельности никто не молится — все в одно мгновение, смотря на дьяка. Пение старинное, болезненно-ноющее и обязательно надтреснутыми, как бы дребезжащими голосами, производимыми скорее носом, нежели горлом. Слушая это пение, невольно уносишься в первые века христианства, когда, гонимые язычеством христиане пели где-либо в подземельях, в пещерах, и когда, наряду со славословием Бога, они не могли не выразить в голосе своих мученических страданий и скорби.

По окончании службы все садятся на скамьи, начинают разговаривать, и уходят лишь некото-

рые, но большинство ожидает здесь же собеседования, иногда на общественные темы, но больше, на религиозные. В это время ко мне по очереди подошли несколько староверов с вопросами, что я за человек? Когда я объяснил, не скрывая своей цели, тогда они поинтересовались моей верой. И вот каждый из них, получив ответ, что я православный, т. е. никонианин, быстро отходил от меня и начинал торопливо молиться и кланяться.

Я приведу один из отрывков междумолитвенного собеседования.

Старший дьякон берет евангелие, садится на простую тяжелую скамью и нараспев начинает читать его, то и дело, разъясняя слушателям текст. Например:

Текст: «Иже возлюбитъ отца или мать свою паче Мене — нѣсть Мене достоинъ!»

Комментарий дьяка:

— Ишь вот Он что говорит, Господь-то. Значит, примерно, отец али мать советуют тебе переменить истинную веру — отшатнись от них, прийди к Господу Богу... Значит, ради истинной веры, даже отца и матери не слушаться Он дозволяет.

Слушатели жадно ловят каждое слово и как бы в назидание кому-то, оглядываясь назад, дают следующие реплики:

— Гм... Ишь вот оно как!

— Да, вот Он значит, Господь-то!..

— Ну, дак ведь, оно не зря и сказано...

— На вот! На то и святое писанье!..

А на одной из средних скамей сидит огромный мужик с большой седой бородой и совсем еще молодым лицом, задернутый нос которого придает ему выражение веселости и задора, и громадным басом говорит:

— Вот я и говорю Семену Прокопьевичу-то... австрияк ведь он — пошто же, мол, ты не идешь к

нам? А он молвит мне: «Крепко-то крепко вы молитесь, спаси вас Бог, а все-таки, говорит, бросить свою боязну, потому, говорит, — родители так молились!» А оно, ишь вот чё, сказано!

А дьяк продолжает:

«Иже возлюбить братъ или дочь свою паче Мене — нѣсть Мене достоин!»

А большой мужчина опять поддакивает:

— Да-а! Значит, от всех сродственников?

И дьяк поверх очков победоносно оглядывает присутствующих, пока сказанные слова не произведут должного эффекта.

После собеседования начинается служба часов [141], во время которых дьяк скромно и тихо дает возгласы и из особой кадильницы с ручкой, производит каждение. Кадит он каждую икону правой рукой крестообразно, причем перед каждой иконой отдельно крестится, затем кадит молящихся, которые в это время подставляют пригоршни.

По окончании часов я просил показать мне находящуюся в церковной ограде старообрядческую школу, только что выстроенную, но не отделанную, в которой обучают по псалтири и по старинке, давая школьникам указку. Староверы согласились, но после осмотра мною школы произошел маленький инцидент. Меня окружила большая толпа мужчин и стала довольно недружелюбно допрашивать меня, кто я, зачем, почему и имею ли документ.

Выдвинулся вперед некто Акипсим Евтеевич Карлов. Это пожилой, но энергичный кержак с полуседой бородой и острыми синими глазами, смотрящими презрительно:

— Да ты признавайся: студент ты?

— Нет, не студент!

— А я говорю — студент!

— Ну хорошо, пусть студент! — говорю.

— Ага, студент! Значит еретик и супротивник! Я говорю вам, — обращается он к прочим, — што нечего толковать с ним!..

Остальные мужики неодобрительно на меня косились. Положение создалось смешное и неприятное. Пришлось повысить голос, чтобы овладеть вниманием толпы.

После непродолжительного объяснения о том, что студенты не враги никому вообще, а я в частности, я попросил проводить меня к их старшему дьяку. Он оказался здесь же. Это небольшой, но коренастый и смуглый старик с умными серыми глазами — Григорий Арефьевич Козлов.

Он снисходительно согласился побеседовать со мною, но назначил для этого вечерние часы, когда он вернется с пасеки.

Пока что меня оставили на свободе, но неугомонный Акипсим все время следил за мною и то и дело с группой мужиков проходил мимо моей квартиры, а когда я после обеда отправился к Козлову, он встретил меня на улице, окруженный целой толпой любопытствующих, и услужливо сопровождал меня до дьяка.

У Козлова мы устроили целую беседу, которая началась тем, что Акипсим стал насмешливо исповедовать меня, засыпая священными текстами и своеобразными, не совсем цензурными каламбурами...

Очень долго Акипсим форсил передо мною своим красноречием и свободой мысли, но приехал с пасеки верхом дьяк Козлов, и он услужливо взял его лошадь и стал расседывать.

Затем в просторной и опрятной русской избе Григория Арефьевича за крепким сосновым столом под руководством умного и степенного хозяина мы долго беседовали, и здесь Акипсим говорил со мной уже как со взрослым и вел себя благопристойно, а по окончании беседы мы рас-

стались совершенно довольные друг другом, причем все присутствующие относились ко мне уже не свысока, а как к равному и с полным доверием, поведав мне самые <глубокие> тайны минувших своих бед и напастей.

А напасти были настолько велики, что до указа 17 апреля 1905 года [142] старообрядцу нельзя было ни родиться, ни умереть, т. к. ни обряда крещения, ни обряда погребения совершить было нельзя.

Преследовали не только священники, но и все, кому хотелось поживиться на счет староверов.

— Соберутся у кого-либо два старообрядца — сейчас же обыск. Если не нашли книг, а увидели только капельку воска — придирка: значит, молились, значит, протокол!.. Лет пятнадцать назад в одно из тайных богослужений ворвались под председательством священника местные поселковые казаки и, разбросав все книги и иконы, избили и разогнали всех старообрядцев.

Кроме сказанного, Лосиха весьма характерна еще очень частыми старообрядческими молебнами. Молебны эти устраиваются таким образом. Какая-либо староверческая семья, как из поморского, так из других согласий, приглашает к себе дьяка, певчих и молящихся, т. е. своих родных и знакомых, и просит их помолиться о здравии данной семьи или отдельного члена ее, а нередко, и за упокой какого-либо усопшего. Но прежде чем созвать молебен, варят хорошее медовое пиво и готовят много стряпни. После непродолжительной молитвы все усаживаются за столы и с молитвой во славу Божию начинают питаться. Хозяева беспрерывно обносят всех медовым пивом, которое так хмельно, что двух-трех стаканов достаточно, чтобы не привыкший к нему не смог подняться с места. Но привыкшие лосевцы выпивают его много и вскоре от молитв переходят к оживленным разговорам, затем

мало-помалу затягивают песню... И скучные будни нецветистой жизни таким образом нарушены до следующего объединяющего всех молебна.

Правда, такие молебны нередко кончаются рукопашной, но зато все ее последствия староверы разрешают собственными средствами и по преимуществу мировой на новом молебне...

В заключение моего очерка приведу несколько беглых сценок, рисующих бытовую сторону убинских старообрядцев.

Наибольшей людностью в селах по Убе отличаются торговые лавки, в которых жители узнают злободневные новости, публикуют события, обмениваются впечатлениями и просто глазуют. Здесь можно иногда наблюдать весьма интересные сценки.

Так, например, входя в лавку, крестьяне отыскивают глазами икону своего «согласия», т. к. в лавках всегда три иконы: православная, стариковская и поморская, и если молится поморец, то стариковец одновременно молиться не станет, а выждет. Бывает и так: входит девушка, здоровая, белокурая и румяная, с гладко прилизанной белой косой, а перед иконой ее у прилавка стоит киргиз. Она крестится и, смотря на киргиза, говорит:

— У-у, дьявол!

Это, выходит, вместо молитвы, и киргиз добродушно смеется:

— Ты, видно, черту молишься?!. Ой, джеман урус: вера твоя туда-сюда болтает!..

Входит мужичок, по-казачьи одетый, с шапкой на ухо, видимо, идущий издалека в леса на промыслы и приважно озирается по сторонам.

— Что нужно? — спрашивает приказчик.

— Погоди! Надо поглядеть сперва!

Долго смотрит на полки и затем торжественно произносит:

— А ну-ка, дай осьмушку махорки!

— А еще что?

— А больше ничего! — и лезет за голенище достать четыре копейки за табак.

Присутствующие староверы сурово отвертываются и презрительно сплевывают.

Входят двое: старенькая, совсем иссушенная жизнью баба и высокий, уже пожилой и бородастый сын ее, одетый в длинную коричневую рубаху, войлочную шляпу и бутылы. Старушка в красном подшальке и нарядной покромке [143] кладет на прилавок свои черные жилистые руки и, приглядываясь к полкам, щурит свои слезящиеся глаза.

Мужик говорит:

— Дай-ка, торговый, чего-нибудь покрасивше на сарафан!

Старуха, улыбаясь, вытирает крючковатую руку и без того сухие губы свои и протестует:

— Ой, да на што мне, старухе, покрасивше-то!

— Да пофорси ты у меня! Умрешь скоро, дак и не доведется больше мне наряжать-то тебя, — возражает он строго...

Старухе это нравится, она радостно хихикает и не противится.

Посреди лавки стоят, разговаривая, две полные молодые бабы, нарядно одетые. Одна с новым подойником на руке, а у другой в руках моток цветного гаруса. В это время с улицы входит подвыпивший лысый мужик и, взяв одну из баб за плечо левой рукой, правой показывает на нее, и устремив глаза к приказчику, восхищенно кричит:

— Баба-то! Баба-то, глядь, какая! Ровно перина, едят ее мухи!..

Та хихикает, швыркает носом и, отгибая на бок голову, косится через плечо на подругу и надменно молвит:

— Ишь че!.. Гляди-ка ты на ево!..

И такие сценки, иногда чрезвычайно художественные по содержанию, можно наблюдать почти во всех убинских селениях.



В общем, жизнь убинского народа всегда полна своеобразного интереса, особенно в зимнее время, когда учащаются вечерки, пирушки, молебны и свадьбы. Тогда можно наблюдать действительное кипение и душ, и сердец этого скромного и неприглядного во время трудового лета народа.

Одетая во все красное, с румяными от здоровья и мороза лицами, молодежь просится на картину. Громкие, лихие и стройные песни, удалые тройки и пары, убранные лентами и кистями гаруса, раскрашенные кошевы и пошевни [144], расшитые бархатные халаты и рекой льющаяся медовая брага. Это не жизнь, а сплошная оригинальная опера, и для любителей русского жанра здесь широкое поле для художественной жатвы, будь этот любитель поэт, художник или даже композитор...

## VII. Средняя Уба и ее пороги

От Лосихи русло Убы идет извилистым и высоким коридором между громадных гор, покрытых лесом. Природа здесь в значительной степени приближается к природе Катунского Алтая, а так как здесь южнее и постоянное климат, то местная флора еще богаче и цветенье ее продолжительнее. Вся долина реки Убы в среднем ее течении заселена староверами, и преимущественно поморцами. Так каждое устье впадающих в Убу многочисленных речек имеет по три-по четыре заимки, на которых всегда имеется от двух до шести дворов. Занимаются жители, главным образом, скотоводством и пчеловодством, частью лесосплавом, а с недавних пор, когда поредели леса на крутых склонах и на высоких горных террасах, стали появляться хлебные полосы. Они висят, как панно или картины, и ласкают взгляд своей яркой бархатистой зеленью.

Для более полной характеристики убинской природы, я приведу картинку своего путешествия по одной из тропинок на берегу Убы.

Капризной, тонкой и кривой паутинкой вьется эта горная тропа по обрывистому притору [145].

Внизу голубой широкой лентой шумит Уба, ополаскивая крупные валуны, похожие на пышные и большие пшеничные булки. А там, где Уба стихла в глубоком плесе, будто на отдыхе, она отразила в себе голубой лоскут неба и крупный утес противоположного берега, увенчанный темными пихтами, и кажется, что повиснув вниз верхушки, отраженные пихты смотрят в беспредельную глубь опрокинутого неба.

Вечерет...

Оранжевые тучи с золотыми краями тихо и беззвучно выползают из-за высокой лохматой горы, будто идут по ее темени и тоже отражаются в воде золотым пожаром... И оттого что солнце склонилось за верхушку другой остроконечной горы, от нее брошена голубоватая прохладная тень на подолаы ее соседок, и, подрезанные тенью внизу, они кажутся покрытыми сверху красно-зеленым колпаком и весело улыбаются прощальному свету дня... Будто просветленные какой-то торжественной радостью, вспыхнули их кроны огнем молитвы и тихо ждут ночного дремотного покоя...

По краям тропинки высокая и сочная трава. Лошадь моя идет медленно и срывает ее цветущие верхушки. Сзади, заворотив бородатое лицо вверх, к вершине горы, едет мой товарищ Дементий Федорыч и про себя потихоньку что-то мурлычет и в такт шагов своей лошади качает бутылками, воткнутыми в гнутые из черемухи стремяна.

Мы едем все выше, все выше и, наконец, пересекаем голубую линию тени, очутившись в пределах золотого колпака, одетого закатом солнца...

Вот тропа выползает на крутой и совсем отвесный обрыв и высокий перевал, откуда бросается в головокружительную пропасть.

На вершине останавливаемся, залюбовавшись поразительной пышностью и величием открывшейся панорамы... Вдали — огромные и сизые силуэты горных хребтов, вблизи — темно-зеленые цепи Убинской долины и темно-синий лабиринт бесконечных морщин, прорытых настойчивостью горных потоков... Альпийские луга, щетина лесов, и все это, позолоченное сверху и густо затушеванное внизу приникшими предвечерними тенями, создает впечатление чего-то сказочного, что властно уносит в мир иных ощущений.

А Дементий все еще мурлычет и смотрит уже вниз на глубоко запавшую в ущелье Убу, и, подбоченясь рукой о свое бедро, он в своем кошённом шишаке напоминает мне былинного витязя, размышляющего у трех дорог, куда ему ехать.

Любуюсь им и не хочу, чтобы он шевелился, будто это легендарный окаменелый богатырь, слившийся с массивом горы.

— Ну, шевели давай! — говорит он просто и дружески. — А то там есть неловкий притор еще — ночью-то не ладно там...

— А что?

— Да неловко, мол, оборваться недолго...

Поползли вниз, готовые каждую минуту показаться по-заячьи, кувырком... Но об этом не думаешь, потому что окрыленная красотой душа летит где-то над синевой ущелий, над прохладой лесов и над неподвижностью угрюмого величия скал...

Ветви деревьев царапают, толкаются, а лошади задних ног не переставляют и тихо, перебирая передними, плывут, плывут вниз по влажной кривой тропе...

И вокруг этот самобытный лес.

Рядом с высокой стройной пихтой стоит непринужденно выросшая береза, склонившись на плечо могучей осины, рядом с догнивающей упав-

шей лесиной — цепь молодых елей, черемухи, калины и берез. Вот иструхший пенёк, и из середины его поднялась молодая акация, а вот у ствола старой ели — огромный муравьиный замок, высотой до двух аршин и до трех аршин в диаметре. Вот лежит, как большая изба, покрытая мхом каменная глыба, и из-под нее сочится светлый ручеек, образуя ниже маленькое озерко. Вот заросшие травой и молодыми кустами вершины старых берез: они белы и звонки, как высохшие кости верблюда. Вот почти изгнивший и кем-то, видимо, давно заготовленный, но не взятый строевой лес, а вот, как монахи в рясе, обгоревшие, высохшие пихтовые пни, памятники опустошительных пожаров. А дальше деревья бегут в гору все выше и выше на самые готически-причудливые конусы, где, как острые иглы, стоят не выдержавшие холода пихты и, засохшие, ждут своей гибели на корню... Внизу ревет Уба и мечется, как закованный в каменные стены голубой змей, а трава местами так высока, что верхушки ее бьют по лицу...

Спустились на дно ущелья, и вдруг стало темно и сыро.

— Есть хошь? — спрашивает Дементий и из-за пазухи тонкой сермяги своей достает белый помятый калач, данный нам днем на одной из заимок...

Разделили пополам, а мой Дементий, точь-в-точь как Илья Муромец, «едет, хлеба кус жуя» [146].

Дорогу пересекает бурная речка, такая бурная, что белой пеной кипит от бешеной скачки и прыгает, прыгает через отшлифованные камни...

— Ночуем? — спрашивает Дементий громко, чтобы перекричать речку.

Остановились мы в размышлении... Затем молча слезли, хлеб обмакнули в воду...

— Чай согрею тебе! — искушает он меня.

Вижу, что ему хочется ночевать: лошадей жаль...

— Только не чай, а кашу, — говорю я, зная, что товарищ, как старовер, чаю не пьет.

— Да, ведь, ты стосковался, пооди, по чаю-то! Уж неделю не пьешь!..

— Нет, кашу! — и начинаем развьючивать коней.

Собираю хворост, принимаю высокую и уже влажную траву простым броском на боковую, возбужденно смеюсь и беспричинно громко кричу, чтобы разбудить красивое горное эхо...

Совсем стемнело. Ревет возле нас речка, пасутся в высокой траве привязанные за лесину кони, чутко поднимая уши и к чему-то прислушиваясь...

Ярко пылают костер, бросая от нас большие тени в глубь леса, и черным пятном висит над ним котелок с кипящей кашей...

Дементий Федорыч, ломая через колено хворост, то и дело оглядывается на лошадей и просто, не торопясь, говорит:

— Эт-то у Селиверста на заимке трех сразу задрал, смотри!..

— Водится же?

— Куда «он» девался! У меня на той неделе две колодки в пасеке испакостил... Да умный ведь, окаянный: сначала в речку снесет, утопит пчел-то, а потом, торнет о землю и вылизет...

Облокотившись, лежу у костра и смотрю на огонь, а душой уношусь вглубь загородивших нас глухих убинских дебрей, где, как и много веков назад, вольно гуляет медведь и говорливо рокочат горные потоки.

И немножко жутко, но больше красиво на душе и клонит ко сну...

Дементий торопливо встает на одно колено и относит с огня поплывший котелок:

— Стой, стой, стой! — увещевает его. — Ишь, как разгулялся... Не спи, Митрич, кашу есть скоро будем!..

Встаю на ноги, прогоняя сон, и смотрю назад, а там все слилось в сплошную черную стену, и слышно лишь отдаленный шум Убы и говор соседней речки... И видно — только далекие и яркие звезды.

Забредаю в траву и, как погруженный в воду, выхожу обратно совсем мокрый и ободренный холодной росой.

— Искупался? — добродушно смеется Дементий и, мешая кашу, советует: — Сушись, давай, у огонька!

На заимке Дементия Федорыча Недобиткова я сделал на несколько дней привал.

Мы теперь находимся в среднем течении Убы, верстах в двухстах от устья.

Прохладным и румяным июньским утром вместе с Дементием Федоровичем с его заимки мы тронулись к верхним Убинским порогам. От самой заимки пришлось всползать на крутой и довольно опасный бом или, по-убинскому, притор, идя по которому лошади часто оступались, рискуя свалиться. Затем извиистой долиной речки Карагужихи, мимо хлебных посевов, лугов и тополевых рощ, мы версты через три достигли заимки Александра Ивановича Троеглазова, от которой уже доносился до нас сдержанный говор Убы.

Долина ее идет здесь с северо-востока на запад неровным, тенистым и высоким горным коридором и теряется внизу у подножья горы Порожной, кажущейся отсюда совсем неприступной и пятнисто-бурой, будто преградившей путь реке. Повернув вниз, т. е. влево, мы вскоре увидели и самую Убу, светло-голубую, кристально чистую, с красиво выложенным из разноцветных и отшлифованных галек руслом. Сравнительно неширокая, она идет здесь быстро, перескакивая через точеные валуны, и жметя к крутому, покрытому густым лесом левому берегу, по которому извиистой и каменной тропой мы и поехали. Лошади, тяжело дыша, оста-

навливались, оглядывались, но, понукаемые, прыгали по каменным ступеням, извивались на кривых спусках, и то и дело из-под копыт их срывались вниз камни. Но вот тропинка нырнула в воду. Мы остановились и видели, как внизу, на середине, Уба зловеще встряхивала белыми гривами.

— Ну, голова у те не закружится? — спрашивает Дементий Федорыч и, не дожидаясь ответа, въезжает в голубые волны.

Здесь Уба перед страшными воротами порогов как бы задумалась и, разлившись широко по руслу, бежит не торопясь. Голова действительно кружилась, когда мы отъехали от берега несколько сажень. Сначала было не выше колена, но вот чем дальше, тем глубже, и казавшаяся с берега покойной, водная гладь быстро стремится здесь упругой толпой дружных волн, спруживая лошадей и враждебно толкая их вниз, чтобы разбить там о первые зубья порога. Лошади прядут ушами, фыркают и, осторожно выбирая место между крупных галек, идут медленно, напирая всем крупом навстречу воде. Но вода шумит и уже захлестывает на спину лошадей, заливаясь в сапоги, а за лошадьми образует пенистые, шумные гребни, которые игриво расчесывают черные хвосты лошадей.

Выехали.

На ровном берегу прилепились хлебные посевы, а выше, на крутом склоне, заимка, и тотчас же за нею — грандиозные горные гряды. Вскоре мы въезжаем в лес и, поднявшись на крутой карниз горы, видим, как русло Убы, все более суживаясь, повертывает вправо в узкое, страшно крутое и высокое ущелье. Здесь же внизу показались и так называемые Зубья Порога, как раз у начала Порожней сопки, которая, обратив свой каменный профиль на восток, дает место кривому каменному коридору Убы, который и отделяет ее от противоположной

длинной цепи гор, продолжением которой, по-видимому, когда-то была и сама гора Порожная. Вот белые гребни воды все чаще и чаще, и Уба становится совсем узкой и темно-зеленой и, перепрыгивая через огромные отточенные скалы, ревет, как сто рассерженных медведей. И так в продолжение почти семи верст, т. к. верхний убинский порог опоясывает всю Порожную гору на расстоянии, по крайней мере, четырех пятых ее окружности. Вот Уба поворачивает все правее, почти на восток, лавируя по своей каменной улице, а непрерывный корум из многих аршинных валунов сопровождает ее с обеих сторон белыми кривыми барьерами.

Останавливаемся.

Я сажусь на огромный, покрытый бурым мхом камень, на котором, в виде табуретки, лежит тоже обомшенная каменная тумбочка, и смотрю вниз, где по беспорядочно наваленным белым кригам (валунам) с оглушительным ревом и головокружительной быстротой несется Уба, замкнутая здесь в русло не шире десяти-двенадцати саженей. По зеленой темноте ее течения и по зыбким волнам я заключаю о ее страшной глубине. Падая с камня на камень, тяжелые изломанные волны грозно потрясают своими большими гривами и, гудя, грузно качаются в своей каменной перине. А за Убой, которую я перебрасываю камнем, отвесной стеной лезет к самому небу пятнисто-серый, нахмуренный утес горы Порожной, вершина которой увенчана совершенно острыми и почти безжизненными воткнувшимися в синеву неба конусами, лишь слегка опушенными чахлым лесом.

Немножко ниже конусов по карнизу горы ползут облака и кажутся пышными движущимися сугробами снега, а сзади меня огромным, многоверстным и темно-зеленым амфитеатром лежит



глубокая горная впадина, вся укутанная в леса и вся изрезанная мелкими, певуче-кристальными и спешащими в Убу ручьями.

Но вот Уба начинает поворачивать влево. Сначала отлого, а затем все круче и круче, пока через версту или полторы не пошла назад. И как раз здесь справа к ней прибежала Белая Уба и широкой, говорливо сверкающей пеленой влилась в главную Убу и бешено закачалась вместе с нею в зыбком пенисто-зеленом танце. Главная Уба, как бы желая увильнуть от Белой Убы, еще круче взяла влево и пошла на юг, а затем и на юго-восток и, только миновав гору Порожнюю, снова повернула на запад. Переехав вброд Белую Убу, мы должны были здесь оставить своих лошадей и дальше отправиться пешком, т. к. горные стены совсем придвинулись к руслу Убы. Шли мы по сплошному коруму, прыгая с глыбы на глыбу, каждую минуту подвергая себя опасности. Местами Уба бурлит у самых ног между тех самых глыб, на которые мы перепрыгиваем, и тогда мы при помощи рук карабкаемся на обрывы, откуда бурлящая Уба зелеными волнами и белыми гривами зовет нас к себе и кружит голову.

Наконец, мы достигаем Каменных Ворот, где вся Уба сжалась в борозду не шире семи сажень и то и дело скачет трехаршинными отлогими водопадами и бушует так оглушительно, что мы совершенно не слышим друг друга. Еще через двести сажен приблизительно мы добрались до так называемых Гладких Плит. Это огромная сплошная каменная катушка, ушедшая вглубь реки и вширь берега на десятки сажен, причем Уба зыбкими зелеными волнами высоко зализывает почти невысыхающие плиты. А приблизительно еще через версту такого же неудобного пути мы доходим до так называемых Каменных Ступ. Это в различных формах

выточенные в каменных плитах углубления, в виде сосудов, ваз, блюд, ванн, котлов и чанов. Причудливые формы огромных, достигающих двух-трех аршин глубиной и от аршина до двух в поперечнике каменные чаши эти заставляют удивляться той настойчивости воды, благодаря которой исполнена эта многотрудная токарная работа, тем более что она продолжается ежегодно сравнительно небольшой промежуток времени, т. е. весеннее половодье. Происходит это так: когда поднимается вода, сила течения и движение воды достигают такой страшной энергии, что приходят в движение все большие и маленькие камни, и если им, благодаря малейшему углублению, нет выхода, то они беспрестанно танцуют и кружатся на одном месте, и чем больше их накапливается, тем успешнее идет работа вглубь и вширь, а в результате с течением многих веков получились и вот эти каменные ступы.

Ниже, сажень в ста, мы встретили еще так называемую Каменную Поветь. Это ряд гранитных наслоений с постепенно отвалившимися отверстиями в виде пещер. По крайней мере, поветь, в тени которой укрылись мы, была не меньше шести сажень в квадрате. Верхний слой плит, опершись на восемь слоев таких же плит, повис над указанным пространством на высоте почти двух аршин и дает возможность любоваться отсюда на глубокое русло Убы, в которую, впрочем, при малейшей неосторожности можно легко отсюда полететь.

Здесь коридор Убинского русла почти прямой и версты через две Уба принимает все более спокойное течение и, расширяясь, дает возможность отправлять по ней плоты и лодки. Через этот же порог лес сплавляют несплоченным, отправляя его большими партиями и собирая лишь внизу на лодках. Иногда в пороге лес, застряв одной лесной в валунах, нагромождается по несколько сот

в одну кучу и, спрудив воду, ломается или выбрасывается силою воды, или нагромождается в еще большем количестве. И тогда самые смелые из плавщиков, раздеваясь, бросаются по зыбким и стремительным волнам вплавь к этим грудам и, каждую минуту рискуя жизнью, разворачивают лес, но на берегах в это время с длинными жердями стоят другие, протянув концы жердей на средину реки. Это на тот случай, если кого-либо, из находящихся на лесу, помчит вниз. Такие смельчаки всегда получают двойную плату и почти всегда из своих предприятий выходят благополучно. Хотя быть убитым в Убинском пороге не считается особенной редкостью, т. к. сплошные водопады, не ожидая пока человек поплывет, ударяют его о подводную глыбу и выбрасывают уже изуродованным и мертвым. Такие случаи стали чаще наблюдаться, с тех пор как Убинские пороги частью взорвали динамитом, т. к. прежние гладкие глыбы были менее опасны, чем взорванные с острыми углами.

Поздно вечером вернулись мы на заимку Дементия Федоровича, и долго в ушах наших стоял шум: это гремела Уба, проложившая путь через свои гранитные препятствия, чтобы миновав их, выбраться на свободу, туда, в лоно Иртыша, затем Оби, а затем уже устремиться и в океанские просторы!..

### **VIII. Старообрядческая женская обитель**

С тем же Дементием Федорычем отправились мы дальше вверх по Убе. И чем дальше вверх, тем очаровательнее горная убинская природа, так что трудно устоять от некоторых лирических отступлений.

Поднявшись на любую из горных высот, вы невольно притихаете, очарованные окружающей природой. Куда вы ни взглянете, всюду, точно застывшие гигантские волны, стоят бирюзовые горы и сизые, точно рытым бархатом окутанные, дали.

Где-то далеко на изломанном горизонте поднимаются дымчатые хребты, увенчанные белоснежными коронами вечных снегов, и, когда небо облачно, вы не сразу сможете отличить, где горы и где облака. И только когда по вершине горы проплывет белый силуэт пышного облака, вы можете судить о страшных высотах этих царственных гор. Взгляните вниз: там в извилистых и тенистых долинах бешено прыгают по отшлифованным глыбам голубые говорливые речки... Бегут и встряхивают белыми гривами и несмолкаемо рассказывают свои старые легенды и дивные сказки...

Посмотрите себе под ноги: под ними разостлан роскошный ковер из цветов, сотканный самим Богом и обрызганный чистыми душистыми росами алтайских ночей...

И вот среди такой-то природы в малодоступных ущельях, в ста шестидесяти или в ста семидесяти верстах выше Лосихи, за какие-либо пять-шесть лет после указа о веротерпимости выросла женская старообрядческая обитель, в которой теперь живут уже сорок сестер. Окрестные староверы зовут их матушками-девицами и нежно оберегают их колонию.

Обитель старообрядок находится в горах на левом берегу реки Убы, в глухих бездорожных лесах в долине речки Банной. Прежде чем попасть в нее, мы долго ехали по лесным тропинкам вверх по реке Убе, и, наконец, у северо-восточного подола горы Среднего Теремка, на фоне красивого зеленого леса и на берегу шумной речки Банной вырисовался голубой купол новой деревянной церкви, а затем и вся церковь с целым рядом крыш и построек Покровского старообрядческого монастыря.

Долина реки Банной широким и отлогим развалом падает на северо-восток в долину Убы. Кроме группы берез, тополя и мелкого кустарника,

кое-где возвышаются пирамиды пихт, а выше по склонам Среднего Левого Теремка идет хвойный лес до стены утеса, которым заканчивается вершина Теремка. Против впадения Банной за Убой возвышается третий, покрытый лесом, конус горы, а влево за ним, на север, виднеются безлесные и безжизненные высоты Коргонских белков с небольшими снежными полями.

Когда мы приближались к монастырю, то в лесу направо слышались женские голоса, а влево к речке, понуриив голову и согнув спину, с ведрами на коромысле шла инокиня в простом синем сарафане из грубого холста, в белом холщовом переднике и темном платке, повязанном по-русски, концы под подбородком, причем из этого же платка сделан был навес в виде голубого козырька, закрывающего всю верхнюю часть лица, отчего ни глаз, ни черт лица видно не было. Вот показалась часть изгороди, возле которой работали пять инокинь в грубых пестрых одеждах: холщовые сарафаны, «бутылы» на ногах, холщовые передники, белые рукава и темные пелерины на плечах — в виде длинного воротника до локтей, с красной оторочкой по краю. Платки также скрывали большую часть лиц...

Я подъехал к одной, что постарше, и спросил, можно ли въехать в монастырь и как это сделать.

— Можно, можно, поезжайте, там примут вас!.. — ответила старушка, отрываясь от работы, которая заключалась в том, что она, держа в левой руке осиновый кол, правой тяжелым топором тесала его на высоком пне... Причем, показывая дорогу на мостик, она ловко взяла топор в руку, сделав из топорщица указку.

Мы тронулись к строениям, которые начались еще на этой стороне речки двумя жилыми — одна пятистенная, другая однокомнатная — избами, с дворами, сараями и амбарами. Дальше — удобный

мостик, жердяная изгородь и легкие ворота, возле которых мы и стали в ожидании. Ждать пришлось недолго, так как из главного корпуса в ту же минуту показалась в темном холщовом платье с пелериной, в темном платке и в белом переднике еще нестарая монахиня и, ласково улыбаясь, низко поклонилась и сказала:

— Милости просим, дорогие гостеньки!

Я счел долгом объяснить цель своего приезда. Тогда оказалась нужда доложить игуменье [147], которой не оказалось дома, она была на работе. Доложили старшей по ней, т. е. ее помощнице матери Ирине, а пока нас пригласили в новую большую избу с длинными столами и скамьями, с русской печью и небелеными стенами. Это оказалась трапезная (столовая). Вскоре вошла в длинном тонком, нанбуковом халате высокая инокиня [148], в черном платке, но без пелерины, с постным бледным лицом, синими губами и острыми голубыми глазами, окруженными лучами многолетней скорби. Смотрела она слегка исподлобья и говорила немного грубоватым голосом. Объяснив ей цель моего приезда, я попросил позволения пожить в монастыре дня два-три. Она, задав еще несколько вопросов, не от казны ли я и зачем нужно ознакомление с бытом старообрядцев, приказала встретившей нас матушке Аполлинару (она заведует экономией и приемом гостей), чтобы та отвела нас в гостиную избу, но прежде накормила бы... Та быстро стала хлопотать у стола, но я пока отказался, ибо, проехав долгое время по неудобной грязной дороге, хотел выкупаться и переодеться. Тогда нас с моим проводником отвели за речку в первую пятистенную избу, в которой мать Аполлинурия, охотно беседуя со мною, стала готовить мне постель на самодельной кровати, покрывать чистыми цветными самоткаными скатертями столики, приготовила в прихожей комнате постель и моему проводнику,

показала мне место, где можно выкупаться, повесила чистое, тончайшего холста полотенце с вышивными наконечниками, застлала красную подушку белой, чистой холстинкой, положила свежее стеганое одеяло и попросила приходить поужинать, когда я устроюсь. Пока я, не торопясь, купался да переодевался, на церкви зазвонили в небольшой колокол к вечерней молитве. От обеда пришлось отказаться, ибо надо было идти в церковь, испросив на это позволение. Разрешение дали охотно, но попросили не молиться вместе с ними.

Монахини скоро потекли из своих келий в часовню тихой сторбленной походкой вперевалку, шваркая тяжелыми сапогами, бутылками или просто пимными туфлями в виде калош. Пришла, накрытая схимой [149] старая, сморщенная, с седыми волосами на подбородке, старушка, мать известного на Убе и даже в Питере старовера Федора Афанасьевича Гусева, который ко дню коронавания Государя Императора Николая II-го поднес Его Величеству в дар бадейку убинского меда. В Питер он ездил довольно часто то по религиозным, то по своим тяжёлым делам. Он же был одним из терпеливых и настойчивых ходатаев о разрешении веротерпимости, данной указом 17 апреля 1905 года. Тут же суетилась в светлых рукавах и темном сарафанчике, подпоясанном ремнем, шестилетняя девочка с белокурыми волосами, забранными в косичку. Это дочь Усть-Каменогорского прасола и старовера Ивана Никифоровича Федорова. Девочка эта отдана родителям уже два года тому назад, когда ей было четыре года и привыкла к монастырю так, что не хочет ехать домой, и угрозу отвести ее домой делают, лишь когда она что-либо «нагрезит».

Вот вышла из своей келейки молодая, но еще непостриженная сестра с красивым лицом и быстрыми темными глазами, с лестовкой [150] на руке, в черной нанбуковой ризе [151], прямыми складками

падающей к ногам. Темная шаль накрыта на голову так, что сложенные углы ее лежат не косяком на спине, а прямо, висят по бокам, а над глазами глубокий козырек из той же шали, которая под подбородком сцеплена булавкой. Это монастырский чтец.

Войдя в часовню, я чувствовал себя как-то неловко и стал у окна справа. На скамейке сидела мать Ирина и, подойдя ко мне, сказала:

— Если устанете — садитесь на скамью!

В церкви прежде всего бросается в глаза богатство иконостаса и удивительная опрятность. Весь пол застлан светлыми, чистыми самоткаными половиками, стены окрашены розовой краской, прямой потолок — голубою, а все пять ярусов икон — в гладком багете. По бокам сделаны в виде клиросов [152] отдельные иконостасные стенки, и возле них стоят металлические хоругви [153]. Перед иконостасом возвышение и престол, возле которого дорогое Распятие, обвитое голубой пеленою, по бокам его иконы, а на столе стоит рукописное евангелие, оправленное в бархатный с серебряною чеканкою переплет, а по обе его стороны горят неугасаемые лампы. Перед иконостасом висит красивая большая люстра.

По боковым стенам икон нет и только вделаны большие окна, по четыре на каждой стороне, с крашеными белыми рамами, но без железных решеток, как это делается во всех церквях, и без болтов, но со ставнями снаружи, на случай града или дождя. На окнах устроены легкие белые занавески. Сбоку — круглая печь, сзади — другая, слева — псалтырня: это отгородка для старушек инокинь, которые «наряжаются» на определенные часы читать по покойным псалмы. Здесь целые груды книг, несколько икон, и старухи читают все время, т. к. заказов всегда очень много и надо успеть. У этих старых сестер другой работы и не бывает, не поручается им, так как у них каждодневно, помимо заказов, еще своя



работа: надо сделать всякой накрытой инокине 1500 поклонов, которые отсчитываются по лестовке. Из них не меньше 300 земных и 700 поясных. Остальные могут быть легкие.

Скамей в церкви всего восемь, из которых четыре стоят вдоль стен и четыре поперек храма в разных местах. Подручники более чистые, есть холщовые, ситцевые и даже бархатные с гужиками для взятия рукою. Есть еще низенькие скамеечки с четырьмя ножками, две из которых короче, а две подлиннее и потому самый верх покатый. Ее ставят перед собою, кладут подушечку (подручник) и земные поклоны делают, не становясь на колени, а прямо стоя, опираясь руками на подручник и кладут голову на руки. Это ускоряет поклоны, сокращает время на них и избавляет от падения на колени, что при сотнях поклонов может изнурить окончательно.

Часы читаются громко, а одна из старших по чину сестер делает возгласы робким, тихим голосом, причем когда она крестится и кланяется, тогда кланяются и все, почему на моменты вторгается волна общего шума и быстрое колебание сплошной черной массы производит жуткое впечатление. От их богослужебных песнопений веет чем-то средневековым и замогильным. Кажется, поют где-то замурованные под землю, замученные гонением христиане... Все поют в один тон, некоторые, обязательно в нос, отчего скорбность и монотонность пения становится еще более печальной, некрасивой и ноющей. Будто кто-то плачет и стонет на колесовании или в темнице... Всюду в церкви замершие в неподвижной молитве фигуры, блестящие иконы, частью в ризах, расшитые стеклярусом, а частью — осыпанные цветными камнями. А из окон видны очаровательные пейзажи горных круч, зеленых подолов, лесов и небо со светлыми облаками. Кудрявые березы с белоснежными стволами, разбежавшиеся по зе-

леному, немного покатоному лугу. Вблизи — хорошо возделанные огороды, изгородь и совершенно типичные сибирские крыши на два ската с шитыми лбами. Слушая древние замогильные напевы, не хочешь верить, что где-то рядом уже летают на аэропланах, что где-то сидят в своих обсерваториях астрономы, вычисляя пути небесных светил, и грустно и одиноко чувствуешь себя среди молящихся. А они поют скорбно и ноюще:

«Въ землю пріяти, яже еси отъ земли взять быть»...

Но приходят на память сплошные драмы из жизни русской женщины, и кажется, что ей лучше здесь вдали от счастья жизни и от его изнурительных усад, за которые нужно так дорого расплачиваться.

И опять взгляд тянется к высоте гор, где, кажется, рукою достанешь небо, и снова подсказывает мысль, что там летают люди по небу, а здесь ползают во тьме... Неужели долго еще, неужели долго?

А в ответ несется унылое и тягучее:

— И во веки веков, аминь!

Вечерня отошла. Мать Аполлинария напоминает, что мы еще голодны, и мы идем за нею.

Теперь она ввела нас в особую келью-избу, где на столе, покрытом самотканой цветной скатертью, были положены вилки, ножи и ложки и поставлены чашки, покрытые маленькими самоткаными салфетками. Нас она усадила за отдельные чашки, т. к. все мы разных вер: я — православный, проводник мой — беглопоповец, а монастырь — поморский. Довольно вкусных постных перемен было около пяти, пока, наконец, подачею малинового варенья и затем чистого меда в отдельных блюдах не был закончен наш обед. Но мать Аполлинария искренне извиняется, что мало перемен, т. к. не ждали таких дорогих гостей.

Всего сестер в монастыре сорок, из них накрытых схиною двадцать четыре, а шестнадцать нена-

крытых: из них есть давшие клятву всю жизнь «поработать на Христа», часть послушниц (белицы) и часть гостей, не определивших своего положения и могущих оставить монастырь, выйти замуж и проч.

Обитель основана в 1899 году летом приехавшими сюда российскими поморками, в числе восьми сестер, отделившихся от поморской общины в Уфимской губернии на Урале, вблизи ст. Вязовой. Уехали оттуда потому, что там теснили их. Здесь они купили заимочку и стали жить, а в отдельной избе сделали моленную и трудились. Годы через три-четыре выстроили более просторную избу с маленькой кельей для игуменьи и лишь в 1908 году построили новую просторную часовню с колокольной в шесть колоколов и маленьким куполом. В этой часовне имеется и келья для игуменьи, матери Ираиды, и для исполняющих церковную службу инокинь. Эти кельи находятся на втором этаже под колокольной, по одной с каждого бока. В них по два окна: одно на улицу, откуда виден прекрасный пейзаж, и одно в часовню прямо на иконостас.

Остальные монахини распределены по отдельным кельям — просторным и тесным избам. Некоторые живут за перегородками в уединенье, а некоторые по три сестры в одной комнате. Всего комнат около двадцати, причем несколько помещений пустует, например, келья старца Антония, где все содержится в том порядке, в каком он оставил перед смертью. Этот старец жил в монастыре четыре года и умер восьмидесятилетним.

При монастыре есть больница, где находятся теперь четыре больных, из них две недвижимых, хотя обе в сознание... Когда я вошел, то, показывая одну из них, еще молодую, лет двадцати семи-тридцати монахиню, отекающую и смотрящую уныло и скорбно, мать Аполлинария сказала громко и болезненно:

— Вот эта скоро должна представиться... И могилка уже выкопана и домовинка сложена ей...

Монахиня перевела на мать Аполлинару глаза и тяжело простонала...

Но я сказал:

— Может быть, она еще поправится! — Тогда больная перевела на меня свои черные унылые глаза и снова еще сильнее простонала.

— Нет, уж не встать ей! — скрепила равнодушно мать Аполлинурия, и мне подумалось, что мать Аполлинурия не сознает своей ошибки, говоря такие тяжкие слова при больной. Она не понимала, видимо, этого состояния: знать, что и могилка выкопана и домовинка сложена.

Сходив в мастерскую, где шьют одежду, в стряпчую, т. е. «келарню», где готовят кушанье, и еще к кое-каким старушкам, мы направились в гору, где за одиннадцать лет существования скита на горке успело вырасти пятнадцать черных крестов, из них пять в один день 27 мая 1909 года. Это одновременно утопшие в Убе пять молодых монашек, из них четыре послушницы и пятая — накрытая двадцатидвухлетняя Дорофеюшка, дочь того самого Ивана Федотовича Егорова, который посылал своего сына разыскивать истинную веру и крестился в Алее. Вот в каком виде сами монахини нарисовали мне картину этой печальной катастрофы.

25 мая прошлого года младшие послушницы от четырнадцати до двадцати двух лет, во главе с постриженной уже молодой девушкой Дорофеей, выросшей на Убе и умеющей хорошо справляться с ее капризами, отправились на реку порвать ревню. При этом им было поручено искупать больную лошадь. Перевозить на лодке их стал местный житель старик Самойлыч, который, посадив в лодку девушек, взял в повод и лошадь, а править лодкой заставил Дорофею. Понятно, лошадь тормозила, мешала правильному

ходу лодки, а Уба между тем катила ее вниз. Вот Дорофея, изнемогшая грести, не попала в определенное место, а лошадь кинулась головой на нос лодки и повернула назад. Тут случился подводный камень и лодка перевернулась. Место оказалось неглубокое, всем по плечи, но страшно быстрое, и всех понесло вниз. Дорофея кинулась спасать младших, но как какую поймают, так та за нее уцепится и не отпускает. Поймала четырех, а пятую унесло. Эти так измучили Дорофею, что она пошла ко дну. Тогда эти отпустились, и быстро их разнесло в разные стороны. Вот скоро три из них скрылись из вида, а одна кое-как карабкалась. Дорофея, выплыв на поверхность и увидев эту карабкающуюся, схватила и помогла ей выплыть на берег, но, измученная сама, не могла уже справиться с волнами, так как длинная намокшая риза зацепилась за камень... Но вот островок, она оказалась на мели и еще не успела прийти в себя и отдохнуть, как увидела за протокой спасшегося старика (он спокойно наблюдал с берега и потом рассказал об этом), который махал ей, чтобы она плыла напрямик к нему. Она, поддавшись его велению, поплыла вновь, но ее сильно ударило об огромный камень и, захлестнув волною, укатило вниз. Говорят, что Уба в это время была еще маловодной.

Жизнь сестер протекает чрезвычайно мирно, уютно и сыто, хотя все они трудятся усердно. У каждой монахини есть свой уголок, своя кровать, столик и все принадлежности домашнего обихода. Все жилища выдержаны в древнерусском стиле, и всюду чистота и простота. Все лавки, скамьи, окна, полотенца, передние углы, белые полы, и небеленые, но чисто вымытые стены, говорят о близости обители к временам древней Москвы или Пскова.

Все обязанности распределены между монахинями по их способностям и чину, причем старшие не должны только указывать, но и сами боль-

ше всех обязаны трудиться; так, например, мать Ирина, заведя келарней, работает сама в первую голову. Или мать Аполлинария, заведя приемом гостей и экономией, сама всюду бегаёт, все устраивает, подносит, объясняет. Сама же игуменья мать Ираида заведует самыми трудными черными работами, как-то: постройкой, землекопкой, возкой и рубкой леса и проч., и та пожилая монахиня, так ловко и умело тесавшая кол, когда я подъехал к изгороди монастыря, и была самой игуменьей. В тот же день возвращалась она позже всех с работы, и все ожидали ее с тревожной заботливостью и любовью. Я встретил ее, поклонился и заметил, что она трудится в ущерб своему здоровью.

— А как же? Ведь на все надо копейки, да и нанять некого... Если же наймешь — не знаешь, что за люди, как бы греха какого не случилось...

Теперь мне лучше было видно ее лицо. Она производила впечатление свежей, хотя и пожилой женщины, лет пятидесяти. Ее светло-серые глаза смотрели быстро и ясно, в голосе и словах не слышно было искусственности или ханжества, и, разговаривая со мною, она держала себя просто, а в манере чувствовалась энергия, сила и искренняя правдивость. Небольшая ростом, немного коренастая и согнутая, она удалялась быстрой колеблющейся походкой, и не верилось, что ей идет уже седьмой десяток, как это оказалось в действительности. Она никогда не жила полной светской жизнью и в монастыре уже больше сорока пяти лет, поступив в него семнадцатилетней девушкой.

Назавтра она сказала мне между прочим:

— Ну что, наверное, скучаете? Интересного у нас ничего нет. Люди мы простые, необразованные. Обойтись по-хорошему не умеем... Уж извините!..

Эта женщина, встав утром в два часа, трудится до одиннадцати часов ночи, спит, следовательно,

два-три часа, а все остальное время находится в работе. Встав в два часа, к трем она входит в часовню, где начинается утренняя, кончающаяся в пять, затем, после короткой беседы, тут же начинаются часы и кончаются в семь. После этого все идут по кельям, а там, переодевшись в рабочие одежды, — в трапезную, где, позавтракав, отправляются на работу, в один час — обед, а в пять — вечерня, а после нее, часов в восемь, когда все придут с работы, ужин, и все расходятся по кельям, работая на себя или молясь. У старых монахинь работа одна — отправлять заказы на счет моления за здоровье питающих и за упокой умерших.

О неусыпном труде самой игуменьи говорит то, что все сорок кроватей, столько же стульев, столов, все лавки, тесовые перегородки, разные полочки — все это сделано ее руками без единого удара топором кого-либо другого. Причем у каждой кровати, стола или стула сделано по удобному и просторному ящику внутри. Келья игуменьи самая тесная и самая скромная, с иконами в дорогах, из цветных камней, ризах. Здесь же фотографии ее бывших духовных отцов, с типичными бородами лицами, выражения которых или суровы и сухи, или слащаво-кротки и постны.

Никакого деспотизма со стороны игуменьи не заметно, некоторый же, плохо скрытый под маской кротости и молитвы антагонизм <виден> между младшими монахинями, причем некоторые еще не постриженные монашки на работах без старших, ведут себя непринужденно, иногда весело смеются и даже шутят, что делает их унылую жизнь разнообразнее и живее. Некоторые из монахинь ушли из православия, например, есть девушка из Риддерского рудника. Когда приехал навестить ее дядя, то она с интересом выпрашивала о новостях и о своих подругах, и, когда ей говорил дядя, что многие из ее под-

руг вышли замуж, у ней загорелись глаза, и полным смеха и скрытых слез голосом она выражала удивление, но, увидев старшую сестру и вспомнив, очевидно, что уже отрешилась от мира, она вдруг стихла и стыдливо опустила глаза. Она прожила уже четыре года, будучи взята сюда четырнадцати лет, теперь ей восемнадцать, а через два-три года жизнь ее только потребует себе полноты счастья, но это уже не для нее, ее жизнь, полная труда, тоски и насилия над собою, потянется долгой, тяжелой тропею к старости и затем к той горке, скрытой густым лесом, где под тяжелыми крестами уже спят вечным сном пятнадцать. Но было ли бы лучше, если бы она вышла замуж?.. Не сказал ли бы ей кто-либо:

От работы тяжелой и трудной  
Отцветешь, не успев расцвести,  
Погрузишься ты в сон непробудный, –  
Будешь нянчить, работать и есть... [154]

Ведь доля нашей женщины — так тяжела и безотрадна... Не даром же все эти сорок пришли сюда в эту тихую пристань.

Я прожил до первого воскресного дня, т. к. было чрезвычайно интересно наблюдать торжественный отдых монахинь.

Было дивное яркое утро. Такое утро, какое может быть только в горном Алтае, когда умытые росой и одетые в зеленую парчу горы до половины освещены золотом лучей, а в низах покрыты голубыми покровами теней, и из глубоких морщин и речек тихо всплывают на высоту гор серебристые туманы, чтобы оттуда плавно и смело полететь в простор небесный...

Странно и красиво разлилось по горам эхо большого колокольного баритона, затем голос меди запел непрерывным призывом. Все сестры, одетые в черные длинные ризы с металлическими застежками спереди до самого подола, потянулись



в церковь. Служба была торжественная. Возглашала сама игуменья, и ее тихий, робкий голос как-то убаюкивал, уносил в область вечного покоя. Пели, читали, молились вместе, кланялись в землю и были все, как черные тени, как заведенные манекены.

Когда кончилась служба, зазвонили все колокола как-то печально, с перебором, и монахини, выстроившись в ряды, попарно, с пением молитв медленно пошли из церкви изогнутой черной линией. В это время мною овладело странное состояние. Во время часов я смотрел, как молодая девушка-чтец с сочным голосом юноши усердно кланялась в землю, как-то путалась в своих неуклюжих ризах. А когда под звуки колоколов с печальным ноющим пением они тихо побрели из церкви по ярко-зеленой траве в трапезную, как черные тени, брошенные ярко-радостным утренним светом, то меня что-то больно ущипнуло за сердце. Я взглянул на мимо проходившую девушку, и глаза ее, казалось мне, полные остановившихся слез, пристально и скорбно взглянули на меня и тотчас же скрылись под длинными ресницами. Она прошла, унося с собою в душе что-то тяжкое и умолкшее навек, и, задушенная темным холодом пустоты одиночества, шла покорно рядом со старухами по одной и мрачной тропе к могиле. Это было ясно и бесспорно. А звон все плачет переливно, точно отпевает всех их. И они поют ноюще, точно сами себя отпевают. А вокруг дивные живые пейзажи и беспредельный океан солнечного света...

А еще через час, простившись с игуменьей и с сестрами, я стал собираться в дальнейший путь. Провожать меня вышли все, и, пока я собирал мои вещи, моя лошадь была оседлана одной из сестер — конюхом. Простились как родные... Я был уже далеко за изгородью и, оглядываясь, видел, как мать Аполлинария и мать Мокрина черными пятнами стояли по пояс в траве и низко кланялись мне вслед...

## IX. Вожди старообрядчества

Тот самый Иван Федотыч Егоров, который посылал в <18>80-х годах своего сына в поиски за истинной верой и крестился в реке Алее перед тысячной толпой и который имеет знаменитых на всем юго-западном Алтае сынов: Василия Ивановича, старообрядческого попечителя и начетчика, и Ванифатия Ивановича, главного старообрядческого священника на Убе, — живет неподалеку от старообрядческого женского монастыря.

Из монастыря я ходил на заимку Ивана Федотыча пешком. Дивные картины окружали мой путь!..

Идешь по тропинке вниз, окруженный яркой зеленью трав и деревьев и замкнутый крутыми склонами, далекими, сизоватыми высотами, и не знаешь, так ли хорошо в раю... Я перебираю в памяти все лучшие переживания своей жизни, вспоминаю хорошие оперы, спектакли, музеи, музыкальные симфонии — и ничто не может сравниться с тем, что я чувствую теперь. Везде там, вдали от первобытных красот, я чувствую напряженье, какую-то болезненную искусственность своих переживаний, чувствую, что вот кончится симфония — и жизнь снова ввергнет меня в житейские будни и разочарование сцепит своими когтями... Но здесь такое спокойное созерцание и такая тишь в душе, такая сладость в сердце, что ничего не хочешь больше и, смотря во все стороны, поешь безмолвные гимны солнцу...

Вот речка, скачущая по камням и образовавшая внизу круглое, небольшое прозрачное плесо, в котором разгуливают крошечные рыбки. Вот могучая береза с изуродованным стволом и огромной тяжелой ризой, от которой падает на зеленую траву синеватая, густая тень. Сажусь на камень, и из-под него выползает небольшая змея... Выползая, спешит наутек, и пусть... Она тоже боится смерти. Вдрагиваю, встаю и иду тихо, спускаюсь вниз.

Показалась изгородь, а за нею пышный, мягкий и ярко-зеленый луг, по которому разбежались небольшие осинки и будто замерли в ожидании, пока я пройду мимо по извилистой тропинке. Лавирую меж высокой травы и цветов, где хороводы голубых бабочек то и дело кружатся, отыскивая лучший аромат. Вот вхожу в аллею густых высоких разной величины пихт, берез, осин и кустарников. Прохладно и пахнет медом... Дорогу перегораживает много лет гниющая лесина, упавшая еще во время большого пожара. Пни высунули седые головы из травы... Муравьиные кучи, хворост, светлый маленький ключик, чуть лепеча, струится по чисто вымытым галечкам. Иду и не тороплюсь. Вот из-за холмика вынырнули крыши изб, амбаров. Как сотканые из паутины, беспорядочные пригоны, дворы из жердей и разная небрежно разбросанная рухлядь. Пасека разбрелась по кустарнику. Поскотина с тяжелыми косыми воротами, мостик и растоптанный навоз — этот обязательный атрибут каждой Убинской заимки, ибо среди опрятной природы жители ее все-таки неопрятны. Подхожу. Два дома большие, один в два этажа, значит люди богатые. Вхожу в ограду. На крылечке большая бледная девочка в зипуне и возле нее кудрявый, лет пяти, беленький мальчик. Он весело хохочет над цыпленком, которому связали тряпочкой ноги. Из избы слышен разговор мужчин. Вхожу. Пахнет кислой кожей и свежим хлебом. Сидят за столом: черный мужик в серой рубахе и бутылках и в сапогах, в синей рубахе и черном ремне с саквояжем через плечо черноватый мужчина с лицом торгаша-мещанина.

Скороговоркой и с манерами рядки он говорит кривому:

— Чего двести, уж ты хоть бы пятьсот штук срубил. Цену дам хорошую... Я, брат, не стою за ценой... Я, вот увидишь, в два года весь лес по Убе очистишу!..

— Нет, вот разве штукек двести могу, а больше нет... Знаешь, пообещать не мудрено, а вот исполнить-то как? — говорит хозяин степенно.

Поздоровавшись, я сел, смериваемый общим взглядом... А сидевший у печки старик, высокий и тонкий, как-то согнутый и в спине, и в ногах, спросил меня, откуда я и кто.

Разговор шел все о лесе.

Но когда у старика спросил я, кто здесь Иван Федотыч Егоров и где живет его старший сын Ванифатий и младший Василий Иванович, то он встrepенулcя и повел меня к себе в отдельную келлею, наполненную огромными и ценными старинными книгами.

— Вот я самый Иван Федотыч и есть... И Ванифатий и Василий мои сыны! Беседуй, милый человек! Пивка выпьешь?

Мне было чрезвычайно приятно видеть перед собою этого Убинского семидесятилетнего Мономаха еще таким бодрым, подвижным и общительным.

Мы с ним очень долго беседовали, и он предложил в тот же день сопровождать меня к своим сыновьям, Ванифатию и Василию, которые живут своими заимками в долине Убы ниже. Об обоих сыновьях Ивана Федотыча слышал я еще раньше, а с Ванифатием в 1909 году имел случай даже лично познакомиться. Был я у него в монастыре на реке Крутой, что в пятнадцати верстах от Усть-Каме-ногорска. Там у него жило девять монашек во главе со свояченицей его Агафьей, с которой в конце августа он отплатил мне визит, заехав ко мне на дачу. Она правила лошадьё, а он возлежал на телеге на мягком тюфяке. Огромный и одетый в длинную поддевку, не снимая шапки и не кланяясь ни мне, ни моему соседу мужику-малороссу, с которым мы молотили хлеб, он лежал на телеге и ждал, когда я подойду. Борода русая, окладистая, волосы спустились на синие глаза, которые смо-

трели остро, презрительно и не моргая... Когда я поздоровался, он, не ответив на мое приветствие, стал задавать нужные ему вопросы. Тем не менее, я гостеприимно пригласил его к себе в комнату, где он, сняв шапку, уселся на стул и тоненьким голосом, немного в нос, сказав:

— Не глянется мне это место в Крутой! Хочу переселить «их» куда-нибудь в другое место.

При слове «их» он мотнул глазами на Агафью, потупившую глаза и стоящую у порога.

Дав нужные объяснения чисто юридического характера относительно арендных условий земли, я расстался с отцом Ванифатием, который снова возлег на телегу и приказал Агафье «пошевеливать». А когда они скрылись, мой сосед сказал мне:

— Какой же он христианин! Он даже «Бог помочь» не сказал, а мы с Божиим даром, с хлебом, управляемся... Ненавистники они, а не христиане.

Я рассказал об этом старику, и он почти шепотом сказал мне, грустно качая головой:

— Грубоват, грубоват, прости Христа ради!.. Грубоват! На счет веры — ревнитель усердный, а с никонианами грубоват! Но вот Василий у меня — золотое сердце! Вот увидишь!..

Иван Федотыч быстро оседлал две лошади, чтобы ехать к Ванифатию и Василию, но, садясь в седло, он вдруг завсхлипывал и я едва мог слышать сквозь его рыдания:

— Нет! Вот, доченьку Уба у меня проглотила... Сердценько-то было какое!.. Ангельское... Она только и была одна по всей Убе... — и он долго плакался мне на эту тяжелую утрату.

В это же время к заимке быстро подкатили два всадника и одна всадница на добрых взмыленных конях. Оказалось, что двое этих мужиков украли чужую бабу из деревни Бутаковой и везли ее к Василию Ивановичу обратить в «истинную» веру и повенчать с молодым парнем. Одетая по-кре-

стьянски молодая женщина была очень красивой и довольно бойкой. Ехала она верхом в штанах из пестрого холста, с подтыканным подолом нарядного сарафана и в красной гарусной шали. Мы скоро все пятеро отправились вброд через то самое место, где утонули монашки. Брод оказался очень трудным, и местами крупные лошади, чтобы не поддаваться волне, быстро поворачивали грудью против течения и, упираясь ею и рассекая волны, стояли некоторое время и снова шли, осторожно нащупывая нековаными ногами удобное место, чтобы тверже стать и не поскользнуться. Версты две ниже на косогоре стояли три избы. Одна из них с крестиком на крыше и одним колоколом, подвешенным над крыльцом, — это молитвенный дом, возле которого в другой избе живет все еще непостриженная Агафья с пятью другими послушницами, а в третьей помещается сам «Нифатий Иваныч». Когда я вошел вместе с другими, то торгош Рукавишников сидел уже здесь и пил пиво, закусывая хлебом, макая его в тарелку с медом. За столом на лавке сидел сам Ванифатий со включенной шевелюрой, в простой пестрой рубахе и еще бывший Лосевский богач, теперь устаревший и разорившийся Данила Спиридоныч Авдеев.

— Здравствуй, Нифатий Иваныч! — сказал я.

Он уставил на меня свои острые синие глаза без зрачков и, не подавая руки, сказал:

— Я чё-то... тебя не помню...

— Ну не помнишь — не надо, а руку-то все-таки подай! — говорю.

— Нет, не подам! Ты видишь, я обедаю!

Я смутился и, не зная, что на это сказать, сел на лавку. Ванифатий продолжал торговаться с подрядчиком, а все приехавшие, в том числе и Иван Федотыч, чувствовали себя неловко. Эта неловкость потребовала от меня, чтобы я сказал:

— Вот ты считаешься образцовым христианином, а с человеком обходишься не по-христиански... Киргизы принимают гораздо лучше...

— А так и принимаю, как знаю!.. И потом, ты же еретик, а с еретиком мы не должны знаться.

А жена его подносит мне стакан пива. Я отказался.

— Чё на это сердиться-то? Мы тебя ничем не обесчестили!..

— Но ты меня обидел, — сказал я, а он все тем же спокойным тоном продолжал, хлебая квас из чашки:

— Ничё я не обидел! Потому я иду по своему закону... У нас такая вера...

Я встал, поклонился и вышел из избы.

— Ну что, поедем али нет к Василию-то? — спрашивает Иван Федотыч.

— А он тоже «по закону» примет?

— Нет, што ты... Тот совсем парень не такой... Тот по всему углу один... Поедем! Чистая беда — мне самому неловко, прости Христа ради!

Дорогой он меня все утешал, всячески смягчая и оправдывая происшедший инцидент. Я молчал, думая о том, что для такой религиозной роли, которую ведет Ванифатий, нужен все же большой самобытный характер.

Убу пришлось перебродить еще два раза, так как по обрывистым, ушедшим в самое небо берегам, ехать было невозможно.

Заимка В. И. Егорова стоит в середине заимок его меньших братьев по реке Шумишке, на правом берегу Убы и на высоком косогоре в устье падающего в Убу ущелья.

Дома Василия Ивановича не оказалось. Был на пасеке. Солнце клонилось к вечеру. Я ждал в большой светлой избе, где помимо большой кровати, завешенной цветным пологом, стояло два стола, ящик, большая скамья, шкафчик с посудой и огромный простой шкаф с большой, и, видимо,

очень ценной, старообрядческой библиотекой. Книги были завешены красной занавеской, а над столом, в переднем углу, висели на гвоздях разные плохо написанные письма, преимущественно с церковно-славянской письменностью.

Тут же кафельница, лестовка и на стенах старинные древние рисунки на простой бумаге со священными текстами внизу из жизни святых угодников.

Придя из пасеки, Василий Иванович еще на крыльце переоделся в новые сапоги и синюю поддевку и, войдя, просто, вежливо поздоровался, при этом он как-то нерешительно протянул мне руку.

Разговор завязался быстро и оказался настолько занятным, что мы не заметили, как подошло время отъезда. Однако хозяин не отпустил меня и, напоив чаем (он имеет самовар для гостей), уговаривал ночевать. Я согласился. Почти до полночи мы беседовали, и красноречивый, очень умный и симпатичный Василий Иванович довольно основательно отвечал на все мои недоразумения по поводу странностей в их веровании и обрядах, и в его объяснении мои недоразумения оказались просто логическими заблуждениями. Само собою, конечно, что, щадя его религиозные убеждения, я не переступал за грань догматического христианства и не опирался на значение христианства в том смысле, в котором я понимаю его сам.

Во всяком случае, Василий Иванович произвел на меня впечатление очень умного и порядочно-го человека, не чуждого культуре и христианской любви к ближнему, хотя он и проговорился, что они должны мстить никонианам за былые гонения, сжигания и кровопролития, но поправился:

— Но как мстить? Мстить в духе кротости и борьбы словесной.

Утром мы снова увлеклись беседой, и я выехал лишь часов в семь. Утро было роскошное. Туман,



сгущаясь в тучи, лежал на плечах гор и собирался уже полететь в синее небо, когда мы побрели через Убу, по которой плыли сотни лесин, тронувшихся сверху и подгоняемых тремя десятками рабочих лесоторговца Рукавишникова, который для пущей убедительности иногда надевает саблю и какую-то форменную фуражку... Но только на староверов это производит обратное действие, они не только не боятся его, но и смеются над такой пристрасткой.

Мой спутник Иван Федотыч ехал впереди и охотно рассказывал о том, как хорошо раньше жилось в Убинских лесах. Высокий, бородатый и кучерявый, в круглой, туеском, кошонной шляпе, он сидел в седле боком в три изгиба и все говорил, говорил, умолкая лишь при шуме перебродимой воды, когда плывущие бревна то и дело грозили сбить с ног наших коней.

— Бывало, никаких ни даней, ни пошлин и в помине не было, прости Христа ради!.. Только зверя этого, прости Христа ради, вот в этом ущелье было — как скота... Не было недели, чтобы две, три скотины не решил... А иная с перепугу как кинется, так, сердечная, и напорется в лесу-то... Ну и стали это его жечь... Жгли, жгли, а выжечь не могли весь...

Но это, между прочим... Главной же темой нашего разговора была все-таки вера, и надо было удивляться свежести стиля этого старика и юношескому огню его убеждения.

Недаром же он, собирая когда-то духовные соборы, не поддавался их неудачам, а стойко шел вперед один, пока, наконец, не стал победителем сотен и тысяч таких же крепких и стойких, как он...

Но в роли победителя он по-прежнему прост, как и все вскормленные самой природой ее сыны.

И только ярко светится в нем вера в себя, с которой он пойдет и на костер, и в заточенье, как Ванифатий, умеющий смело презирать, как Васи-

лий, убежденно защищающий простыми речами правоту своей веры, как и Федор Афанасьевич Гусев, обивающий пороги Петербургских департаментов в поисках правды и прав своих...

### **Х. Убинские Альпы и Ивановский Хребет**

Выше женской обители долина Убы менее заселена, а лет десять-пятнадцать назад представляла собою пустыню. И только отдельные скитники и беглецы скрывались в многочисленных ущельях, хотя верстах в сорока от обители есть старое селение Стрежное, выросшее из простой заимки лет шестьдесят назад, выше деревни Стрежной, верстах в двадцати, еще более молодая деревня Поперечная, заселенная также старожильческим крестьянством и преимущественно поморцами. Народ в Поперечной, несмотря на отдаленность его от культурных центров, выглядит очень развитым, здоровым и духовно-дельным. Хотя приволье и здесь начинает уже иссякать, ибо многие из нижеубинских и ульбинских деревень начинают выделять из себя эмигрантов в пределы Поперечной территории.

Дальше от Поперечной хотя и есть заимка, но она главным образом выстроена ради пасек, а еще дальше, т. е. самые вершины Убы, необитаемы, т. к. текут в области белков и альпийских высот, где растет уже альпийская флора и где царствуют холода.

Из Убинских Альп особенно славятся суровостью Коксинский, Турусунский и Ивановские хребты. На последний из них удалось взобраться, и об этом я скажу более подробно, неизбежно и вновь уклонившись в сторону лиризма, без чего крайне трудно дать приблизительную картину полученных впечатлений.

На Ивановский хребет мы отправились из села Риддерского, стоящего как раз у подола этого

хребта. Огромной, темно-синей и неприступной стеною встал он поперек нашего пути к востоку, и его усеянный снежными пятнами гребень наполовину обнажен и безжизнен. И мысль взобраться на вершину этого десятиверстного гребня, подпирающего само небо, расчесывающего косматые тучи и превращающего их в обильные слезы, в ослепительно белые снежные кристаллы, даже летом, казалась несбыточной...

Лучшим путем на его вершину считается юго-западный отрог, упирающийся своим подолом в кривую долину оглушительно бурной и многоводной реки Громотухи, этой старшей дочери южных склонов Ивановского хребта.

От Риддерска до начала этого отрога идет хорошая колесная дорога по роскошным гладким и тучным лугам.

От Риддерска кажется, что до Ивановского хребта рукой подать, что тут не будет и версты, но на самом деле до первой тропы на хребет от Риддерска не меньше семи верст.

Оставив на заимке лошадей, мы вооружились крепкими костылями и провизией и отправились на хребет пешком в девять часов утра.

Поднимаясь только на южный подол хребта, т. е. на самый отлогий подъем, мы то и дело должны были переводить дух.

Первое время мы шли по одному из безлесных ущелий и, палимые горячим июньским солнцем, очень радовались соседству журчащего сверху маленького ручейка и то и дело целовались с его серебряными струйками...

Но вот ручеек исчез. И чем выше шли мы, тем труднее был подъем, тем глуше воздух и горячее лучи солнца. А до первого плеча еще страшно далеко.

Идешь, заставляя себя не думать об усталости, и то и дело намечаешь условную грань отдыха: вот

до этого пня — и сяду... Нет, вот до этого кустика... А когда дойдешь, еще увидишь в пяти шагах какую-либо мету и, добравшись, обессиленный, падаешь... Слышно, как стучит сердце, хрипит в легких, а голова идет кругом и язык горит от жажды.

И снова идешь, и снова падаешь, забыв цель и смысл своего труда и изнемогая под беспощадной теплотой солнца.

Пошли леса, густые и высокие травы, море цветов, миры насекомых, но хребет все еще зовет вверх, все еще изнуряет оставшиеся силы...

Лежат полусгнившие буреломы, седые и обгорелые черные пни, с корнем вывороченные бурями деревья, крепко сжавшие в своих жилистых лапах целые пласты земной почвы и сотни мелких камней. Потихоньку шепчутся зеленые верхушки елей и лиственниц, а оставшиеся позади долины уходят все ниже и волны горных далей все синее, все дымчатей и ползут вширь и вдаль на десятки, на сотни верст...

Вот показалось первое снежное пятно, но кажется несбыточным, что когда-либо до него доберешься, чтобы утолить жажду, упав на его холодное тело... И кажешься сам себе ничтожным, беспомощным и жалким, и молишься душою человеческой мысли, победоносно ведущей к техническим завоеваниям, к покорению воздушной стихии и к избавлению человека от унижительного пресмыканья, в котором утрачивается всякая красота жизни и всякая прелесть созерцанья.

Но в половине второго пополудни я был уже у подножия последнего огромного холма, оставив далеко позади своих товарищей.

А еще через полтора часа я осилил и эту самую крутую, то и дело толкавшую гору и, подойдя к месту, где стоял когда-то огромный крест в память восхождения сюда какого-то епископа, я упал,

и первым словом моим было не благословение, а проклятие, ибо, совершенно обессиленный, я решительно утратил всякий смысл такого изнурительного подвига.

Упал и на толстом слое бурых мхов в ту же минуту уснул... А когда проснулся, то страшно дрожал от холода и, разложив из ветвей вереска костер, стал греться, в то время как далеко внизу пестрели бесчисленные полосы еще не созревших хлебов, а зеленые луга были наполовину усыпаны мельчайшими точками копен и стогов.

Спутники мои не приходили.

И только потом я вспомнил, что нахожусь на вершине Ивановского хребта, белые гребни которого так часто казались мне облаками с прозаичных Семипалатинских равнин.

И, войдя на один из жертвенников бурханизма [155], я видел и эти, кажущиеся далеким и неподвижным морем Семипалатинские равнины, и Заиртышские голубые горизонты, увенчанную темно-синими конусами величественную Аир-тау, и бурные волны гор Бухтарминского края, и безжизненные вершины Туругунского, Коксинского и Коргонского хребтов, и, наконец, лиловый лабиринт уходящей к западу убинской долины...

Вблизи же меня на восток уходили широким плоскогорьем совершенно безжизненные площади вечных снегов. Пегие, как пантера, и холодные, как саван земли.

Далеко внизу, на краю зеленого и гладкого, замкнутого в горы плато, как столпившееся стадо овец, пестрым пятном виднелось село Риддерское, а от самих ног моих бросалась вниз головокружительная пропасть-морщина, в глубине которой по непрерывным серым корумам то и дело рыскали рыжие сурки и их красивому и звонкому: «ку-фи» где-то в сердце горы вторило длительное и рассыпчатое эхо...

И всюду на склонах висели белые, снежные поля, а ниже непрерывной зеленой щетиной ползли густые леса...

...Подложив под один из тяжелых камней свою визитную карточку, я медленно тронулся вниз...

И когда спустился до самого нижнего снежного поля, где отлежавшиеся и обывавшие от усталости спутники мои таяли пятый чайник снега и весело играли в снежки, то солнце багровым пятном повисло уже над самым горизонтом и от длинных голубых теней глубокие горные ущелья казались задумчиво нахмуренными...



Историко-  
этнографический  
очерк



# АЛТАЙСКАЯ РУСЬ

## I

Величайшая сибирская гора, некогда получившая тюркское имя «Алтай», т. е. «Золотая гора», занимает площадь около полумиллиона квадратных верст. Представляя собою естественную стену между двумя колоссальными странами, Китаем и Сибирью, центром своим она имеет наиболее высокий пункт — ледниковую гору Белуху, возвышающуюся над уровнем моря на четырнадцать тысяч футов.

Белуха, как корона могучего царя Алтая, находится в стране заоблачной и очень редко сбрасывает с себя пушистую фату туманов. На вершине ее никогда не бывала нога человека. Только отважный путешественник Сапожников коснулся ее холодных плеч, но до вершины и он не мог достигнуть [156]. На площади несколько десятков верст там происходит своеобразная стихийная жизнь. Там дуют снежные метели, когда далеко внизу цветут луга, гремят громы, когда на небе нет ни облачка, там рушатся целые утесы льдов, шумят водопады, и сами горные скалы, как живые, передвигаются с места на место.

У подножия Белухи рождаются главные водные артерии, образующие на северных степных равнинах многоводную Обь. Огромный ледник Белухи рождает красавицу Катунь, а юго-восточные

отроги горного узла Табын-Богда-Ола, вдавшиеся в пределы Китая, дают начало большой горной реке Бухтарме.

Приняв в себя десятки малых рек, Бухтарма после доброй сотни верст своего течения сливается с красивой и бурной рекою Берелью, дочерью южного подола Белухи. Отсюда Бухтарма прокладывает свой путь мимо колоссального Алтайского хребта, протянувшегося на сотни верст к западу и переходящего в известный Нарымский хребет. Оставив этот горный хребет влече, Бухтарма меж высоких каменистых берегов течет более двухсот верст на запад и только в ста верстах выше Усть-Каменогорска вливается в многоводный Иртыш, пришедший из Китая. Таким образом, долина Бухтармы тянется по южному склону Алтая с Востока на Запад свыше четырехсот верст, и территория Бухтарминского края занимает значительную площадь — около пятидесяти тысяч квадратных верст. Бухтарминский край, образуя треугольник, граничит с севера с Белухой и долиной Катуня, с юго-востока — с Китайской империей, а с юго-запада — с долиной Иртыша и горными грядами Ивановского и Коксинского хребтов.

Так как малодоступные горные кряжи переходят в холмистые спокойные предгорья лишь у Усть-Каменогорска и севернее, у Змеиногорска, то и естественная русско-китайская граница в старину была именно здесь, у начала горных круч. Здесь и была учреждена пограничная казачья линия, отнесенная позже к востоку и получившая теперь название Бийской казачьей линии. Эта линия, идущая по Западному подолу Алтая, соединяет два пограничных отрога: Бийский — перед слиянием Катуня с Бией, и Усть-Каменогорский — при слиянии Иртыша с Ульбою. Этой же линией кончались прежде и русские владения, а все,

что лежало за нею, считалось нерусским, и частью было заселено смешанными тюркскими народами, частью оставалось необитаемым. И только в верховьях Бухтармы ютились служилые китайские люди, так как тут из Китая на Иртыш и дальше на Чугучак пролегал древний торговый китайский путь. Большинство же населения на Бухтарме состояло из кочевых племен киргизов [157] каратаевского рода, живших здесь самостоятельными княжествами, или ханствами.

Вся горная территория, лежащая тотчас за Бийской линией, у русского населения исстари имела общее название «Камень».

По мере того, как открывались на предгорьях Алтая казенные горные промыслы, а правительство прикрепляло свободных русских поселенцев к строившимся заводам, Камень все чаще стал привлекать к себе внимание обездоленных рабов русского крепостничества. Он сделался заветным убежищем для многих русских бергайеров и беглых каторжан, прослышавших, что там имеются поселения русских раскольников, Бог весть, какими путями прошедших в таинственные горные ущелья.

## II

Попавши в Бухтарминский край, вы невольно переноситесь в седую старину Руси Московской, когда русские славяне в основу жизни своей полагали религиозное начало, когда религия была смыслом и целью жизни. Она не всегда гармонировала с чистым евангельским учением и чаще всего отклонялась в сторону строгих обрядностей, но тем не менее она была непоколебима и крепко связывала в одно целое всю древнюю Русь. Религия не раз была и истинной правительницей Московского царства: она повелевала царям и правителям, и к голосу ее прислушивалась вся еще

не собранная Русь. Она же нормировала и гражданскую жизнь русского народа, и оттого средневековая Русь представляла собою громадную обитель, населенную миллионами суровых спавшихся людей.

Проникнутые религиозным экстазом, русские люди искали спасения в уединении и скитничестве. Старцы и юноши ходили по Руси Господа ради, уединялись в пустыни и закладывали скиты и починки, впоследствии выраставшие в монастыри, княжеские посады и крупные города. Вокруг одного только святителя Кирилла Белозерского в начале XVII века было выстроено 393 селения. Целый ряд крупных городов основан исключительно святыми отцами: Ростов — старцами Леонтием и Виссарионом, Смоленск — святым князем Феодором, Псков — Варлаамом, Великий Новгород — Михаилом юродивым Господа ради, и т. д. и т. д. [158].

В те седые времена русские люди в большинстве своем были одинаково необразованны, и поэтому энергия их духа целиком затрачивалась на религиозные убеждения, хотя и примитивные, но чистые и непосредственные. Оттого и имена тогдашних пустынников, несмотря на отсутствие почт, телеграфов и железных дорог, слышны были за многие сотни верст и привлекали к себе тысячи паломников, и нет ничего удивительного в том, что людские сердца, без участия властей и повелений, непосредственно и искренно причисляли таких пустынников к лику святых угодников. Естественно также, что множились и последователи их, и потому древняя Русь по заслугам имела название Святой.

С другой стороны, замкнутая в мрачных монастырских стенах, Русь была отрезана от всякого света, и рядом с чистотой веры свивало свои тенета и непроглядное невежество. Это-то невежество и послужило камнем преткновения для реформаторов

церкви и государства. Реформы патриарха Никона, а за ним и Петра Великого тяжкими ударами обрушились на окаменелую Русь. И как Москва сгорела от одной свечки, так и средневековая Русь раскололась на части от сугубой «аллилуйи» и от единого «аз» [159]. Невежественные россияне увидели в них гибель церкви Христовой и за двуперстное знамение пошли на костры и пытки, в темницы и ссылки, а упрямые реформаторы в тех же «аллилуйе» и «азе» увидели крамолу, грозящую гибелью государству.

И потекла благочестивая Русь под натиском преследования во все концы от сердца своей Родины. В поисках наиболее пустынных и безопасных мест одни уходили в Керженские и Муромские леса, другие — на побережье Белого моря, третьи — за границу, в Польшу — на Вятку и Стародубье, четвертые — в Пермские леса, а пятые — за Урал в Сибирские черневые тайги.

В поисках потаенных мест для насаждения религиозного благочестия русские раскольники в виде калик переходящих, горбунчиков и звероловов появились в предгорьях Алтая задолго до известного горнопромышленника Демидова.

С передачею же горных промыслов Кабинету Его Величества среди крепостных шахтеров уже ходила легенда о каком-то таинственном Беловодье [160], которое существует будто бы где-то поблизости, тотчас за Камнем, и которое нашли русские пустынножители — староверы.

### III

Надо представить себе жизнь горнозаводского рабочего начала XVIII столетия, когда кошки и дыбы, кнут и шпицрутен были единственной наградой за его каторжные работы в подземелье, чтобы понять мечту его о заветном Камне.

Вл. Г. Короленко в «Русском Богатстве», вспоминая о русской пытке, приводит следующую ци-

тату из Московских летописей: «В 1641 году мая в двадцатый день на Москве в Трубницах, во дворе Сибирского приказу пристав Яков Катаев вопил во всю голову... Рассказал, что-де он, Яков, сейчас привезен из застенка, пытан. А пытал-де его Большого приказу дьяк Иван Дмитриев в том, что у Сибирского приказу они, приставы, в Господские праздники и в воскресные дни на правеж государевы долговые и исцевые иски правят ли...» [161]

Итак, пытали даже пристава, и не за вину, а на том лишь, что «государевы долговые и исцевые иски правят ли...», т. е. аккуратно ли взыскивают казенные и частные налоги. Что же делает пристав, когда возвращается к «правежу» своему в Сибирские заводы?.. Он с лихвой берет у своих подчиненных за то, что «на Москве его испортили, руки ему на дыбе вывертели...» Он сечет и порет, бьет и мучает всеми муками безответного рабочего, «потому-де ему на сие приказ даден».

Истязания крепостного человека, как известно, вызывались не всегда необходимостью, но и привычкой к жестокости. Многие из господ находили в этом своеобразное наслаждение, и у них портился аппетит, если они перед обедом не удовлетворяют своего кровожадного инстинкта. Есть старики, которые еще помнят сороковые и пятидесятые годы прошлого века на Змеиногорском заводе. Они рассказывают:

«Николай Николаевич, уставщик-то наш, лютой был до розги, дай Бог свято почивать: как заметит, что поторжной-то [162] плохо дерет, вырвет розгу, да сам и зачнет, и зачнет...»

Другой старик, доживающий сто лет, припоминает такие подробности:

«В шахте-то двенадцатеро было. Они возьми, да лишку и сробь... Ну, а известно: не доробил — драть, и переробил — драть. Он, пристав-то, и рассерчал...»

Рассерчал, да всех их в чан, в воду со льдом, по горло посадил... Посадил, да и забыл, видно: гости у него были, жена именинница была... Они поторжного-то просить, молить, а он не смеет отпустить... Ну, кто покрепче — продрожал, а девятеро ко дну пошли, замерзли... Стали их выгружать, да и тех живых-то в холодильник тащат... Они и молят из милости: “Батюшки, живы, дескать, мы еще...” Э-э... домерзнут, говорит, в холодильнике, тащи и их туда...»

Что касается прохождения сквозь так называемый «строй», то это была одна из наиболее обычных мер наказания. Нередко «запарывали» насмерть, и если наказываемый лишался сознания, не успев получить положенное число розог, то добавляли после, когда вылежит в лазарете. Бывало, что и мертвому досчитывали остальные.

Но русский народ старого времени был чудовищно терпелив. Он нередко и на побои шел с песнею:

Ах, и трудно нам, ребятушки,  
Под рощицей стоять.  
Но еще того труднее  
Сквозь зеленую брести.

Так иронизирует над своей участью старый народ.

Пели истязаемые люди и все-таки брели сквозь «строй» под рощей поднятых таловых или березовых палок. Это были поистине каменные люди, нередко состязавшиеся в терпении. Они не только не просили пощады, но из них не могли «выбить» ни одного стона. Старые инвалиды рассказывают, что, когда их начинали драть, они брали в зубы полы армяка для того, чтобы не услышали их стона... За упрямство им прибавляли, но они все-таки молчали до конца.

Само собою разумеется, что в такой жизни бегство в Камень являлось светлой, почти несбыточной мечтою. Когда же истерзанному бергайеру

из-под тяжелого гнета удавалось перейти заветную линию и скрыться в лесах и ущельях Алтая, он приобретал чисто звериный инстинкт самосохранения и жестоко мстил за всякую попытку поймать его или сам платился жизнью.

В половине XVIII века все малодоступные долины и ущелья, горы и леса Алтая изобиловали тайными беглецами, прятавшимися и от преследователя, и от хищного зверя, и друг от друга. Укрываясь в какой-нибудь пещере, люди случайно сталкивались друг с другом и, как хищные звери, вступали в смертный поединок, потому что верить было нельзя даже самому себе, не только ближнему. И чаще всего беглецы старались жить в одиночку. Вырвавшись из тяжкой неволи, они прежде всего отдыхали на солнце в густой и зеленой траве, промывали в светлых ручьях свои незаживающие от побоев раны, сушили пахнущее колчеданом рубище. И уже потом приходили в себя и придумывали средства к существованию на сегодняшний день... Питались травами и ягодами, а чаще охотились, если не с ружьем, то с ловушками (кулемами) на зверей и птиц. А потом шли дальше, не ведая, что их ожидает впереди, но, имея одно стремление — уйти дальше, как можно дальше, от ужасной своей родины.

Шли и иногда встречали подобных себе бродяг или кандальников, прятались от них или падали их жертвою, иногда побеждали и в редких случаях находили среди них товарищей...

#### IV

Среди таких случайных товарищей чаще всего попадались сектанты-славяне, в котомочке своей имевших медные иконы и старопечатные книги. Тогда под тенью могучих кедров или лиственниц завязывался разговор о Боге, и иногда неверующий бергайер или каторжанин невольно попадал



под влияние сектанта и принимал от него новое крещение вместе с новым именем... Все старое проклиналось, оставалось позади, и начиналась новая, полная своеобразных особенностей отшельническая жизнь. И если поломанные кости ныли и напоминали о кошмарном прошлом, то тем сильнее привязывала к себе новая вольная жизнь, без каторжного труда и палок, без цепей и подземелья.

Отшельники-сектанты, пробравшись в Камень, поселялись в наиболее красивых уголках, и спасение души своей соединяли с созерцанием красивой девственной природы, тем более что во всем хотели подражать святым угодникам.

«Место оно, иде же все вселися святей, — говорится в жизнеописании почти каждого святого, — бор бяша велий и чаша, место зело красно, всюду яко стеною окружено водами и бе видение онаго места зело умиленно...»

А этих мест — «зело умиленных» — в те времена на Алтае было бесконечное множество. Обилие голубых и говорливых рек, высоких и причудливых гор, покрытых лесами и коврами из всевозможных цветов, — все это делало Камень земным раем, и люди от плетей и кандалов, от гонений за веру и от тяжелой работы шли туда, как в место, уготованное им еще при жизни за их земные мучения.

Уединенный в девственных лесах, окруженный только птицами да дикими зверями и обвеянный тишью безлюдья, человек чувствовал близость Бога и неприкосновенно оберегаемое здесь благочестие. Здесь закоренелый преступник невольно превращался в мягкого благоговящего человека, душа злодея должна была просветляться, благословлять жизнь, но зато как же дорого и ценилась такая жизнь после тяжелого унижительного рабства! Человек в один миг превращался в хищного зверя, когда что-либо становилось на пути к

его свободе и тайному уединению и напоминало о возможности снова тлеть в темнице или быть до смерти истерзанным плетью. Поэтому русскому беглецу легче и безопаснее было столкнуться в глухих лесах с диким зверем, нежели со своим братом бродягою. Даже полудикие туземцы-калмыки или китайцы, в погоне за зверем натывавшиеся на бородатого россиянина, в страхе бежали от его суровых глаз. И он шел все глубже в леса, все выше в горы, пробираясь по непроходимым тущобам, по опасным утесам, через страшные пропасти и бурные потоки, через «белки» и альпийские болота, пока перед ним не встала, как престол самого Бога, величайшая ледяная гора Белуха, родительница белых чудесных вод, таких белых и чистых, как те молочные <реки> с кисельными берегами, о которых рассказывают в сказках и которые уготованы в наследие только праведным.

Как тут было не дать волю фантазии, как было не поверить в существование рая и ада со всеми ужасами, нарисованными придавленным воображением?.. Как было первым славянам, попавшим на Белые воды, не вообразить себя спасителями истинной веры, нашедшими утраченное благочестие?.. И с непоколебимым убеждением они верили, что святое Беловодье и есть тот потерянный и возвращенный рай, к которому издавна гонимые русские люди шли через пытки и кровь, через истязания и преступления.

Инстинкт самосохранения возвышал их до чудовищного подвига в терпении, но они были убеждены, что сделали все во имя и по воле Бога. Оставалось благодарить Его и делиться своим счастьем со святыми угодниками, и усталый путник в жутком уединении, в лесах и на горах, распечатав свою котомку, доставал из нее маленький

медный образок, благоговейно ставил его на сучок могучей лиственницы и до изнеможения молился в исступлении религиозного экстаза.

И в тот момент, когда бродяга-сектант доставал свою медную иконку, летописец с полной уверенностью мог занести в свой берестяной свиток, что здесь, в глухих дебрях чужого царства, воздвигнут новый столб русской границы.

И каким-то чудом, может быть, в клювах воронов, а может быть, все в той же котомочке, понеслись таинственные вести обратно на понизовья, спустились в унылые долины русской каторги и тяжелой мужицкой долюшки вести о том, что святое Беловодье не сказка, а была настоящая... Что есть оно и что есть уже подвижники, спасающиеся христиане.

И вот пошла эта сказка продолжать свои хитрые узоры и увлекать умы и сердца, тронула души и действительно превратилась в быль.

Слава о заселившихся в глухих Алтайских горах русских людях перенеслась далеко за пределы Урала, и хотя там и не знали, где находится это обетованное новое царство, это благочестивое Беловодье, однако многие согбенные странники двинулись по пыльным сибирским дорогам искать его благодатную сень. Рабы суровой жизни, но богатырски терпеливые русские люди через цепи и плети, сквозь смертельные ужасы и препятствия пошли на Беловодье, а в котомочках, всего только в заплечных котомочках, понесли с собою и вековой уклад русской были, и свою суровую устойчивость.

И диву даешься теперь, что без почт, железных дорог и пароходов пришел на горы, в ущелья и за хребты весь тот тяжелый груз русского уклада, который вырос в Москве и Пскове и который кажется таким неповоротливым.

## V

Первых засельщиков на Алтайских горах ждали тяжелые испытания. Проникнув в глухие дебри, они попали в условия первобытных людей, у которых даже огонь должен был поддерживаться изо дня в день, — не всякий имел огниво и кремень. Даже жилье не так легко было построить, хотя лесу и было много. Орудие русской культуры, топор, был большой роскошью, и его мог иметь не всякий, поэтому в первое время строили простые берлоги, покрывали их берестой и таким образом защищали себя от непогод и холода. Кто имел топор, тот не выпускал его из-за опояски и ревниво клал под сиденье, когда приходилось беседовать с соседом. Бывали убийства из-за топора. Владелец топора был более обеспеченным человеком, он скорее и лучше других обзаводился жилищем и безопаснее других чувствовал себя в скитаниях по лесам и горам. Если нужно было перейти бурную реку, человек сваливал громадную лесину так, что вершина ее падала на другой берег, и по такому мосту переправлялся. Если он попадал в непроходимую чащу, то прорубал себе дорогу, если встречался со зверем, то смелее вступал с ним в борьбу. Кроме того, топор был незаменим при делании так называемых салков, маленьких плотиков, на которых люди спускались из верховьев рек с грузами своих охотничьих трофеев: тушами лосей, маралов, звериными шкурами и ягодами.

Самым тяжелым условием для первых засельщиков Камня было отсутствие хлеба. Те ржаные зацветшие сухари, которые когда-то лежали в котомке, были бы верхом благополучия скитников, если бы была возможность где-либо достать их. Но о них и мечтать не приходилось. Поэтому люди глодали черемуховую и таловую кору и питались мясом зверей: лося, марала и дикой свиньи. Но без огнестрельного оружия добыча этих

зверей представляла большие затруднения и даже смертельные опасности. В летнюю пору жилось лучше, потому что всюду было много ягод, ревеню, чесноку, дикого луку и так называемых пучек [163]. Когда же наступала осень — бедствия их еще увеличивались. Но колоссальная сила воли и богатырское терпение преодолевали все, люди шли на промысел, ловили в капканы первого попавшегося зверя, запасали из него пищу и на самодельных лыжах, с топорами за опояской прокрадывались к китайским пикетам... не обратно к русским границам, где жестокие розги страшнее голодной смерти, а к чужим иноверным китайцам... Много надо было русской хитрости и смелости, чтобы, не зная языка, расположить к себе «басурмана», взять у него что можно и ловко ретироваться восвояси.

Русские бродяги притворялись заблудившимися звероловами, в доказательство чего приносили шкуры белок, выдр и соболей, и китайцы, которых было на границе очень мало, не только снабжали своих гостей мукою, сухарями и солью, но и выдавали им необходимое оружие, ножи, огнива, ткани и нитки.

А позже, когда китайцы узнали, что русские люди поселились в их владениях оседло, они даже помогали им обзавестись хозяйством. Так, первым бегунам, заселившимся на реке Белой, Шарыповым, Лысовым и другим, было выдано китайцами по одной живой свинье и по одной козлухе на каждую семью — «на племя».

Но такая помощь не могла, конечно, избавить Бухтарминских «каменщиков» от лишений, какие они претерпевали еще многие годы. Достаточно сказать, что люди эти питались сваренными в воде лоскутьями своих кожаных котомок и обсасывали их железные пряжки. И при этом еще острили:

— А в ней, в этой коже-то, поди-ка, настоящее мясо ляжевало, потому она ведь скотская...

И когда первым засельщикам удалось посеять немного ржи, они с невероятным терпением зимою скоблили стеклышками в деревянных корытцах замороженные в воде зерна, чтобы получить столь желанное тесто.

Поставленные в такие условия, люди, казалось бы, должны были вести полузвериный образ жизни.

Однако в натуре русских беглых людей, как бы невежественны они ни были, помимо животного инстинкта самосохранения, было нечто более ценное и высокое. Это, конечно, была вера, слепая непоколебимая вера в Бога, а вместе с нею и вера в жизнь, в лучшее ее будущее. Что такое пережитые бедствия? Это только Божье испытание или искушение дьявола. И униженные и оскорбленные, рабы и преступники, беглецы и бродяги в дебрях Алтая закладывали свое новое, вольное царство.

## VI

К половине XVIII века в горах южного Алтая была уже целая сеть русских деревень.

Деревни эти были, разумеется, до смешного малы, но, разбросанные по ущельям, они плотно садились на новую почву и запускали в нее свои крепкие корни. Вернее, это были заимки в две-три, а иногда и в одну избу, но по тамошним условиям жизни изба с женщиной и квашнею, с топором и собакою — представляла значительный культурный пункт. Сразу становилось веселее на десятки верст вокруг, оттого что близко люди, оседло живущие совсем по-русски, с русским языком, с шатровой крышей и косячатым окошком. Не удивительно поэтому, что самая первая деревня, ныне именуемая Фыкалкой, искренно и без насмешки называлась «Большой Деревней», потому что в ней было семь домов. Собственно, об этих семи домах существуют различные версии. По одной — все семь изб были в куче, по другой — они были разбросаны по

окрестностям, примерно в двух-трех верстах одна от другой, а по третьей версии — тут жило в одно время семь мужиков, семь разных «забеглых».

Теперешняя деревня Фыкалка находится на другом месте, на речке Фыкалке, названной так потому, что старики, поселившиеся при этой речке, пока дошли до нее, порядком «пофыкали», то есть от усталости тяжело переводили дух, «запыхивались». Бывшая же Фыкалка, т. е. Большая Деревня, находилась верстах в десяти от теперешней, в полуверсте от правого берега роскошной по живописности реки Белой. Нам показывали шесть берез (теперь уже только четыре — две свалились), которые будто бы выросли на общей могиле шести первых «забеглых», основателей Большой Деревни.

Легенда, а возможно, что и правдивое предание, так повествует о происхождении этих шести берез.

Поселились тут в разное время разных бродяг семь человек. И была между ними одна женщина, почему шестеро завидовали седьмому, обладателю женщины, и всякий раз, как только он уходил промышлять, то есть охотиться, к ней заходили то тот, то другой, и чинили над нею насилия. Она будто бы очень любила своего сожителя, но боялась ему сказать о жестокой истине. Наконец однажды случайно съехались в избушку все шестеро, в то время как был дома и хозяин. Съехались и, по одной версии, в ссоре из-за хозяйки сами перерезали друг друга, а по другой — сметливый хозяин хорошо угостил их медовой брагой, а потом перерезал сонных. Сам он вырыл им общую могилу и всех похоронил, а с возлюбленной переехал на то место, где стоит теперешняя Фыкалка.

Такие случаи на романтической почве повторялись не однажды и после, хотя и с меньшим количеством жертв. Герои такого рода событий получили особое название «мясорубов».

Впоследствии профессор Шмурло в своих материалах [164] о заселении Бухтармы называет ее русских обитателей «буйными и своевольными крестьянами, стоящими вне всякого административного влияния, среди которых еще живы воспоминания об охоте за людьми».

Но нам кажется, что прежде чем обвинять в этом бухтарминцев, следует взвесить причины, по которым вырастали и буйный нрав, и неизбежность тяжкого преступления среди русских беглых.

Верно, что были и такие случаи, когда суровый россиянин, точь-в-точь как кавказский кабардинец, и ружья свои пристреливал по живой мишени, но это, во-первых, были исключения, а во-вторых, в тех условиях русской были, в которых протекали целые столетия, нелегко было избавиться от преступников и от злодеев. Они были и, к горькому прискорбию, есть и сейчас, и едва ли есть возможность избавиться от них в ближайшем будущем.

Но такого рода исключения едва ли дают основания для огульного обвинения целого народа, столь героически вынесшего на себе бремя тяжелых испытаний и сохранившего, несмотря ни на что, и свой человеческий облик, и свою бодрую жизнедеятельность.

Случаи кровавого зла чаще всего происходили из-за женщин, в которых на Бухтарме был недостаток. Многие забеглые побросали свои семьи и жен на родине, куда не смели возвращаться. Это послужило впоследствии причиной массового похищения чужих жен или девиц и вместе с тем способствовало более широкому расселению русских на Алтае. Для того чтобы дорогую добычу не отняли обратно, а главное, не учинили бы за кражу ее кровавой мести, похитители искали отдаленных убежищ, где и поселялись новыми заимками, прячась в них, как тайные разбойники. Женщина



свыкалась со своей участью; будучи же связанной с похитителем детьми, становилась верной его женой и хозяйкой. Впрочем, похищения чаще всего происходили с согласия самих похищаемых. Бежали жены суровых или старых мужей или неродные дочери, а также просто влюбленные в своих похитителей, которые окружали украденных подруг заботливой ласкою. Таким образом, русские все шире расселялись по горам и лесам, перекидывались через громадные пространства и фактически овладевали огромной территорией. Но центром, откуда расселялись русские люди, была все та же деревня Фыкалка. Из нее образовались сначала деревни Белая и Печи, основанные в 1742 году, затем в том же году Язовая и Коробиха. Через восемь лет — деревня Сенная, а еще через год — деревня Быкова. Но Фыкалка создала много деревень и в отдаленных от нее местах, в верховьях Бухтармы, по Берели, по Нарыму, Тургусуну и другим рекам. Из ее же беглецов основаны были первые заимки в среднем течении Катуня, где находится нынешний Уймонский край.

## VII

Уже в 80-х годах XVIII века «всякий беглый сброд», как говорит проф<ессор> Шмурло, представлял из себя в Бухтарминском крае маленькое государство, твердо ставшее на ноги, благодаря упрочившемуся материальному благосостоянию и богатствам природы.

Но, несмотря на свою вольность, царство это было все же воровским, принужденным прятаться и трепетать за свою независимость.

А с тех пор как благосостояние бухтарминцев упрочилось, и явилась надобность в сбыте излишков от охотничьего промысла, независимость этого «царства» подверглась большим искушениям.

Занимаясь главным образом охотой, «каменщики» имели постоянную нужду в орудиях производства и других продуктах культуры: железных изделиях, порохе, тканях, соли, зерновом хлебе и проч. Это заставляло их время от времени делать контрабандные вылазки из своих углов, а для таких вылазок требовалось немало изворотливости и риска. Поэтому свои охотничьи трофеи забеглые сбывали китайцам и русским через особых доверенных лиц, избираемых из своей же среды. Эти доверенные, или «торговые гости», люди наиболее изворотливые и смелые, сбывая меха и имея сношения с теми и другими пограничными государствами, должны были платить двойные взятки властям, что для них было обременительно. Кроме того, они поняли, что иметь дело с русскими купцами для них выгоднее и удобнее. Тогда они подбили наиболее речистых и богатых мужиков и написали прошение на Высочайшее имя о даровании Бухтарминским забеглым прощения за их укрывательство в чужой стране и о принятии их обратно в русское подданство.

В ответ на это прошение, поданное незначительной группой лиц, и даны были два знаменитых Указа императрицы Екатерины Алексеевны от 15 сентября 1791 года и от 20 января 1792 года «о прощении разного звания забеглых русских людей», а также обложении их ясаком и иными тяготами тогдашней русской жизни, за исключением отбывания рекрутской повинности.

Эти Указы императрицы Екатерины II для большинства бухтарминских «каменщиков» явились неожиданными. На головы вольных людей немедленно же посыпались различные приказы и повеления, реформы и нововведения.

Полученное 1 июля 1792 года в Бухтарминской земской избе повеление от Артиллерии гене-

рал-поручика Колыванского наместничества [165], правителя и кавалера Меллера, прежде всего гласило следующее: «... как Высочайшим Указом между прочим повелено: на избранных вами местах вас поселить, то желающим поселиться в здешних местах объявить, чтобы избрали удобные места отнюдь не в отдаленных *от рудников* местах и старались бы от нынешних своих жилищ *приблизиться к рудникам*; для узнания же, где и в каких местах сколько именно мужского пола душ поселиться пожелают, отправлен от меня уездный землемер Сергеев обще с заводской стороны унтер-шихт-мейстером Феденевым, которым показать те удобные места, и где кто поселиться пожелает на коликое число душ, для отвода каждому селению земли, но при этом наблюдать, чтоб менее десяти дворов или семейств в селении не было...»

«... А о платеже ясака в свое время дастею знать» (Из дел Бухтарминской Земской избы). И дальше: «В Высочайшем Указе от 15 сентября 1791 года *преступникам* воспоследовало все милостивейшее прощение, то дабы сию Высочайшую Милость все таковые преступники *восчувствовали...*»

Но, «восчувствовав» эту милость, беглые поняли, что вольной жизни пришел конец, и потому еще крепче стали западать в потаенных местах, подкупая местные власти считать их умершими или находящимися в бегах. Те же, которые были «прошателями», в том же 1792 году подверглись строгим допросам и через пытки и угрозы давали свои вынужденные показания вроде следующих: «Отроду мне 42 года, холост, родился ведомства Колывано-Воскресенских заводов от приписного к оним крестьянина Кирилла Легостаева... слободы Легостаевой, с коей был взят и проробил один год добропорядочно на Змеевских заводских работах... Однако в рассуждении своих выгод прель-

стился звериному промыслу в стороне Камне, иде же зверей изобильно, по легкомыслию своему вознамерился из той деревни Легостаевой отлучиться того 1783 году, а какого месяца и числа, не упомяну... Пришел в Камень пустым местом через Корокольские улусы скрытым образом. Во время вышеобъявленного побегу как смертного убийства, так и воровства и зажигательства не чинил, а вышеуказанный побег я учинил без всякой прекословности. И отныне желание имею быть в числе прочих ясашных и в какой оклад буду положен в указанные сроки, обязуюсь платить оной бездомочно...» (Из дел Бухтарминской земской избы).

И длинный ряд таких показаний, несмотря на утайку истинных подробностей хитрыми подканцеляристами, рисует в самых печальных красках бегство русских людей от непосильных телесных и душевных тягостей.

Так, бывший крепостной помещика Антона Францевича Дигариги, сын Прокопия Яковлева, повествует о своем бегстве следующее: «Жил я при моем господине добропорядочно, налагаемое от него, что принадлежало, исполнял безостановочно, где уж он, Дигарига, женил меня на привезенной сержантом Шабалиным, которой и поныне живет при нем, Дигариге, — девице Орине, Андреевой дочери. От оной же (Устькаменогорской) крепости мой господин переведен в штатскую службу в Кольванскую губернию, и я жил при нем с женою и сыном. Однако в рассуждении нетерпеливости как от господина Дигариги, так жены и при нем живущего прапорщика Шабалина, а по штатской службе чину его не знаю, но не хотя такого претерпевать во всякое время напрасного наказания, что тот Шабалин с моей женой имел прелюбодеяние, неоднократно я сам заставал» и т. д. (Из дел Бухтарминской земской избы).

Далее, сын Томского посадного Андрей Попов, 47 лет, показывает: «Вместо рекрутской службы был взят в Змеевский завод в горные работники, откуда бежал в Камень с товарищами соболевать, но, не зная пути, сбились с дороги и попались в село Пошенно, где пойманы, наказаны плетью и осуждены на вечное сидение в тюрьме при Семеновском руднике... И оттого во всякое время старались приискывать из тюремного содержания выхода способ пока из службы бежать, однако и убежал, но всех же моих побегов учинено пять» (Архив Верх-Бухтарминского волостного правления).

### VIII

Но передача в подданство не вытравила в забеглых людях их стоического терпения, старой веры и дедовского взгляда на жизнь. Они твердо продолжали пребывать в состоянии все той же окаменелости.

Вновь почуяв приближение горнозаводской цивилизации, бухтарминцы еще более замкнулись в старинном укладе, пускаясь на всевозможные хитрости, для того чтобы реформы и приказы начальства как можно менее влияли на их жизнь. Нередко приезжавшие в какую-либо ясашную деревню [166] для ревизии военные начальники с целым отрядом солдат находили ее совершенно пустой, так как ясашные люди прятались и ни за что не хотели показаться «посланцам антихриста». Больше всего они боялись, что их будут брать в солдаты и в горнорабочие на рудники. Боялись они также всяких мирских людей, потому что сближение с ними считалось великим грехом и еретичеством. У них всегда имелся какой-либо руководитель-патриарх, к голосу которого все чутко прислушивались и который был в то же время как бы доверенным лицом для разных дипломатических сношений с земской

избой, ближайшими властями и приезжим начальством. Этот же патриарх был и духовным наставником, он крестил и венчал, хоронил и исполнял богослужения в потаенных часовнях и правил «миром», как воевода. Особенно же трудной миссией для такого руководителя было учинять сделки со всякого рода начальниками, которым всем без исключения приходилось бить челом «от трудов честных подарками». Бывали случаи, когда эти патриархи являлись искупительной жертвой за свою маленькую республику: их хватали и угоняли в ссылку или тюрьму, а случаев, когда их пороли и сажали в амбары или в колодках держали при земской расправе, было неисчислимое множество. Случалось и так, что такой президент, приказав своему народу прятаться, сам оставался на всю деревню один и прикидывался или юродивым калекою, или немым и глухим и выдерживал самые жестокие пытки, но не произносил ни одного слова.

Но физические страдания не удручали их в такой степени, как нравственные испытания, когда с тяжелыми колодками на руках и ногах лучшие из них шли в ссылку и должны были видеть, как перед ними на длинном шесте кощунственно потрясали их святыни, медные иконы и старые книги.

Чтобы не видеть этого кощунства, старики часто перед обыском клали свои книги и иконы в печь, и, когда входили власти, сами поджигали дрова, и, если обыск затягивался, все сгорало в огне...

По месяцам и годам лежали их святыни в заклеистерившихся мешках муки на дне горных озер...

Так хранили остатки русского благочестия бухтарминские славяне, несмотря на свою полузвериную лесную жизнь. Крепко блюли и святыню семьи, во главе которой всегда стоял старший в доме, которому подчинялись все, боясь заслужить косой взгляд не только с его стороны, но и со стороны

друг друга. Старшим же в семье был тот, за кем чувствовалась сила и способность управлять и трезво взвешивать поступки каждого. Чаще всего им был дед. Когда же такой дед или прадед чувствовал себя не в состоянии следить за хозяйством и семьей, он собирал семейный совет и торжественно передавал свою власть сыну или жене, если она была им признана достойной для распорядка. И уж больше ни во что не вмешивался, а только молился и молча углублялся в себя. Лучшей утешью его было иногда узнать, что преемник достойным образом справляется с переданной ему обязанностью патриарха. Но часто такой патриарх властвовал до последнего часа своей жизни. А в смертный час собирал всю семью возле смертного одра и, уходя в загробную жизнь, оставлял каждому в отдельности свои отеческие заветы:

— Меньших-то не обижай, — говорил он старшему сыну. — А вы, — обращаясь к младшим, — слушайте его, да живите так, чтобы добрые люди не косились на вас да не насмехались. Чтобы в гробу-то я спокойно лежал...

И такие заветы блюлись как непреложный закон.

Иногда в роли главы семьи, нередко многочисленной, оставалась вдова, которая управляла домом и семьей так, что многие старики дивились ее распорядку. Это были поистине Марфы Посадницы [167], к которым прислушивались так же, как к духовным наставникам. Да и вообще бухтарминская женщина, несмотря на патриархальные нравы, была не рабыней, а полноправным человеком, и если в молодые годы она то и дело кланялась старшим, спрашивая от них благословения на всякое дело, это не считалось унижением, но особой семейной этикой, в строгом исполнении которой был особенный шик. Не поклоны были унижительны, а нарушение почета перед старши-

ми, и над теми, кто выказывал неуважение к старшим, смеялись как над людьми взбалмошными и глупыми. Уважение к старшим не было трудом или вынужденной обязанностью, потому что эти старшие не роняли своего престижа, но, напротив, всячески поддерживали его примерными поступками и любовью к младшим.

Прожить до старости без нарушения семейной и общественной этики — вот что было идеалом всякого идущего в жизнь человека. А оттого что в этом была искренняя вера, люди следовали этому без усилий над собою, с искренним удовольствием. Оттого и в семье всегда царили примерное миролюбие и созидательный дружный труд. Если и случалась когда несправедливость к какой-либо снохе, то она шепотком ночью сообщала о ней лишь мужу или молча переживала ее наедине с собою. Десяток и полтора детей от родных снох и братьев не знали между собой никакого различия, точно это были дети одной матери и одного отца, и все одинаково были обласканы старшими, которые называли их ласкательными именами и окружали примерной заботой. Никаких специальных воздействий воспитания не было, а дети росли удивительно чистыми и непорочными. Правда, где-нибудь на гвоздике для пристрастки висел прутик или двоехвостка-плетка, но в ход она почти не пускалась, так как добродушный дед только все грозил, начиная свою угрозу неизменно с молитвы:

— Это кто грезит, а? — скажет он и, насупив брови, потянется к плетке, произнося нараспев: — Господи Иисусе Христе Сыне Божий...

Разумеется, дети все же жались в уголок печки или полатей, а деду не приходилось даже и взяться за плетку. Высоко стояли супружеская верность и целомудрие юношества. В баню, например, ходили всей семьей, не исключая сынов и снох, дочерей



и взрослых парней, однако же, дурным инстинктам не было места, и брак, хотя и не скреплялся церковью, освещался редкой взаимной преданностью и доверием. Поэтому и жизнь до старости, полная трудов, а иногда и лишений, приобретала смысл, и никому не приходила в голову мысль о самоубийстве, за исключением чрезвычайно редких случаев, когда к этому побуждала какая-либо из ряда вон выходящая драма...

При таком семейном укладе естественно было уважение и к чужой семье, и жизнь отдельной общины не нуждалась в особых нормах или временных законах. Она протекала в мире и благоденствии, управляемая исключительно человечностью в отношениях друг к другу и той простотой нравов, которая не создавала хитрых узлов и условностей, но крепко связывала всех в одну общую семью-коммуну. Природные же богатства края обеспечивали безбедное существование, и ясашные люди из бывших рабов выросли в почетных бояр и витязей, не знавших над собою никого, кроме Господа Бога. И так протекло много лет, почти столетие, в то время, когда во всей Руси царили плеть и рабство.

## IX

Но вот шестидесятые годы <XIX в.> сняли цепи с поработанного русского народа, томящегося в шахтах и у помещиков, и тысячи новых гостей с ближайших казенных заводов двинулись в горы, а вслед за ними началась колонизация Бухтарминского края при помощи правительства. Были учреждены пограничные казачьи форпосты, возникли новые селения добровольных пришельцев из России, и, кроме того, потекли в горы с понизовьев так называемые «поляки», которым стало тесно на Убе и на западных склонах Алтая...

С этого времени начинается новая эра для бухтарминцев, ознаменовавшаяся в <18>80-х годах для них еще одной бедою: их повелено было брать в солдаты и взимать с них вместо ясака государственные подати наравне с прочими понизовыми крестьянами. Жизнь сразу приобрела иной характер, и хотя старинные устои, скованные веками и старой верою, были по-прежнему крепки, однако погнулись перед грядущим утеснением и усилившимся гонением за старую веру, и многие ясашные двинулись на поиски новых свободных мест. Многие ушли в вершину Енисея, многие погибли в голодных степях южного Китая, а многие перекинулись через Алтайский хребет и уединились на реке Кабе, где к нашим дням образовалось также целое царство, но уже с меньшей свободою. Таким образом, граница русского государства снова отодвинулась в глубь Китая, и Бухтарминский край теперь представляет собою редкую по богатству и густо населенную область с многотысячным населением.

Знаменитая Фыкалка, являясь прародительницей большинства русских сел и деревень на Южном Алтае, сама по себе за полтора ста с лишком лет выросла очень мало. В ней всего только 49 дворов при 336 душах обоего пола. Однако, несмотря на то что платежных душ в 1910 году в Фыкалке было всего 48, она внесла в казначейство одних только государственных податей 818 руб. 95 коп., а в 1911 году около 1300 рублей. Все же 8 селений Верх-Бухтарминской волости в 1910 году заплатили податей 13493 руб. 51 коп. при 5600 душах обоего пола и при 1046 душах тяглых. А всего на Бухтарме волостей 5, в них около 40 деревень с населением около тридцати тысяч, не считая трех казачьих станиц и целого ряда киргизских волостей.

Селения в Бухтарминском крае разбросаны в наиболее живописных местах, по берегам красивых

чистых речек, впадающих в Бухтарму, а некоторые и по берегам самой Бухтармы. Наиболее типичными селениями являются: Фыкалка, Белая, Печи, Язовая, Коробиха, Сенная и Быкова. Последние четыре деревни стоят на берегах Бухтармы.

Следует упомянуть, что громадные деревни Солдатова и Солоновка, населенные значительно позже так называемыми «поляками», пришедшими в 60-х годах XIX в. с рек Убы и Ульбы, с западных предгорий Алтая, составляют совершенно особую категорию и не считаются «ясашными».

Все эти ясашные деревни состоят преимущественно из густо настроенных деревянных домов древнерусской архитектуры. Правильных улиц почти нет. Дома строятся окнами всегда на солнце, так что очень часто на улицу выходят глухие стены без единого окна.

Дома обыкновенно очень высокие, с маленькими косящатыми окнами, покатыми крутыми крышами и замысловатой резьбой или хитроумной покраскою на ставнях или причельшках [168]... При домах, которые всегда строятся связью, т. е. с глухими сенями, разделяющими две избы, обыкновенно имеется глухое высокое крыльцо. Одна изба под собою имеет подполье, и в ней стряпают, столуются, спят и беседуют, а другая делается обыкновенно выше первой на три ступеньки и представляет собою домовую молельню. Называется она горницей, т. е. стоящей горне, выше избы. Там широкие божницы с множеством старинных икон, и в этих горницах уединяются для молитвы старики. Но чаще всего горница содержится холодной, нежилой и служит хранилищем разного добра: одежды на шестах, пряжи, холста, сундуков и т. п.

Под горницею обыкновенно находится темный подвал с потолком и полом, весьма низкий, так что надо ходить сгибаясь, и там хранятся съестные

припасы: масло, мед, солонина, пиво. Для хлеба же и прочих запасов имеются всегда крепкие амбары, а для сбури и орудий по хозяйству — обширные завозни. Для скота — просторные дворы и пригоны, в которых накапливается никогда не убираемый навоз, и потому часто заплоты врастают в землю, а летом скот бродит по жидкой грязи по колону. Бани в деревнях всегда черные, расположены по берегам речек, и в них не моются, а только парятся вениками, а потом совершенно красные и голые, прикрывшись одним веником, идут в речку и купаются. Это продельвается и зимою, несмотря на трескучие морозы.

Едят бухтарминцы хорошо, начиная день обедом. Вставшие рано утром, все сперва идут на работу и, уже «промявшись», часов в восемь-девять, — обедают, а около двух-трех часов «паужинают», и вечером перед сном ужинают. Таким образом, больше трех раз в день не едят, но зато все эти три раза едят плотно. А так как чаю ясашные люди никогда не пьют, потому что «чай делает поганый китаец, поклоняющийся дракону», то этот напиток заменяет квас, всегда хороший, ядреный и имеющийся в изобилии. Ложатся ясашные рано, тотчас как стемнеет, но и встают очень рано, летом на заре, а зимою после вторых петухов, до свету.

Без исключения все эти люди здоровые, цветущие, ширококостные и рослые. Мужчины большей частью темноволосые, а женщины белокуры. Взгляд всегда смелый, открытый, голос громкий и певучий, движения быстры и проворны. Все: и мужчины, и женщины, и дети, и старики — отлично ездят верхом и ездить на телегах не любят. Да в деревне Фыкалке, например, телег и нет. Есть одна двухколесная, да и та заведена недавно владельцем маслодельного завода для перевозки фляг с молоком. Поэтому всякие тяжести перевозятся

вьюками в громадных кожаных сумках, называемых «коржунами». На покос или на пашню в горы из ограды дома выезжает обыкновенно целая кавалькада, и все: и старые, и малые — на отличных лошадях и в отличных седлах. Впрочем, очень часто муж и жена или брат с сестрою едут вдвоем на одной лошади: мужчина сидит в седле верхом, а женщина позади его на одну сторонку. Но наоборот бывает в большие праздники, когда молодежь катается. Выехав из двора, парни едут по улице, а когда найдут своих подруг, то сами садятся за седло верхом, а девушек сажают в седла перед собою и, дав им в руки повод, сами, обняв, держат их. Зимой чаще всего катаются в пошевнях, всегда раскрашенных, с искусною резьбою.

Вообще бухтарминцы живут богато и весело. Большинство из них водки не пьют, но все пьют домашнюю хмельную брагу, которую на Уймоне называют «травянухой», а на Бухтарме «кваском».

Свойство этого кваску таково, что непривычный человек с одного стаканчика валится под стол. Но бухтарминцы выпивают его много и не сваливаются. Брага эта выдерживается годами и даже десятками лет в особых бочонках, закапываемых в землю.

## Х

Все яшашные бухтарминцы старой веры, часовенного согласия. Веру эту они считают пришедшей от праведников Соловецкого сидения и блюдут ее не столько по духу, сколько по строгому исполнению обрядностей. К таким обрядностям принадлежит, например, правило, что с иноверным человеком не следует не только есть из одной посуды, но и здороваться, а при разговоре не должно глядеть в лицо. Брак с иноверными считается недопустимым.

Браки совершаются наставниками-стариками, и весь обряд заключается в чтении кратких молитв и публичном благословении. Венчают всегда очень молодых: парня семнадцати-восемнадцати лет, девицу — четырнадцати-пятнадцати и шестнадцати лет. Впрочем, молодежь на Бухтарме развивается и мужает очень рано. Любой девице четырнадцати лет можно дать восемнадцать и двадцать лет. Очень часто в жены берут девиц старше женихов, чтобы была годная работница. Вообще, при браках обычно соблюдаются три выгоды: чтобы брак был полюбовный, чтобы молодуха была сильной и здоровой и чтобы несла с собою приличное приданое в виде скота, пчел или домашней утвари. Зато муж не всегда удовлетворяет второму качеству. Нередко он представляет собою слабого отрока, с которым молодая жена возится, как нянька. Был, например, такого рода брак. Остался круглым сиротою мальчик пяти лет, а домашность в наследство к нему перешла большая, и нет никого родственников. На сельском «вече» и порешили его женить. И женили на дебелий тридцатилетней вдове, которой и перепоручили все хозяйство. Приехали волостные власти описывать имущество, чтобы сдать его в опеку, и позвали молодуху на земскую. Она пришла и мужа своего на руках принесла. Волостные замяли это дело, не зная как выйти из затруднительного положения. А молодуха вырастила своего мужа и была ему вместо матери. Впрочем, на сорок пятом году жена умерла, а муж женился на второй.

Но очень часто брачатся теперь «убегом», т. е. воруя невесту от родителей. Это происходит по разным причинам: или потому, что молодые любят друг друга, а родители не дают на их брак согласия, или потому, что за невесту дорого просят, а у жениха нет лишних денег, или же, наконец, потому,

что жених одной секты, а невеста другой, и на добровольное благословение родителей нельзя рассчитывать. В этих случаях, перед тем как свести, т. е. повенчать, дьяк сперва приводит одного из брачующихся в свою веру. По истечении нескольких дней или недель, когда сердца обиженных родителей поуходятся, молодые едут к ним «прощаться». Иногда родители и слышать не хотят и клянут дочь-непослушницу, но чаще всего примиряются с ее выбором и, заключив мировую сделку, устраивают свадебное пиршество.

Нелишне заметить, что исстари ведется обычай не брать невест в своей деревне. Объясняется это тем, что в своей деревне все больше родственники. Поэтому берут в другой, а в обмен отдают в нее из своей. Так, например, бухтарминцы вот уже около ста лет поддерживают такие отношения с уймонцами. Уймонский край находится примерно в 200 верстах от долины Бухтармы, и ехать туда надо по опасным горным тропам, россыпям, альпийским болотам и «приторам». Однако ежегодно к Петрову дню туда или оттуда отправляются громадные кавалькады. Нынче, например, едут беловцы или язовинцы и фыкаляне на Уймон, а на будущий год уймонцы на Бухтарму. В этих поездках по преимуществу участвует молодежь: мужья с женами или холостые парни с сестрами. Картина такой поездки чрезвычайно красива. На фоне роскошной горной природы вырисовывается длинный пестрый караван всадников, едущих по узкой опасной тропе над стремниной. Все в ярко-цветных нарядах, на лучших лошадях, в роскошных седлах: молодые, здоровые, красивые, с веселой речью и бесшабашной удалью, люди эти способны возбудить к себе зависть изысканных горожан. В эти-то поездки и происходят новые брачения или похищения невест. Гостей обыкновенно утром в Петров день

[169] встречаются у околицы целой толпою, с пивом, песнями и почетным приветствием. Бывает, что ушедшая замуж девица с дороги бежит обратно. В 1911 году на Уймоне нам удалось говорить с такой беглянкой. На вопрос, почему она убежала от своего новобрачного, она ответила лаконически:

— От этого-то ведмедя и ты убежал ба!

Действительно, парень был великаном в сравнении с молодой и хрупкой девушкой, и она в первую же ночевку на одном из «белков» вырвалась из его объятий, скользнула к лошадям и, оседлав первую попавшуюся, — была такова. Благо, что, рожденную в горах, ее не могли задержать ни страшные приторы, ни темная ночь.

Вообще бухтарминский народ отличается редкой отважностью. Никакие преграды для него не страшны. Чрезвычайную опасность, например, представляют переправы через горные реки, однако люди спокойно перебираются через них и, если придется, отважно гибнут.

## XI

Все бухтарминцы живут за счет природных благ и занимаются скотоводством, хлебопашеством, пчеловодством, мараловодством, охотой и рыбной ловлей. Пашут почти все без исключения, хотя и понемногу, а так как на высоких местах не везде родится пшеница, то сеют овес и выменивают на него пшеницу у понизовых соседей. Скотоводством занимаются решительно все. Пчеловодством — одна треть населения, а зверовой промысел теперь составляет явление случайное, между делом, потому что звери на Алтае почти истреблены, как истреблена и рыба. Раньше рыбы было так много, что брали ее из озер и рек, как из складов: придут, в день нагрузят полные сумы и отправляются обратно, бросив не вошедшее в сумы прямо на берегу. Легко



добывался и зверь, особенно соболь и белка. Нынче не то, и промыслы на рыбу и зверя пали. Зато особенно развивается мараловодство, которым занимаются, впрочем, далеко не все, а лишь наиболее состоятельные. Интересно, что, благодаря мараловодству, бухтарминцы несут большие податные обложения, чем в иных понизовых волостях, ибо крестьянские начальники в раскладочном присутствии всегда ссылаются на то, что бухтарминцы богаты, так как занимаются мараловодством, и, значит, могут платить больше...

Нелишне сказать несколько слов о грамотности, которая среди бухтарминцев стоит весьма высоко. Грамотеями являются большие люди, прикосновенные к Писанию, пишущие по-церковнославянски и дальше псалтыри не идущие. Министерских школ в перечисленных селениях нет ни одной. Есть одна церковная школа только в деревне Сенной, где есть и православная церковь, но здесь много православных жителей, и школьниками являются их дети. В селах Солдатовой и Солоновке есть земские школы, но одна из них, Солоновская, не функционирует, потому что командующими большинством общественников являются староверы, имеющие свои школы, которые представляют собою также любопытный осколок русской древности. Во главе таких школ стоит обыкновенно дьяк, или наставник. Школа помещается в одной из его изб. Дети сидят на низеньких чурках или досках, лицом в передний угол. Перед ними на лавках лежат развернутые псалтыри и часословы, и дети во весь голос твердят по ним азы или псалмы. От звонкого общего крика в несколько дней можно оглохнуть, но они, стараясь перекричать один другого, твердят целыми днями одно и то же. Учитель приходит в избу только в начале дня задать «отселева и доселева» и вечером отпустить ребят. Изба, по обык-

новению, жарко натоплена, так что дети снимают сапоги и сидят босыми, но обязательно в черных нанбуковых кафтанчиках, называемых «подоблочкой». Уже к Рождеству дети от ужасного воздуха, нервного напряжения в зубрежке и усердия к науке становятся худыми, желтыми и раздражительными. Учатся таким путем они по три и по пять лет, пока не «выйдут всю науку». А «выйти всю науку» — это значит усвоить то, что знает их учитель, т. е. уметь читать, «как рекой брести», псалтырь и часослов, все молитвы и знать потребное богослужение. Дьяки за науку получают больше натурой: пшеницей, медом, маслом и проч. Знаменитый начетчик Асон Емельянович Зырянов, живущий в деревне Белой, является, как бы окружным инспектором по насаждению грамоты, и все богачи края считают великой честью отдать в науку своего ребенка именно Асону Емельянычу. Асон Емельяныч берет детей к себе на жилье на целый ряд годов, за исключением немногих летних месяцев, и поучает их не только грамоте, но и догматам старинной веры. Сам по себе Асон Емельяныч — большой умник, грамотей и толковый расколоучитель. Ему уже около семидесяти лет, но он еще очень крепкий человек, с твердым характером и большими полемическими способностями. Он умеет примерять суеверие даже и с нашим хитроумным временем. Асон Зырянов пользуется в крае издавна большим почетом и очень популярен. Но теперь его ученость и престиж подверглись сомнению со стороны некоторых его наиболее твердых в староверии прихожан. Он повесил в Беловской часовне колокол и паникадило и, кроме того, «присоглашает» всех стариков записаться в старообрядческую общину. Старики в этом нашли ересь: колокол льется с благословения православного архиерея, паникадило является новшеством, а «приклонение» в общину значит,

что всех хотят «подогнать под Антихриста», стало быть, Асон изменник... Жили, мол, без общины и без колокола сотни лет, и тако жить будем...

Но таких протестантов немного, так как все древние старики один по одному убывают, сходят в могилы, и Асоновы реформы, несомненно, восторжествуют... А это уже крупный шаг от каменных скрижалей старины в сторону уступок современности. Если бы и могла сохраниться древнерусская старина, то только под броню именно упорного протестантства и искреннего религиозного фанатизма, а так как для него теперь места на Руси не остается, то, естественно, что и староверие должно уступать духу времени и, хотя и в хвосте, но все же тянуться вслед за самой жизнью.

## ХII

Нельзя не упомянуть в заключение об Алтайской ярмарке, происходящей ежегодно в Катон-Карагае (вернее, в станице Алтайской) и представляющей собою красочную картину из жизни алтайских народов.

Ярмарка эта открывается 6 декабря и продолжается две недели, как раз в такое время, когда на южном Алтае только что устанавливается санный путь.

Эта ярмарка имеет крупное экономическое значение в крае.

Разного рода товаров: пушнины, сырья, хлеба и пр. — привозится ежегодно на 300-400 тысяч рублей и почти все находит сбыт. 1911 год [170] был годом неурожая, не было ни меда, ни пушнины, ни хлеба, однако оборот ярмарки достиг: привоз — около 300 т. руб. и сбыт — около 200. Пушного зверя было продано: соболя 100, лисиц 150, волка 120, медведя 40, белки 2500, горностая около 1000, всего на 12 тысяч рублей.

Почти все население Бухтарминского края сосредоточивается тогда в Катон-Карагае и его окрест-

ных деревнях. С низов, до Семипалатинска включительно, наезжают купцы с мануфактурой и иными фабрикатами, закупают здесь сырье, пушнину и жиловые товары. В свою очередь, киргизы прибывают со скотом, сырьем и мясом, а крестьяне — с хлебом, медом, маслом, льном, пушным зверем и прочими товарами своей добычи.

Но самое значительное в Алтайской ярмарке — это прибытие кара-кирейцев из пределов Китайской Империи. Караваны вьючных верблюдов в десятки и сотни штук представляют собою величественную картину. Кара-кирейцы привозят сырье, главным образом сырые шкуры скота и обменивают их на хлеб, выделанные кожи, железные изделия и мануфактуру.

Общий вид ярмарки представляет чрезвычайно пеструю картину: тут и цивилизованный европеец, и полудикий киргиз, чиновник и мещанин, казак и ясашный, сарт и бухарец, калмык и кара-киреец. Словом, представители почти всех племен, наречий и состояний великой Азии собираются сюда в маленькое пограничное местечко Алтая.

И ярким праздничным пятном выделяются на общем фоне расфранченные бухтарминцы. Верхами и на пошевнях едут старики и молодые, мужчины и женщины. Лошади в посеребренной сбруе, люди в богатых меховых шубах, с широкими шелковыми поясами, в шапках с четырьмя углами и в кашемировых шалях. Когда вечером с ярмарки возвращаются в ближайшие деревни крестьяне, дороги от Катон-Карагая положительно гудят от лихих подвод, запряженных парами и тройками, и от шумных кавалькад с ловкими всадниками. Тут же большими группами скачут киргизы и тянутся длинные караваны верблюдов в окрестные аулы на ночлег. И когда встречаешь краснощеких полнотелых русских женщин и представительных бородатых мужиков,

правлящих ретивыми конями, кажется, что Московская Боярская Русь ожила и благополучно здравствует где-то в угрюмых колоссальных горах иного и вольного царства, завоеванного рабами, бежавшими когда-то от цепей и палок.

Но невольно вспоминается, что завоевание края не обошлось без причинения тяжкого ущерба туземному инородческому населению. Напротив, каждый шаг приносил тяжелые удары киргизам, которые теперь являются какими-то пасынками в своей отчизне и, лишенные земли для своих табунов, арендуют неудобные земли у Кабинета.

Таким образом, настойчивый и упорный россиянин построил свое благополучие на развалинах чужого, но, по злой иронии судьбы, ему не удастся, очевидно, торжествовать своей победы, так как переселенческая компания последних лет разрушительным смерчем повисла над краем, и угрожает ему постепенным разорением. Неизбежное и окончательное истребление лесов и зверя, а вслед за тем и обмеление красивых и многочисленных рек и речек, являющихся чудотворным кропилом этой благодатной страны, несут ей в будущем медленное оскудение.

Но бухтарминские славяне, замкнувшиеся в отжившей патриархальности, все еще полны пережитками былого и не знают, что беда стоит у них за плечами. Они по-прежнему верят в Антихриста и Сатану, по-прежнему ограждают себя от всяческих религиозных новшеств и еретичества и ведут почти первобытное хозяйство. Ожидая Антихриста в виде страшного чудовища с огненной печатью, они не знают, что беда грозит им не с той стороны, а со стороны цивилизации, которая постепенно вытесняет старые, отжившие устои, и вытеснит и их самих, если они будут упорствовать в своей косности. Однако можно надеяться, что бухтарминцы, наде-

ленные природной мудростью, настойчивостью и выносливостью, сумеют понять необходимость подчинения неизбежному ходу жизни и сумеют приспособиться к новым условиям. Но как бы то ни было, в настоящее время жизнь этих людей еще полна своеобразной мощи, делающей их совершенно не похожими на приниженного и ограниченного крестьянина центральной России.



Цикл очерков



# ПИСЬМА К ДРУЗЬЯМ

## І. Под диктовку интимности

Нет, я не в состоянии освободиться от привычки делиться своими думами и впечатлениями с другими. Правда, вчера я почувствовал было некоторое облегчение от тех забот [171], которые своей срочностью и многообразием ежедневно доводили меня до полной апатии к самому себе и к своей душевной гимнастике... Но сегодня с утра мне уже не по сердцу беспечная леность, и я хватаюсь за свое орудие — перо, чтобы побеседовать хоть с вами, мои милые и далекие друзья.

Впрочем, на беседу с вами я хотел бы смотреть как на приятное отдохновение, а не работу.

Итак, в этих письмах к вам я только ваш близкий друг и человек, покидающий свой захолустный родной угол для того, чтобы, перекинувшись через Урал, потолкаться некоторое время в так называемых центрах русской культуры и цивилизации, и вы не будете строги к моим недостаткам в этих письмах.

Все, что так или иначе коснется моего сознания или сердца, я буду добросовестно, хотя и кратко, сообщать Вам, но сообщать так, как мне Бог на душу положит. Мне слишком надоел тугой литературский мундир, и с вами я хочу поболтать по-семейному, не заботясь о системе и стройности изложения.

Говоря о родном захолустье, я уже наметил остановиться на нем сейчас же.

Уверяю вас, что я заранее радуюсь не тому, что еду в столицы, эти кипучие котлы, наполненные благами человеческого разума, а тому, что буду возвращаться оттуда, натасковавшись о родной глуши и этой простой, но более цельной и неиспорченной жизни.

Здесь дело не в розовом, конечно, оптимизме, а в том, что кто свою страну любит простой и свободной любовью, — тому, должно быть, такая любовь дает только одно удовольствие. Любовь есть жертва собою, почти самозаклание, но только такая жертва, которая доставляет высшее наслаждение тому, кто жертвует. И потому она перестает быть жертвой тотчас, как поймешь, что в этой жертве твоя единственная привязанность к жизни.

В отношении меня так оно и есть. Сейчас я вам это объясню.

Вот вы, например, часто упрекаете меня в том, что я слишком изнуряю себя многообразием работы и беру на себя не по плечу, не по силам. Что от этого я не имею возможности лучше обрабатывать то, в чем больше смысла. Правда ваша, я слишком азартен и жаден в работе, мне хочется успеть сделать страшно много, ибо время не ждет, а работы кругом — непочатый угол. Но поймите вы, что в этом-то азарте для меня и весь смысл жизни. Вне его я не живу. Наконец, тогда я скучаю и чувствую никчемность своего существования. Но зато в его сфере, в сфере этой рабочей запальчивости, я всегда насмехаюсь над самоубийцами, которые уходят добровольно от жизни, тогда как в ней такая масса интересного, неизведанного и несделанного. Я не могу себе представить, как можно, например, не заинтересоваться страной, в которой всегда, как в колоссальнейшем музее, такая уйма замечательных диковин. О, я сейчас совершенно далек от элементарной филантропии,

которая мне иногда даже противна, как и всякая благотворительность, плодящая нищих, но я говорю просто о любопытстве к жизни и к стране и к времени. Вот я побывал во многих странах [172], но это капля в море, и я почти ничего не видел из того, что есть на свете. Мне хочется бесконечно ехать по земле из края в край, от моря до моря и внимательно все осматривать, все понять и надо всем задуматься. Мудрость жизни так необъятна, что смешно ее решить одним выстрелом или пилюлей цианистого калия...

Вот я и спешу, и в спешке своей, в своей запальчивости, может быть, и смешон и непригляден... Что ж делать?

Мне напрашивается одна аналогия.

У моего отца была небольшая рыжая лошадка. У нее были уродливые копыта, и от этого лошадка была малосильна. Зная свой недостаток, всегда, когда требовалась сила, она брала поспешностью. Где-нибудь перед горкой, или в грязи, или в снегу она заранее горячилась и сильно натягивала построжки. При этом если она была в тройке с более сильными, но более ленивыми партнерами, то в трудных местах подхватывала и вывозила одна, потому что не полагалась на других, а только на себя... Так она однажды, надорвавшись, и подохла в оглоблях...

Вы понимаете, конечно, что я от всего сердца приветствую память о ней:

— Честь и слава тебе, искренняя труженица...

О деталях этой аналогии, конечно, излишне распространяться...

Скажу только, что недавно мой доктор посоветовал мне отдыхать, воздержаться от работы, так как иначе мне будет худо.

В этом предупреждении я не мог не понять угрозы:

— Смерть подкрадывается!..

А раз так — значит, и надо торопиться, значит, и надо натягивать постромки, чтобы не завязить свой воз на дороге в обывательской грязи и вывезти его хоть на маленький, маленький взлобок... Оттуда легче будет другим везти. Да наконец отказаться от своего воза, когда его с не меньшим напряжением везут другие, было бы просто не по-товарищески.

Кстати, об этом нашем возе молодой сибирской литературы.

Я необычайно доволен тем, что этот воз действительно потихоньку начинает ехать. Я вижу впряженной в него целую семью довольно сильных, хотя еще и молодых и робких товарищей. Но хочется верить, что они скоро окрепнут, твердо станут на ноги и пойдут дружно рядом на битву против тьмы и общественной спячки.

Нива сибирской литературы и поэзии только что засеяна, она уже лоснится под лучами сибирского солнца своей юной свежестью и чистотой и скоро, скоро заколосится, наполняя красивые зерна, — эту духовную пищу будущего культурного сибирского общества!

Я не могу в это не верить, так как чувствую, в какое интересное время живу и работаю. Я не могу в это не верить потому, что это возможно, тогда как я являюсь свидетелем и действующим лицом даже невозможного. И я считаю великим счастьем и радостью то, что вот я, скромный сын своего полудикого Алтая, имею возможность печатно беседовать с сотнями, а может, и тысячами своих сородичей и земляков!.. И верю я, что большинство их понимает меня и горит тем же желанием — идти вперед и вперед, к идеалу любви и света!

О, темные силы нам помешать не могут, так как тьма первая и сама бежит от света, если оно ярко и высоко, как Солнце!..

Вы удивляетесь, друзья мои!.. Вы не узнаете меня и упрекаете в чрезмерном увлечении иллюзией?.. Что ж!.. Хоть в мечтах, сидя на пароходе и глядя в унылые сибирские дали, унести в область прекрасного, тем более что отсутствие редакторского кресла позволяет мне это...

Ну, пока, крепко жму ваши руки!

2 октября, между Камнем и Новониколаевском

## II. Подорожная мозаика

Сегодня с самого утра погода надула губы и хмурится, как забаллотированный союзник [173].

Зато ночь была роскошная. Очень пожалел, что не владею свободно стихом. Попробую коснуться в прозе того, о чем я написал бы стихи [174].

Представьте себе тихую ночь, слегка морозную и залитую матовым светом неполной луны. Один, левый, берег Оби крутояр и высок, а другой — тонкой каймою уходит в тусклую даль и молчит в своей неподвижной дремоте. Река как будто уснула, а гладь ее буравит только наш пароход. По крутому яру, как светлый шар, подскакивая и припадая к земле, бежит луна. Она бросила поперек реки светлый столб, который преломляется косыми и горбатыми пароходными волнами, качается, разрывается на отдельные звенья, снова срастается и змеится, как золотой жгут, погруженный в темную глубь воды.

То там, то тут мерцают огоньки бакенов, двоятся в воде и маячат приветливыми, зовущими глазами.

Я стою на переднем балконе и слушаю две музыки: одна внизу, бурная и могучая, — это спор воды с бортами парохода, другая рядом, в ярко освещенном салоне первого класса... И та и другая сливаются для меня в оригинальный дуэт, и я уношусь в область старых сказок, таких же старых, как стара сама Обь и ее уснувшие берега...

От носа парохода отбрасываются наискось две белые пушистые волны, и потому пароход мне кажется с большими усами, зыбкими и длинными, идущими до самых берегов... Я слушаю музыку воды и пианино, всматриваюсь в черную глубину реки и в темную кайму прибрежной тайги и думаю: «Вот воскресли бы древние татары, некогда населявшие тайгу, вышли бы на берег, к опушке ее, и посмотрели бы на странную диковину, бегущую по реке в целом фейерверке ярких огней... Что бы они подумали?.. Они выпустили бы из смуглых рук натянутые луки и пали бы на колени от страха и недоумения...»

В салоне за пианино какая-то барышня. Она играет неуверенно и с ошибками. Может быть, она робеет от присутствия незнакомцев, остро и пристально вглядывающихся в формы ее стройного тела. В уголке салона, за отдельным столом сидит некто, один, в серой модной паре, и чокается с графинчиком, стоящим рядом с остывшими битками. Посреди салона, у большого стола, сидят две дамы и толстый господин. Они громко разговаривают. А двое еще, офицер и штатский, прохаживаются по салону и все стараются заглянуть в лицо барышни. Похоже на то, что они решили во что бы то ни стало познакомиться с нею и заговорить, но никак не могут выбрать момента.

Я захожу в салон и прошу себе чашку кофе.

Оказывается, сидящий отдельно в уголке господин не только чокается с графином, но и ведет с ним философскую беседу.

— ...Я говорю, мол, что такое, например, общество... да... Н-да, — говорит он негромко, как бы секретничая с графином, — вот я, например, так сказать, тип... то есть, ну, да!.. Тип общественной организации... Собственно говоря, кооперации... Н-да...

Он снова наливает себе рюмку, сильно стучит ею о графинчик и громко произносит:

— Пью за процветание Сибири!..

— ?!?!?!..

Барышня обрывает свой вальс и, наклонив голову, покидает салон. Офицер пытается прочесть от важному сибирефилу нотацию, но тот, свесив голову, никнет к полу и вскоре издает свист носом...

Для меня эта сценка показалась весьма знаменательной: наконец-то я услышал тост за процветание моей родины...

Берега Оби потускнели под хмурым взглядом неба. Кое-где на них лежат обрывки снежных полей. Лиственный лес стоит нагим, и оранжевые листья устилают землю серым преющим ковром. Местами с яра свалились ели и вниз вершинами беспощадно лежат на серой глине.

Широкой мутной пеленою стелется река, морщится, как сердитое лицо скупого хозяина, и веет от нее холодом и тоскою.

Село Камень [175]. Будущий город, неуклюжий и типичный для нашего времени. Как деревенский кулак, который вдруг раздобыл от сытой жизни и вылез из неладно сшитого пиджака. Рядом с маленькими убогими домами местных крестьян — огромные багровые каменные дома разночинцев, как среди тощих выпитых мух пауки...

Сказки рассказывают о Каменской торговой лихорадке. Все впопыхах от жажды к наживе и спекуляции. Здесь я встретился со своим старым приятелем [176] А. Г. Сунгуровым, владельцем типографии и бывшим издателем «Омского слова», приостановленного весной 1909 г. степным генерал-губернатором Шмидтом.

Это наиоригинальнейший человек, отличающийся тем, что, зарабатывая типографией около 6-7 тысяч рублей в год [177], он ничего не имеет сам и представляет из себя источник средств к существованию тех, кто предпочитает жить как пти-

цы небесные, не сея и не пожиная... Дворянин и аристократ, обладатель необычайной энергии, он вечно кипит в работе, и подвернуться под его горячую руку не всегда безопасно...

Однажды он, еще в Омске, вытолкал из своей конторы «знаменитого» отца Голосова, любимца бывшего епископа Гавриила.

Дело было так.

Отец Голосов явился в контору с какими-то претензиями и позволил себе повысить голос на одного из служащих. Услыхав это, г. Сунгуров вышел в контору и, увидев, что священник стоит в шапке, сделал свирепое лицо и показал правой рукой на иконы, а левой — на голову священника и затем на дверь, громко крикнув:

— Вон!..

Отец Голосов оторопел и вступил в полемику.

Тогда хозяин типографии повернул его лицом к двери и буквально вытолкал.

И странно, что, несмотря на тогдашние большие свои связи, отец Голосов ни одним словом не обмолвился об этом инциденте, и Сунгурову это так и сошло.

Он потом даже каламбурил:

— Как истинный служитель Христа, он должен был подставить мне другую спину, если бы она у него была...

И потом возмущенно восклицал:

— Служитель Христа, а перед иконою Его шапки снять не изволит, а?!

Впрочем, всех чудачеств Аркадия Григорьевича не перескажешь. Скажу только, что от него, несмотря на 64-летний возраст, веет необычайной силой жизни и юношеской бодростью. И проведенные у него несколько часов я вспоминаю с удовольствием. Это были часы здорового смеха, веселья и забавных рассказов...



От Камня в салоне второго класса ехала группа молодых людей из Славгорода [178].

Странные разговоры я услышал между ними. Не хочу приводить их целиком, слишком они неприятны для слуха. Однако должен коснуться их содержания.

Ночь в ожидании парохода они провели в каком-то веселом доме Камня и воспоминания о подробностях этой-то ночи и внесли с собою на пароход. Все их монологи и диалоги были пересыпаны словами, смакующими грязные развлечения, выпивку, игру в карты, орлянку и пр.

Судя по характеру речи молодых людей, это чуть оболваненные крестьянские парни, одетые, однако, совсем по цивилизованному, в котелки и галстучки, в пиджаки и брюки «навыпуск».

Теперь я понимаю, за какой сорт «процветания» Сибири пил пассажир в салоне первого класса.

...Ночью, в 11 часов, мы подъехали к Новониколаевску. Я не стану описывать вам всей грязи и неудобств в этом «Сибирском Чикаго» [179]. Всякий из вас лучше меня осведомлен о благоустройстве молодых и старых сибирских городов...

Здесь я призадумался над вопросом, не сделать ли мне крюк и не посетить ли Сибирские Афины [180], в которых я не бывал вот уже полтора года и которые мне так дороги по многим причинам...

Да, я еду в Томск!..

Поезд идет вскорее, и потому во втором часу ночи я уже мчался на север, укачиваемый на рессорах микст-вагона.

Здесь уже настоящая зима: много снега и веет совсем зимним холодом.

Быстро бежит назад поредевшая тайга, и в пустыне ее внушительно и четко ведут железный разговор вагонные колеса с рельсами...

Засыпая, я радуюсь тому, что проснусь уже в «Афинах», где, вероятно, увижу и услышу так много нового и интересного.

Конечно, я обо всем поделюсь с вами...

Томск, 4 октября 1912 г.

### III. На открытии дома науки

Мне на этот раз очень повезло. Я попал на редкое и знаменательное торжество — на открытие первого в Сибири приюта для ищущего света и знания простолюдина, на открытие Дома науки, предназначенного в будущем для помещения в нем народного университета.

Дом науки воздвигнут заботами и средствами почтенного книгопродавца П. И. Макушина [181], первого сибирского пионера в деле распространения печатного слова. За 50-летнюю свою деятельность в качестве книготорговца он посеял немало добрых семян на темную народную ниву, и создание им на склоне лет Дома науки является красивым заключительным аккордом его полувекковой просветительской деятельности.

Открытие состоялось 7 октября, в воскресенье. День выдался тихий, солнечный и слегка морозный.

К 12 часам к Дому науки, возвышающемуся красивым храмом на Воскресенской горе, стянулись десятки экипажей и сотни людей разных званий.

Впрочем, по каким-то независящим причинам свободного доступа для всех разрешено не было. Вход был по билетам, которыми служили широко разосланные пригласительные письма.

В 12 часов началось, при участии архиепископа Макария [182], молебствие в громадном, светлом, с высочайшими окнами лекционном зале, переполненном разнообразной публикой.

Вокруг трибуны расположились лица, долженствующие приветствовать торжество от разных

общественных групп, организаций и учреждений.

По окончании молебствия архиепископ Макарий на некоторое время задержался, сев в первом ряду среди высших военных чинов.

Г. губернатора на торжестве не было. В своей приветственной телеграмме он объяснял свое отсутствие болезнью.

Первым на трибуну поднимается учредитель и строитель Дома науки Петр Иванович Макушин. Он произносит продолжительную и содержательную речь о задачах и целях, которым должен служить «Дом науки», причем, скрепляя сумму все-российской неграмотности и нищеты цифровыми данными, П. И. <Макушин> говорит, что обогащение страны идет следом за знанием и просвещением, так как богатства страны неразрывно связаны с ее культурным подъемом. Кто из нас искренне желает блага родине, должен искать выхода из такого положения, должен всеми мерами содействовать пробуждению в общественном сознании необходимости осуществить завет Д. И. Менделеева, чтобы в каждой деревне была хорошая школа, в каждом городе гимназия и в каждой губернии университет.

Говоря о целях Дома науки, П. И. <Макушин> определяет их следующим образом:

— Кроме академического отделения, преследующего цели систематического научного образования, научный университет будет иметь научно-популярное отделение, которое служило бы подготовкою для лиц, не имеющих среднего образования.

Народный университет идет навстречу всем, в ком есть серьезное стремление к знанию, но кто лишен возможности проходить регулярную школу, одинаково предлагая духовную трапезу для званых и незваных.

Содействие в самообразовательной работе, в деле изучения отдельных отраслей знания, таким

образом, будет также стоять в ряду задач народного университета.

Свою речь П. И. Макушин закончил словами:

— Мы все собрались здесь под знаменем широкого, всеобщего распространения света знания. Унесем же отсюда горячее стремление к этой идее и, в частности, деятельное и живое сочувствие к возникающему в нашем городе народному университету и постараемся зажечь это сочувствие в сердцах наших знакомых, отсутствующих здесь. Это будет актом проявления нашей любви к родине, актом Христовой братской любви к сидящим во тьме.

Доктор Алексей Иванович Макушин [183], дав отчет об истории строительства Дома науки, закончил словами:

— Пусть наше любовное внимание к народному университету послужат надежной защитой от грубых и неосторожных прикосновений.

После этого он читает рукописное приветствие Дому науки от архиепископа Макария, который подносит икону и говорит, что он радуется тому, что у нас, на святой Руси, не дошли еще до такого безумия, чтобы износить из школы святые иконы. «Милость Божия да будет над Домом науки», — заканчивает архиепископ.

Далее идут горячие приветствия от ученых, общественных и других учреждений и лиц, выраженные в многочисленных адресах, приветствиях и речах. Некоторые речи отличаются особенной теплотой и красочностью; таковы речи председателя Общества попечения о народном образовании С. В. Горохова [184], председателя Общества содействия открытию сельских библиотек присяжного поверенного Головачева [185], А. В. Адрианова [186], приват-доцента К. Н. Завадовского, заведующего вечерними образовательными курсами Воскресенского, профессора Лобанова [186] и

писателя В. Я. Шишкова, выступившего от литературно-артистического кружка [187].

Его речь я считаю долгом привести целиком.

— Когда прожита зима и на горизонте встает весеннее солнце, земля начинает пробуждаться. Солнце все сильнее и ярче шлет свои лучи, дни удлиняются, еще немного — и потекли ручьи, зашумели с гор водопады, гроза пришла, ударила, потрясла воздух — земля проснулась. Уже зеленеют рощи, цветами покрылись луга, оделись в зеленый бархат нивы. И солнце, чертя в небе путь, заливает вселенную ласковыми лучами. И нет у него забытых, нет обездоленных: весь мир купается в его тепле и свете. Серебрятся под солнцем воды, рдеют луга и поля, тайга в многообразной жизни своей слагает гимн природе. И пахарь, и горожанин, рабочий рудников и таежный зверолов-инородец благословляющими взорами приветствуют это вечное Божье око.

От лица томского литературно-артистического кружка я желаю, чтоб и открываемый ныне Дом науки имени Петра Ивановича Макушина, подобно красному солнышку, засиял над сибирской страной, чтоб его животворные лучи одинаково осветили даже отдаленнейшие, чающие своей весны уголки Сибири. Пусть двери Дома науки, этого посредника между интеллигенцией и народом, будут широко открыты не только демократическим слоям городского населения, но и исконному кормильцу-пахарю, но и полудикому инородцу, затерявшемуся в необъятных просторах Сибири, потому что все живое неудержимо тянется к солнцу, потому что человечество вечно ищет путей к обещанному пророками царству Божию на земле.

Пусть же вознесется над сибирской страной это солнышко и да будут его дни незакатными!

Гролом аплодисментов была особенно отмечена речь В. Я. Шишкова .

Когда же публика встала с мест, на трибуну поднимается огромная фигура профессора Н. Я. Новомбергского [188], и он произносит блестящую заключительную речь, в которой указывает, что П. И. Макушин начал свою благотворительность не постройкою часовни, но дал стране бриллиант чистой воды, и что этому бриллианту надо дать не менее чистую оправу.

Когда публика стала расходиться, многие подходили к скромно сидевшему во время торжества Г. Н. Потанину и поздравляли его с великим праздником в его жизни, так как всякий праздник Сибири прежде всего есть праздник его, маститого сибирского гражданина; и П. И. Макушин с особенным чувством пожимал его руку, говоря, что он явился вдохновителем того, что празднуется сегодня.

У Григория Николаевича навернулись на глаза слезы и блестели, как чистые бриллианты, рожденные великой радостью отца сибирского патриотизма.

#### IV. Неделя в Томске

С вокзала я позвонил одному из лучших своих друзей, беллетристу Вячеславу Шишкову. Этот молодой писатель-сибиряк замечателен тем, что, изображая неприглядную жизнь народа, он в тяжелое горе его вплетает целые снопы иногда горького, иногда солнечного смеха. Небольшой рассказ «Теща» [190], недавно напечатанный в «Жизни Алтая», вы еще, вероятно, помните?

Кроме того, В. Шишков должен считаться большим знатоком аборигенов дальнего Севера — тунгузов [191] и якутов. Он исколесил почти все необъятные просторы, раскинутые у Полярного круга, и теперь выдвигает целый ряд ценных рассказов из жизни тунгузов, среди которых им было собрано много песен, сказок и коллекций по эт-

нографии. Однако как литератор он выдвинулся совсем недавно и пока не чурается нашего брата, бродяг... Вот я и попросился к нему на квартиру.

— Валяй, брат, прямо! — пробасил он мне по телефону.

Еще не доехав до его квартиры, я вижу стоящим у крыльца огромного человека в одном пиджаке и с непокрытой головою, энергично размахивающего руками:

— Сюда, сюда, черт!..

На меня так и брызнул шишковский юмор... С этих пор я, с маленькими передышками, хохочу вот уже семь дней, так как напитанный, переполненный юмором мой гостеприимный хозяин не может от времени до времени не выгружать и не рассыпать его направо и налево.

#### *У художника Михаила Щеглова*

В первый вечер мы с Шишковым направились к живущему рядом сибирскому художнику М. М. Щеглову [192]. Имя его уже достаточно популярно не только в Сибири, но и в России, но жители алтайских дебрей едва ли знают о нем все, что следует знать. Это еще совсем молодой человек лет 29-30. Кисть его чрезвычайно разнообразна и совершенно оригинальна, с каким-то резким, но выразительным штрихом. Будучи по преимуществу жанристом, он в то же время сделал большие успехи в области прикладного искусства и весьма славится как талантливый карикатурист. Его шаржи, пародии и карикатуры ярко и выпукло отражают все уродливые стороны нашей жизни, и, пожираемое конфузом, сгибается все, на что направлено их лезвие...

Мы целый вечер находились под чарами его оригинальной музыки и чувствовали себя всецело поглощенными тем разнообразием и обилием образов, над которыми неустанно и с необычайной энергией работает художник.

Теперь М. М. <Щеглов> доканчивает значительный по ответственности заказ московского издательства Сытина [193] — иллюстрирование романа Льва Толстого «Анна Каренина». Это издание будет самым парадным из тех изданий Толстого, какие до сих пор выходили в свет. На него Сытин затрачивает несколько сот тысяч рублей, и это одно говорит за то, насколько надежен и даровит художник, которому такой заказ поручается. Щеглов сделал уже около восьмидесяти иллюстраций, создав по описанию Л. Н. Толстого отдельные, полные настроений и мысли картины. Осталось исполнить еще около двадцати, и художник надеется окончить работу к Рождеству.

Видя, с одной стороны, крупную работу художника, а с другой — массу мелочной, по прикладному искусству, снисходящему до изобретения стильных стульев и туалетных безделушек, я высказал огорчение тем, что художник расточает драгоценное время и талант на пустяки. За это художник ухватился, и мы горячо поспорили на эту тему. Он доказывал, что искусство всякое и хорошо и идейно — раз ему отдаешься искренно и любишь его. Я позволил себе не согласиться с ним и остался при мнении, что быть виртуозом в создании безделушек, хотя бы самых блестящих, и творцом живых, зовущих к высшей духовной красоте образов, — не одно и то же. Несмотря на то что меня поддержал В. Я. Шишков, сказавший, что прикладное искусство ласкает только глаз, а чистое искусство возвышает душу, М. М. Щеглов остался при своем мнении, и в его словах сказывалась его горячая любовь к искусству как целому, без подразделений и исключений. Я почувствовал в этом сектантскую, способную преодолеть всякие препятствия влюбленность его в свое славное дело и не стал спорить.



В мотивах художника преобладает колорит севера Сибири — тунгузы, остяки [194] и проч., и потому северянин Шишков с особенным благоговением остановился на этих мотивах, на идольчиках, бубнах, божках, оленях, нартах и орнаменте, благо у художника в этой области неисчерпаемый источник материалов.

Следует, в заключение, остановиться на том, что теперь художник увлекается созданием особой, оригинальной сказки для детей. Пробным камнем в этой области была счастливая случайность, выдвинувшая в художнике новую сильную сторону его таланта. Мотивом же к этой случайности были, конечно, простые, старые сибирские сказки.

Один из друзей художника, москвич Шкляр, написал красивую лесную сказку [195], которую Щеглов иллюстрировал, а книгоиздатель Тихомиров роскошно издал ее. Книжка имела успех, и это дало художнику идею применить свое дарование к сказке. Теперь им предпринимается ряд сказок, которые бы популяризировали среди детей нашу Сибирь с ее разнообразными народами. Для этого художник желает иметь от разных авторов, знатоков того или иного быта, переработанные применительно к детской впечатлительности существующие народные сказки и их иллюстрировать... Называться будут эти сказки «Из края в край».

Я, со своей стороны, в восторге от этой идеи и, прощаясь с художником, усиленно просил его не мешкать с работой над нею.

#### *У Григория Николаевича Потанина*

Назавтра вечером мы отправились на Даниловский переулок, где среди скромных построек, почти в закоулке, в нижнем этаже полукаменного дома живет Сибирский дедушка...

Я припоминаю, как на одном из вечеров томского литературно-художественного кружка был выставлен рисунок М. М. Щеглова [196], на котором коренастый дедушка Потанин держал в объятьях и прижимал к сердцу огромную, выше себя, карту Сибири. Символ весьма прост и красноречив.

У нас нет и никогда не было людей, кроме Ядринцева [197], которые бы с такой необычайной теплотой и постоянством отдавали себя своей родине и которые бы, столь много для нее сделавши, оставались все в том же скромном и непретенциозном уголке жизни.

К Григорию Николаевичу приходят многие и чувствуют себя у него тепло и уютно, согретые его тихими рассказами каких-либо китайских, монгольских или других старых сказок и историй. Кроме того, у Григория Николаевича часто происходят литературные чтения, на которых чаще всего выступают местные авторы. Нередко тут же происходит и обмен мнений о прочитанном. У Григория Николаевича постоянно бывает весьма строгий, но основательный критик, большой знаток литературы Вс. М. Крутовский [198]; попасть под струю его нередко по-мефистофельски ядовитой сатиры не всегда безопасно. Пишущему эти строки, более других испытавшему горечь этого яда, вы должны поверить в этом. Зато не всегда и не всякое произведение этот критик удостоивает своих замечаний. Так и на этот раз, Всеволод Михайлович предпочел помолчать, выслушав набросок молодой и робкой, пробующей перо барышни. Промолчал он и при горячем споре о новом стихотворении Родимого [199], напечатанном в «Сибирской жизни», под названием «В лугах», в котором супруге Г. Н. Потанина, Марии Георгиевне Васильевой-Потаниной [200], известной вам поэтессе, очень не нравилось место: «Рубахою утри ядреный пот, косец!..»

«Ядреный пот» долго был предметом спора, и большинство признало, что он не портит стихотворения. Дедушка Потанин сидел в уголке на диване и лишь изредка делал свои негромкие, но выразительные реплики. Впрочем, изредка ему приходилось вести борьбу с любимцем Марии Георгиевны, молодым пойнтером Танкредом, который, от избытка своего щенячьего восторга, врываясь в гостиную, хотел во что бы то ни стало всех гостей перецеловать... Григорий Николаевич водворял его административным порядком в кухню, а Всеволод Михайлович Крутовский косился на щенка и ворчал:

— У-у, сокровище!..

Вечер был закончен чтением стихов приветливой хозяйки, при обсуждении которых профессор Б. П. Вейнберг [201] сделал предложение: меня... повесить за то, что как редактор «Жизни Алтая» я пропустил в одном стихотворении Марии Георгиевны какой-то недочет...

Это вызвало дружный смех и новый спор, и гости с веселыми лицами расходятся около полуночи.

### *Банкет у Вячеслава Шишкова*

Шишков справляя свои именины, товарищам и друзьям своим пообещал:

— Погодите ужю, вот я вас угощу пирогом с Гребенщиковым...

Бывают пироги с осетром, со щукой и с яблоками, а тут в качестве начинки явился ваш покорный слуга.

Собралось человек двадцать пять, в том числе Г. Н. Потанин, В. И. Анучин, поэт и критик Иосиф Иванов, Г. А. Вяткин, В. М. Крутовский, художник М. М. Щеглов, М. Г. Васильева-Потанина, молодой беллетрист Вл. Бахметьев [202] и много других.

Разумеется, под мечами взглядов почтенного собрания я далеко не чувствовал себя на высоте блаженства и после прочтения своей новинки был

порядком-таки потрепан. Больше других «ел» меня И. Иванов, но и многие другие взяли себе по порядочной порции; а В.И. Анучин, как истый гастроном, ел с чувством, с толком и с расстановкою... В общем, оказался я жертвой вечернею на банкете у товарища, который, в конце концов, и сам не постеснялся заклать меня и поесть остатки.

### *Вторник у Вейнбергов*

«Первые числа», славившиеся в прошлых годах у Б. П. и М. Е. Вейнбергов, теперь упразднены. Теперь установлены «вторники», на которых собираются с трех часов, и, начав обед вприкуску с бесчисленными остротами и каламбурами хозяина, гости вовлекаются в оживленный разговор и дружный смех. Нередко устраиваются экстренные конкурсы на заданные хозяином смешные темы, экспромты или шутки; и тот, кто лучше всех рассмешит публику, награждается премией в виде лучшей груши или ананаса, персика или «поцелуя в кредит» какой-либо вспыхнувшей присутствующей дамы.

Но тотчас после обеда гости дружною гурьбой переходят в обширный, массивно обставленный кабинет профессора, и там, в мягких коврах тонут смех и оживление, и начинается литературный вечер. Чаще всего читает в последнее время Вячеслав Шишков, вообще входящий в Томске в моду.

На этот раз он прочел свою новую повесть из тунгусской жизни «Суд скорый» [203].

Слушая эту повесть, я с необычайным удовольствием убедился, что Вячеслав Шишков, этот скромный и мало заметный еще писатель, способен нежно и любовно взять читательскую душу и унести ее на далекий-далекий север Сибири, как ни один еще из русских писателей, побывавших в холодном изгнании, и показать не только грустные картины тайги и тундр, но и примитивную полудет-

скую душу обитателя их развернуть перед вами, как четко и крупно напечатанную книгу; и во все это вплести красными лентами художественный юмор.

И верите вы, любимые друзья мои, как я рад тому, что в лице этого писателя мы приобретаем действительно нужного и полезного изобразителя одной из обширнейших и неведомых окраин нашей страны...

Мне неловко, как близкому товарищу Шишкова, долго останавливаться на достоинствах его творчества, но я знаю, что этого и не нужно будет, когда вещи его чаще будут появляться в печати. Прочитанная новая повесть появится, вероятно, в сборнике «Знание» [204], предоставленном М. Горьким авторам-сибирякам...

Ну, всего Вам хорошего, Георгий Гребенщиков.

P.S. Я намеренно упустил еще одно очень крупное событие, свидетелем которого я был, — это открытие Дома науки, но о нем я сообщил уже отдельно. Г. Г.

## V. За Урал

Едем от Томска вместе с Г. А. Вяткиным. В одном купе. Оба на нижних лавочках, в третьем классе. Он в Москву, я в Питер. В Челябинске разведемся.

До Новониколаевска — ночью.

Луна, снег в полях, угрюмая тайга мелькает чахлым лесом, захиревшим под натиском культуры.

Мой спутник смотрит в окно и изредка произносит короткие, но пропитанные лиризмом фразы... «Хорошо», — соглашаюсь я. Что скажешь против красоты лунной ночи в глухой сибирской тайге?

Однако прозаический сон ловко положил нас на обе лопатки обоим разом.

Проснулись на равнинах Барабинских степей. Какая ширь!.. Какая захватывающая, зовущая и беспредельная ширь!..

Мой спутник, вспомнив о Балканах [205], создает страшный образ:

— Когда завяжется всемирная война, — наша Бараба может служить ареной для военных действий всего мира...

Я некоторое время пытаюсь представить себе эту грандиозную картину, но потом отмахиваюсь и вглядываюсь в раздольные просторы. Мимо проносятся сжатые нивы, на некоторых еще не убраны снопы; покрытые снегом, они частью рассыпаны и лежат прямо на земле. Тут и там желтеют скирды, и одинокими сидят на кошенине черные стога сена.

И все это несется назад, кружась в разные стороны.

Подбежит разезд — группа желтых построек остановится на несколько секунд и опять уплывет назад вместе с одиноким начальником в красной шапке и двумя-тремя случайными любопытными...

Задержит на несколько минут станция с временной суетливой шумливостью, с торопливой беготней пассажиров за кипятком и скорой беспорядочной закуской, — и снова бегут белые поля, гладкие, раздольные и обвеянные какой-то тихой тоскою и холодом...

Мелькнут кое-где низенькие, приплюснутые домики деревень, важно пронесутся каменные разноцветные дома редких богатых местечек и новых городов и, помаячив новизною и капиталистической сметливостью, снова пошлют нас в поля, гладкие и ровные, тоскливые и одинокие...

Из окна вагона не видать, что к широкой груди их прильнули густо засеянные села и деревни и что мнимый простор давно иссяк; но и при сознании этой густоты деревень и сел впечатление пустынности и брошенности не сглаживается...

Все так мертво, притиснуто и замкнуто, будто не греет эти равнины солнце, но будто царит здесь вечный полумрак, и все живое влачит свое существование ленивой полупьяной поступью, окутанное сумерками безличия и дремоты...

Так до самого Урала...

А там пошли леса и горы... Леса, синей пеленой окутавшие все горизонты и затаившие в себе много старых сказок и преданий... Леса и горы, через которые некогда тайно пробирались в Сибирь дружины Ермака и суровые пустынножители [206], беглецы от преступления и невольные закованные пешеходы... Леса и горы — Уральские и Пермские, через которые много лет спустя и до наших дней волна за волною полилась многострадальная черноземная Русь в поисках хлеба и уюта от надвинувшихся лихолетий...

Все дальше к северу, все глубже в Россию, все ближе к ее беспутной голове — Петербургу...

Мелькают острые верхи елей, лениво падает рыхлый и влажный снег, в тумане дали, и ритмический говор колес вагона навевает красивую грусть, как бабушкины сказки...

И лежит пластом старуха-Русь, большая-пребольшая, распластавшаяся от моря и до моря на целой половине земного шара... Лежит и дремлет века, длинные, седые века... Лежит и не почешется, не продерет глаза, не оглянется на соседей и на себя самое и медленно-медленно, нехотя и ощупью подвигается вперед, в хвосте за другими, как на буксире...

И лишь изредка, полупьяная и злая от голода, вдруг разобидится, рассерчает, засучит кулаки, да себя же в грудь — бац изо всей силы!..

И орет благим матом:

— А ну, вдарь!.. Попробуй! А ну еще!..

И ее бьют да бьют, а она только хмурится...

...Из Вятки сел к нам какой-то купец с братом и другим купцом, и они учинили в вагоне кутеж. Сначала все шумно говорили, смеялись, вовлекли в беседу других и вместе запели какие-то дикие пьяные песни... Затем брат брата повалил на лежанку

и стал его целовать и матерно ругать... А потом целовал-целовал да давай его душить за горло... Едва отняли... Когда же назавтра протрезвился — хотел лезть под поезд со стыда. Спасли...

Деревеньки тут все маленькие, жалкие, и домики друг к другу притиснулись близко-близко, будто боятся обступившего их со всех сторон леса... И тотчас же за воротами — полосы пашен... Все задавили леса, все придушили, а за то, что их мужики рубят — мужиков морят под арестом и описывают у них последнюю свинью или козлуху...

И такая беднота, что на станциях в продаже только и продуктов, что кипятков — по копейке чашка... Зато нищих непрерывная нить... Особенно маленьких...

— Горе ты, горе...

Вот тут-то я и вспомнил пустынную, забытую и холодную, но пока еще сытую Сибирь... Но, вспомнив, пришел в ужас от сомнения: а не ухитрятся ли ее уравнивать во всем с черноземной Рассеюшкой?

...Впереди виднеется море огней... Должно быть, подъезжаем к Петербургу... Надо застегнуться и подпоясаться...

## VI. На Неве-реке

Захватила столичная суэта, недосугом своим эгоистически вытеснила всякую возможность быть последовательным и аккуратным. Но зато теперь, через месяц пребывания здесь, я имею сообщить вам многое.

Не могу не остановиться прежде всего на моменте своего первого въезда на Невский. Николаевский вокзал, как вы знаете, фасадом своим выходит на Невский у Знаменской площади. И вот сразу из вагона, то есть со всем привезенным в нем сибирским духом, вы попадаете сразу в котел, кипящий на парах изысканной цивилизации... А



это так кружит голову, что не мудрено свалиться от угара под первый же трамвай или автомобиль.

Но на этот раз я не оставлял вещей [207] на хранение на вокзале и не шел искать сперва комнату, а сразу же сел на извозчика с резиновыми шинами и на рессорах, с крытым, слегка откинутым верхом (вы только подумайте!), и плавно, совсем по-губернаторски, покатиł вдоль по Невскому...

О, не скрою от вас, я испытывал чистейшее наслаждение от удобств всей этой звенящей и сверкающей культуры, которая ослепляла и оглушала меня и которую я тотчас же сравнивал с дикостью и первобытностью родного Алтая, где созерцание природной красоты дается ценою риска жизнью...

Да, я сравнивал, и оттого, что контрасты слишком резки, я ни на минуту не забывал, что надо все это запечатлеть в памяти и сознании, чтобы потом, когда снова буду где-либо под снежными обвалами, или на альпийских болотах, или на бродах ужасной Шихалихи, или над головокружительными пропастями Сугаша, по дороге с Бухтармы [208] на Уймон, чтобы потом ярко вспомнить, как все танцует и поет, блещет и смеется на Невском...

Вы, конечно, знаете, что этот пункт северной столицы по заслугам должен быть назван сердцем Петербурга, куда ежедневно приливает и стекается все живое, как на главную артерию. Теперь же, благодаря трамваям, «кровообращение» Петербурга стало еще бойчее, бешенее. Люди здесь — это только кровавые шарики, они в отдельности, как личность, не существуют.

Они только частицы толпы, огромной, тысячеголовой, нелепой по своей бессмысленности и беспощадной по бессердечию. Берегитесь попасть ей под ноги — раздавит, разметет в пыль и унесет на подошвах в разные стороны. Здесь нет генералов и простяков, нет княгинь и проститу-

ток — здесь только равноправные члены толпы. «Равноправные» — звучит гордо, но Бог с ним, таким равноправием, у которого впопыхах нет места сердцу и человечности, а есть только алчное любопытство к кричащим зрелищам или эпизодам... Вот свалился пьяный на панели — и толпа уже сгрудилась, уже сомкнулась в плотное кипучее кольцо и засматривает, хохочет или гудит, без мысли, без нужды, без сознания... Придите в эту толпу с громким голосом и большим дерзновением, и вы поведете ее куда вам угодно, как огромную баржу на буксире... Это какая-то слепая стихия, могучая, как природа, и беспомощная, как туча под ветром.

И самые улицы, например, Невский — это какая-то глубокая и мрачная канава, закутанная сверху вечным дымом и загороженная с боков крепкими, глазастыми и вечно горящими жадностью стенами, как будто тот, кто нагромоздил их, знал, что для толпы нужны крепкие перегородки, что ее, слепую и дикую, надо сдерживать и держать в строгих, узких и глубоких канавах...

И правда, как ничтожна, как слаба эта людская вода с высоты этих стен... Какие-то черненькие микроорганизмы крошечными шажками суетятся друг около дружки, снуют, бегают, и все такие бедные, бедные в сравнении хотя бы с той простотой и неуклюжестью, с той надсадой и нищетой, какая есть в деревне...

Вот толстый господин идет в цилиндре. Наверное, банкир... Но он мне жалок. Вся жизнь его — тускла, как куча старых, захватанных денег... Что из того, что он может купить все блага жизни? А вот мне, нищему, кажется, что покупные блага не есть блага... Не купить, например, ни за какие деньги умения, чуткости молиться Богу, растворенному в природе. Не купить истинной любви и дружбы, способности творить, не купить и понимания жизни...

Вот и я здесь совсем теряюсь среди всего, что окружило и охватило мое внимание... Не только понять все, усвоить и обсудить — нет возможности даже увидеть все, хоть бегло!.. Так много создали эти маленькие, замкнутые в каменные каналы микроорганизмы... Эти суесящиеся капельки живой воды отражают в себе такие мудрости и дали, что диву даешься, столкнувшись лицом к лицу с их творениями, возвышающими сердце и душу человека!

Вот приведу в порядок свои мысли и поделюсь с вами хоть частью того, что так или иначе удержалось в моем сознании...

А пока — привет вам в даль глухую!..

12 ноября 1912 г., С.-Петербург.

## VII. В Таврическом дворце

При содействии нового члена Государственной Думы В. М. Вершинина [209] мне удалось добыть входной билет в Таврический дворец [210] на открытие 15 ноября Русского Парламента 4-го созыва...

На билете, в числе других, черным по белому прописаны следующие строгости:

- Без права передачи.
- Для имярек.
- Ложа председателя.
- Стоять...
- Возвращается при получении верхнего платья.
- В случае сомнения в личности заведующий охраною может отказать в допуске в здание дворца...
- Вторичный вход по тем же билетам не допускается...

— Отнюдь не дозволяется выражать каким бы то ни было способом одобрение или порицание.

И т. д., и т. д.

Все-таки я отважился пойти. Соблазн слишком велик — открывается 4-я Государственная Дума [211].

Таврический дворец от центра далеко, и туда трамваи не ходят. Туда черепашьим шагом тащатся конки.

Со Знаменской площади сажусь на верхний этаж [212]. Оттуда лучше видно вокруг. Пара крупных лошадей легко тащит огромный вагон, четко стуча подковами по каменной мостовой. Длинной вереницей нас обгоняют извозчики с депутатами. Избранники страны стягиваются к месту своего назначения.

В конце Знаменской улицы у нас пересадка на другую конку. Едем вправо, потом влево, потом все-таки вправо — к Таврическому саду и по Шпалерной.

Сад большой, в нем много обнаженной зелени — снег стоял. Оранжеви. Соседи студенты острят:

— Здесь выращиваются депутатские отношения к русской конституции.

— Нет, здесь приучаются к растительной жизни...

Пошли казармы, казармы, казармы. Масса военных, постовых. Разъезды. Наряды.

А вот среди низменных желтых казарм и приземистый Таврический дворец.

Чем-то средневековым веет от этого широко и хозяйственно построенного здания со стеклянными куполами.

Ход для публики с Таврической улицы. Для министров и депутатов со Шпалерной — парадный.

Через обширный двор по кривому дощатому тротуару — к подъезду длинный путь.

Страшно, швейцар — что твой генералиссимус!.. Громадный, седой, суровый, в медалях. А там другой, а там третий. Много.

— Ваш билет?

Это повторяется довольно часто. На лестнице пристав, на другой — другой...

Билет так и держу у сердца, на виду.

Капельдинер услужливо снимает пальто и с достоинством берет вперед «на чай»...

Мне все любопытно, и я стараюсь все запомнить, чтобы поделиться с вами...

Дальше, у каждой новой двери — новый важный страж. Все это как-то подавляет.

Но иду дальше — не бежать же обратно, остаются еще...

В круглом зале идет молебствие, слышно пение молитв, а вскоре — многолетие, покрываемое оглушительным гулом «ура!».

Затем тотчас же народный гимн «Боже, Царя храни!»

И еще долго носится под сводами дворца многоголосое «ура».

Без четверти два. Прохожу в ложу Председателя Думы и в уголочке у могучей колонны становлюсь, хотя есть свободные стулья.

Сказано, «стоять», ну и подчиняюсь.

Тут я больше чем где-либо понял, почему депутаты так быстро становятся послушными...

Осматриваю сверху зал заседаний. Тринадцать рядов кресел идут полукругом и лучеобразно рассечены от центра красными дорожками. Впереди массивный портрет Государя Императора. У ног его окруженное барьерами место председателя, ниже — трибуна, по правую сторону — ложа министров, по левую — ложа канцелярии Думы. Еще ниже, у барьеров, — стенографы...

Все места пусты. На пюпитрах каждого депутата лежат чистые листы бумаги, блокноты и печатные наказания Государственной Думы.

Чистота, массивность, стиль.

Но лучше всего потолок. Это громадное сплошное окно в гигантской белой раме, которая поддерживается массой белых круглых колонн. И дневной свет, льющийся сверху, по мере угасания дня постепенно сменяется светом электричества, которое в сотнях лампочек спрятано под «ра-

мою». По карнизу потолка идут как бы желоба, в которых горят лампочки так, что прямого света их не видно, но видно обильное отражение его на белой раме; и богатый, преломленный в потолке свет представляет собою четыре желтых утренних зари, освещающих весь огромный зал. Свет получается большой и мягкий, исключаящий необходимость освещать пюпитры, столы и стены.

Видна былая роскошь и изощренный вкус, и кажется, что в огромном зале, между колонн, носятся тени Екатерины Великой и князя Таврического. Я даже представляю себе, что из круглого зала несутся не крики «ура», а шумный гул воскресших и несущихся в вихре буйного танца современников Потемкина в белых париках, в чулках и цветных камзолах...

Но вот после двух в зал заседания быстро вливаются депутаты и наполняют его тем гулким и непрерывным журчанием, какое создает только громко разговаривающая, смеющаяся и движущаяся живая толпа... В этом слышно всегда что-то зоологически бесформенное.

Нельзя понять ни одного отдельного звука — все слилось в одну сплошную тягучую ленту звуков.

Режет слух и дергает нервы...

Вот она, посланная странною лучшая часть народа! Сюртуки и фраки, смокинги и пиджаки, поддевки и какие-то жупаны [213]... Смазные сапоги и зеленые опояски, рясы, рясы... Плешины, масса плешин... Сверху только их и видно.

Некоторые депутаты, что в простых куртках и высоких сапогах, по покатоному паркету ходят, как по льду, осторожно и расставив ноги.

В кулуарах — изысканная публика, и я часто слышу: «князь», «графиня», «барон», «ваше превосходительство»... Но сплетничают совершенно так же, как барнаульские кумушки или бездарные фельетонисты бездарных газет, и плешина Пу-

ришкевича [214] привлекает их не менее, чем, например, Ньютона привлекало звездное небо...

Звонок — и место председателя занимает сенатор Голубев [215], а ложу министров — весь кабинет. Водворяется тишина.

Остальное все вам известно из агентских телеграмм и стенографических отчетов, и повторять его я считаю излишним. Я приведу лишь то, что мне показалось характерным для русского парламента.

Когда избрали большинством голосов в председатели г-на Родзянко [216], все правое крыло демонстративно покинуло зал. Когда же Родзянко стал говорить свою речь, то часть правых задержалась в дверях и оттуда ревела «браво» и дружно аплодировала...

Часть правых осталась и в зале, и я видел, как один священник тянул другого за рясу из зала, а тот не хотел уходить. Я думаю, это новичок, и ему любопытно было поглазеть на массивную фигуру Родзянко, обладающего к тому же чудовищным голосом...

### VIII. Среди писателей

Слово М. Горького [218], протянувшего нам, сибирякам, свою могучую руку с далекого итальянского острова Капри, оказало мне большой, скажу даже, незаслуженный кредит.

Начиная с любезного и теплого приема у его (Горького) соредактора по «Современнику», Евгения Александровича Ляцкого [219], судьба, в продолжение всего пребывания моего в Петербурге, весьма мне покровительствовала. Обыкновенно здесь малоизвестному литератору весьма нелегко добиться хоть какого-нибудь внимания. В одной из редакций я видел, как молодому поэту секретарь возвращал стихи.

Поэт робко спрашивает:

— Просмотрели, да?

— Да, да, просмотрели... — коротко сказал секретарь и, отыскав тетрадку, без лишних слов возвратил ее поэту.

И надо прибавить, что имя этого поэта я не раз уже встречал на страницах столичных изданий.

Вообще, от литературных слез не просыхают редакционные пороги, и для того чтобы не лить их, надо иметь редкое мужество — совсем не ходить в редакции или сразу родиться «известным».

Здесь всюду имеют замечательную способность — учтиво отказать вам в просьбе, прежде чем вы ее выскажете.

...Поэтому я считаю счастливым случаем то, что я попал в так называемое «планетное вращение» питерской литературной среды...

На 26 октября началось чествование Д. Н. Мамина-Сибиряка [220] по поводу сорокалетия его литературной деятельности. Главным организатором этого чествования был избран Ф. Ф. Фидлер [221], от которого 24 октября я узнал, что никакого торжества состояться не может, так как юбиляр доживает последние часы.

Действительно, через несколько дней Дмитрий Наркисович скончался.

4 ноября в 11 часов утра при громадном стечении народа его проводили к месту последнего и вечного упокоения.

Но друзья его и собраты с похорон должны были явиться на торжество жизни.

4 ноября, по издавна установившейся традиции, весь литературный, музыкальный и художественный мир Петербурга собирается у Ф. Ф. Фидлера по случаю дня его рождения.

Весьма известный среди писателей, Ф. Ф. Фидлер считается хлебосолом русской литературы и видным популяризатором ее за границей, особен-



но в Германии. К 12 часам всего гостей собралось свыше ста человек. Здесь были писатели и поэты, критики и журналисты, художники и скульпторы, музыканты и артисты.

Благодаря любезности известной переводчицы Ксении Михайловны Жихаревой [222] я попал здесь в тесный кружок новых знакомых, и через них эти знакомства увеличились еще больше; и вскоре я уже не чувствовал той неловкости, с которой входил в эту избранную среду.

В кабинете хозяина то и дело появлялись новые лица, которые, по заведенной Фидлером традиции, ставшей обязательной для каждого, вписывали в особый альбом свои изречения, шутки, эпиграфы, экспромты, шаржи, рисунки, музыкальные фразы и т. д.

Появившийся у стола хозяин вдруг крикнул:

— А вы, сибиряк, чего не пишете? Это повинность! Пишите!

Я подчинился и написал две строчки об Алтае.

Рядом, на диване, увеличивалась кипа новых книг. Это приносили свои новинки авторы с надписями и приветствиями хозяину.

— А вы принесли? [223] — спрашивает хозяин.

Я пожал плечами.

— Так знайте, что 4 ноября без приношений сюда не приходят, — и он тотчас же свирепо закричал, ни к кому не обращаясь: — Кто посмел закрыть альбом?.. Альбом автографов должен быть открытым...

Все обширные комнаты сплошь увешаны фотографиями, портретами, шаржами и рисунками — все с известных русских писателей, художников, композиторов, артистов и проч.

У Ф. Ф. обширный, являющийся единственным в своем роде музей автографов, портретов и книг писателей.

Всюду шум, говор, но местами чувствуется и некоторая вялость... Печальная тень сегодняшних похорон еще живет на лицах многих, и часто слышатся отрывочные воспоминания о Мамине-Сибиряке.

В углу, у стола, массивная фигура профессора Кареева [224]. Рядом — критик Измайлов [225] мягко, через золотые очки, улыбается поэту Аполлону Коринфскому [226], напоминающему своим видом деревенского короля Лира.

Совсем безволосый Сологуб [227] с детски-смеющимся лицом слушает милую болтовню кокетливой Тэффи [228]. А маленький, сухой человечек во фраке, с комически серьезным лицом, пробивает себе дорогу между крупными фигурами А. Рославлева и Овсянико-Куликовского [229]. Это рассказчик Сладкопевцев [230]. К нему бросятся несколько человек и спрашивают:

— Владимир Иванович, что-нибудь нам расскажете?

— Попробую, попробую!..

Небольшой, безбородый, с комически свирепыми глазами, Ладыженский [231] смешит своими короткими фразами мадам Чирикову и Н. Ф. Олигера [232].

Здесь встретил я своих старых знакомых П. В. Быкова и Е. П. Карпова [233], две-три случайные фразы которых как-то обласкали сердце. Е. А. Ляцкий представил меня еще кое-кому, упомянув о Сибири и об Алтае. Кое-кто заинтересовался. Затеяли разговор, и я услышал несколько странные вопросы, вроде того:

— А как у вас каторга? Вы, вероятно, хорошо изучили быт ее героев... Ведь какой материал богатый!..

И каково было удивление, когда я сказал, что не всякий сибиряк соприкасается с каторгой... Похоже было на то, что и меня считали, по крайней мере, сыном тюремного надзирателя.

— Ах, Алтай, Алтай! — воскликнула Тэффи. — Это, говорят, нечто удивительное!

Вообще я почувствовал, Сибирь всем слушателям казалась заморской, дикарской и необыкновенной страной...

Разговор гудел.

Во всех комнатах на больших столах холодные кушанья, приготовленные спозаранку, но никто к ним не прикасался до 12 часов, и лишь ровно в 12 зазвенели тарелки и вилки, захлопали бутылки. Закусывают и пьют почти все стоя, без всяких приглашений, свободно и непринужденно. Гул разговора входит в свое непрерывное течение, как многоводная река... Так продолжается с добрый час.

Но вдруг все смолкает. В гостиной за пианино усаживается известный пианист, а с ним не менее известный виолончелист. Роскошные волны музыки очаровывают на месте и переносят из стен удушливой столицы на просторные поля, под другое небо, к другому, более ласковому солнцу... Рисуют голубые перспективы горных далей...

После музыки у пианино становится Сладкопевцев и начинает, устремив глаза куда-то через публику, откашливаться и поправлять воротничок. Это быстро меняет картину. Собравшихся тепло и дружески обнимает юмор, готовый сию же минуту защекотать и задушить приливами веселого смеха всех до единого, как малых детей...

Я стою возле Сологуба и вижу, как бритое лицо его выражает какое-то совсем детское любопытство, оснащенное доброй, беззаботной улыбкой. Да и все слились в одно невинное дитя и смеются одной улыбкой, захваченные редким художественным юмором рассказчика. Затем новые разговоры, новые кружки, дебаты, остроумие...

Около трех часов всех стянули в зал и при вспышке магния сфотографировали. В центре, в мягком кресле, — больная супруга хозяина.

Уже и три, а гости все не расходятся, и хозяин, все с тем же отечески строгим видом, начинает тушить электричество.

Гости догадываются, что пора и честь знать, и начинают расходиться...

Небезынтересно было бы привести встречи и беседы с писателями Сергеевым-Ценским, Муй-желем, Олигером, Серафимовичем и другими [234]. Но об этом как-нибудь после, как и о вечерах у А. Рославлева, угощавшего нас своими красивыми русскими сказками.

25 ноября 1912 г.

### IX. Петербургские впечатления

Чуткость и боязливость провинциала, попавшего на базар крикливой столичной мишуры, несколько притупилась. Теперь я смело хожу поперек улиц, ловко увильвая от трамваев и автомобилей, не теряю шапку от заворачивания головы к шестым этажам, не сталкиваю с ног модных дам в узких юбках и не боюсь похожих на сенаторов швейцаров.

Словом, проявляю некоторые успехи в области «хорошего тона»... Но, конечно, до уравнивания в этом с людьми петербургской закваски мне еще весьма далеко.

Не устоял, конечно, от соблазнов, которым подвержены все сотни тысяч провинциалов, ежедневно вливающих в Петербург и творящих в нем движение. Ведь, в сущности, все, чем живет Петербург и для чего он живет, — это провинция. Если бы в один прекрасный день Петербург очутился при своих собственных коренных жителях, он походил бы на вымерший город, в котором бродили бы только дворники да старые квартирные хозяйки... Ну, конечно, и чиновники с женами...

И вот эти-то провинциалы, на которых питерцы смотрят свысока и с пренебрежением, изо дня в день занимаются «ротозейством»... Наполняют театры и музеи, библиотеки и столовые, магазины и гостиницы... Народ наивный, любознательный и простоватый.

Какой-нибудь почтенный седой старичок впопыхах вскочит в вагон трамвая и робко спрашивает у кондуктора:

— Скажите, этот вагон идет на Васильевский остров?..

Кондуктор, видя, что это провинциал, недовольно наставляет:

— Что вы, помилуйте, разве не знаете, что Васильевский в другой стороне?! — и с сознанием собственного превосходства насмехается, а сконфуженный господин пытается на ходу соскочить с задней площадки.

Кондуктор уже кричит ему:

— На ходу, господин, нельзя сходить!.. И потом — надо с передней площадки!..

Старичок, занимающий в провинции, может быть, пост какого-нибудь высокородия, протискивается через толпу на переднюю площадку, а вагон мчит его в противоположную от его цели сторону...

На Васильевский остров он едет в Академию художеств. Спешит, время в Питере дорого, а не посмотреть выставку нельзя... Дома спросят...

А в академии швейцар еще проницательнее кондуктора. Сразу провинциала видит и нехотя снимает с него пальто, пока тот не даст на чай...

И удивительное дело, настоящий петербуржец почти никогда не дает на чай, а зовет швейцара на «ты», и швейцар перед ним танцует. А провинциал и на чай даст, и ласково обращается — к нему все с тоскливой миной...

На то, видно, она и провинция!..

Для кого существуют, например, барышники в Императорских театрах?

Конечно, для провинциалов!.. Петербуржец даром пройдет. Он сумеет, потому что провинциал заплатит за него прямым или косвенным образом.

### *В Мариинском театре*

Всякий провинциал старается достать то, что менее доступно. Петербург и это учитывает. Тут он и накрывает провинциала. Зайдите в любой магазин на Невском — с вас за самую обыкновенную коробку спичек возьмут вдвое дороже, чем, например, тут же, по соседству, в провинции. Чувствуй, что на Невском покупаешь!.. И публика всегда дура — она переплатит, да возьмет на Невском... И все для того, чтобы «чувствовать», вот, на Невском куплено.

Так и с Мариинским театром. Из баса Шаляпина [235], например, публика создала себе кумира, который, будучи орошаем людским потом и слезами, вырос до необычайных размеров. Создала, но не может до него ни за какие деньги достигнуть. Бесспорно, Шаляпин редкое явление в искусстве! Но нельзя же, жертвуя последним куском хлеба, подчас последним здоровьем, биться за кусочек места на душной вышке, откуда ничего не видно и почти не слышно!.. Однако бьются люди... Каждый день сотни студентов с утра до вечера дежурят на морозе, на сырости, под злобным оком городского, несут последние рубли, необходимые на починку дырявых сапог..

Не устоял, разумеется, и я от этого искушения... Но дежурства не дали плодов — два раза доставал пустые билеты... Только натерпелся холода и голода, карауля свою очередь.

Оставалось адресоваться к барышникам. Но и это не так просто. Пришел я на театральную площадь с семи часов. До поднятия занавеса еще час. Стоят ка-

кие-то подозрительные люди, мужчины и женщины. Иду мимо, иду обратно. Они на меня смотрят, я на них, а городской на всех нас вместе и кричит:

— Проходите, проходите...

Прохожу, но мне это не на руку. Возвращаюсь. Барышники поняли, чего я ищу, и сразу ко мне целой лавиной. Но останавливаться же нельзя. И они, подцепив меня, увлекают куда-то по площади и наперебой начинают предлагать мне билеты... Положительно растерзаны готовы... Но цены... Волосы дыбом становятся...

Проносившись в разных направлениях по площади с полчаса, я наконец решил произвести преступную затрату на билет — восемь рублей!..

Деньги отдал, и еврейка дает мне какую-то бумажку с безграмотной надписью — такая-то ложа. И больше ничего... И торопит: «Идите, идите! Скоро начнут»... Я хочу удостовериться в действительности своего документа, но моей еврейки уже и след простыл... Что ж?.. Иду на ура.

При входе требуют билет, а у меня клочок бумажки... Мне стыдно его показать. И я набираюсь смелости и, не показывая билета, роняю: «Ложа такая-то»... Капельдинер пропустил.

Действительно, в ложе меня только и не хватало — шесть мест заняты, и я седьмой, самый задний...

Поднимается занавес, и я заставляю себя чувствовать, что я в Мариинском театре «на Шаляпине»...

Но ложа боковая, высоко...

Из-за пышных незнакомых мне дам я тянусь, изгибаясь всем телом, но ничего не вижу... Мне неловко... Музыка превосходная, декорации, артисты...

Жадно хочется половчее устроиться, послушать и поглядеть... Но не удастся... Туда, сюда; наконец срываюсь с барьера локтем на плечо дамы, извиняюсь и отступаю в угол... Остается только слушать... Но слушать, не видя действия оперы (шла «Хованщина»), — что за нелепость!..

Меня берет досада: целых восемь рублей — и этакое удовольствие!.. И я, вместо наслаждения музыкой и пением, мысленно высчитываю, какое хорошее применение я мог бы сделать этому капиталу. Во-первых, за восемь рублей я мог бы иметь в течение года хороший литературный журнал, с массой приложений... Сколько получил бы я мыслей, знания и пользы... Мог в течение полумесяца иметь за эти деньги ежедневный обед... Затем припоминаю сценку в вагоне трамвая. Едет отец с тремя детьми. Он в старом сюртуке и худых штиблетах, без шапки, худой, бледный... Видимо, изголодавшийся.

А дети — все маленькие девочки — в одних платицах, повязанные какими-то тряпочками... Самую маленькую, лет трех, он держит на руках... Она обняла его за шею и прижалась... Он укрыл ее ручки своими руками, и таким образом они взаимно согревают друг друга...

И я не могу уже наслаждаться пением великого певца, и у меня невольно формируется фраза:

— Будь ты проклят, господин Шаляпин, с твоим всемирным басом!.. Потому что ты только для пресыщенных, а не для нас!..

И я ухожу из театра не удовлетворенный, но пристыженный и униженный!..

...Может быть, я не прав... Судите меня, как хотите...

### *В Благородном собрании*

31 октября в Благородном собрании был назначен традиционный Сибирский вечер в пользу Общества содействия учащимся в Петербурге сибирякам. Билет удалось достать без особенного труда и недорого. Благородное собрание находится на Мойке, угол Невского. Устроителями были видные сибиряки, в том числе Владимир Платонович Сукачев [236].



На парадной лестнице в вестибюле публику торжественно встречает украшенный орденами полный старец. Это главный капельдинер, но вид у него, как у городничего.

— Ваши билеты?!

— Извольте-с...

— Проходите!

Богатое фойе, богатое убранство, огромный зал... Тяжелые бархатные портьеры, всюду позолота, колоссальные зеркала, колоссальные люстры... Светом ослепляет глаза...

Публики полно!.. И все сюртуки, смокинги, фраки, английские проборы до затылка, светлые лысины, дорогие тюрбаны из чужих волос, шелк, бриллианты, декольте...

Изумляюсь, неужели это все сибиряки?.. И догадываюсь, вот почему все в России думают, что сибиряки рассчитываются не чеканной монетой, а слитками золота...

Конечно, сюда собралась вся высшая, гостящая в Питере сибирская знать!..

Тут же масса молодежи — студенты, гимназистки, курсистки. Есть и просто скромные сибиряки... От светлых платьев, румяных щек, сверкающих глаз и всюду рассыпанных улыбок — зал собрания дышит молодой бодрой жизнью, задорными шутками, каламбурами. Но роскошь, яркость света, пышность нарядов и красота — наиболее скромных жмут в укромный уголок и заставляют теряться.

Поднимается занавес, и начинается концерт, в котором приняли участие некоторые петербургские знаменитости. Из них М. И. Долина [237] оставляет наиболее сильное впечатление исполнением «Калистратушки»... Есть в русской песне что-то, что обнимет, зачарует, укачает и убаюкает. Своим голосом, его мелодичными переливами г. Долина

повеяла в душу какой-то священной благодатью. Но песня прозвучала далеким эхом поднявшегося к небу русского народного страдания и плача.

Не менее красиво обласкала слух своею игрою на рояле Я. Ф. Залесская [238]. Г-н Пятницкий [239] унес мысли и думы в сибирские просторы, на старый курган и соприкоснул душу с прелестью молчаливой старины сибирской... А г-н Барышев, по Гартефельду и Даргомыжскому [240], исполнил сибирскую плясовую, сорвавшую с аудитории бурю восторга и смеха...

Ровно в 12 часов концерт окончен, и десятки слуг загремели стульями, расчищая огромный зал для бала...

И вот под звуки большого симфонического оркестра не менее ста пятидесяти пар образуют вихрь вальса...

#### *В Дворянском собрании*

Это собрание находится на Михайловской площади и по роскоши и массивности далеко превосходит Благородное. Еще более обширный зал огорожен рядами тяжелых белых колонн, и человек кажется здесь какой-то маленькой жужелицей...

8 ноября — вечер памяти Л. Н. Толстого. Устраивает его литературный фонд [241], при участии самых больших артистов Императорских театров — Савиной, Стравинской, Мичуриной, Ге, Давыдова, Ходотова, Судьбинина, Юрьева и других [242]. Всю декоративную часть вечера взял на себя академик скульптор И. Я. Гинцбург. На сцене роскошно декорированный монументальный Л. Н. Толстой работы Гинцбурга [243].

Билет удалось достать с трудом, за две недели вперед.

Вечер начинается лекцией Максима Ковалевского [244] «Толстой-мыслитель». Лектор чита-

ет по рукописи, но отчетливо, образно, красиво. Затем Эмма Штембер [245] исполняет похоронный марш Шопена [246]. Публика затихла. Перед нею как бы широко распахнулась завеса смерти, и красота и страдания жизни бледными призраками уходят все дальше и дальше в глубь небытия...

После чтения из «Власти тьмы» и «Живого трупа» [247] артистами Императорских театров г-жа Чернецкая [248] исполняет любимые вещи Л. Н. Толстого из Баха и Скарлатти... Затем, после сцены из «Анны Карениной», М. А. Ведринская [249], под мелодию Шопена красиво декламирует...

В заключение читается сцена из пьесы «От ней все качества» [250]. Вслушиваясь, чувствуешь, какой глубиной мысли, каким знанием народного быта и какой художественной правдой дышат эти последние образы яснополянского творца.

Но публика, привыкшая к более веселым зрелищам, начинает скучать... Двигают стульями, разговаривают... Артист Давыдов это понял. И, чтобы развеселить слушателей, он в конце сцены потрянул старой лысой головой и затянул:

— Последний нонешний денечек...

Публика сразу насторожилась и умолкла... И едва ли догадалась, что остроумная «штука» для нее дороже глубоких мыслей Толстого...

### *В Сибирском собрании*

Полная противоположность предыдущим собраниям. Сибиряки — народ непривередливый. К тому же Сибирское собрание с полным правом может называться собранием сибирской молодежи. Из старших и солидных здесь очень немного — В. И. Лосев, артист Императорского Мариинского театра, С. П. Швецов, присяжный поверенный Павлинов, член Думы Дзюбинский [251] и еще с десятков-другой, и только... Но молодежь

здесь бурлит и отводит душу от одиночества и работы, от недоедания и тоски по далекой родине.

В большинстве — это серая, пестрая, не блещущая внешностью толпа, которая таит в себе немало здравого критицизма и демократического протестантства.

Конечно, есть и исключения. Можно, например, очень часто наблюдать такие сценки: принаряженная, слегка даже подрумяненная барышня быстро бежит под руку с кавалером и, визгливо смеясь, распахивает портьеру в зал аудитории, а там идет чтение доклада.

— Ах!.. — громко вскрикивает она и зальется смехом еще более. А потом спрашивает у кавалера:

— Что это такое?..

Но и кавалер у такой барышни зачастую оказывается подходящим и отвечает:

— Не знаю!.. Пойдемте посмотрим!..

Бывает и так, внизу доклад, и на нем несколько десятков, а сотни человек вверху, поют песни, шумят... Но это объясняется, как говорят, тем, что «скучный доклад»...

Действительно, на наиболее интересных докладах всегда полна аудитория. Так же полна аудитория и во время концертов, особенно если участвует В. И. Лосев, которого молодежь очень любит.

После докладов и концертов раздвигаются стулья, и молодежь танцует. Но часто некому играть, отыскивается какой-либо доморощенный пианист и играет... Бывает, что и не находится музыканта, и тогда все скитаются по зале и ждут...

А некоторые устраивают танцы своими средствами.

Сидят студенты и на губах выигрывают какой-либо танец, прихлопывая ладонями, а перед ними развертываются наиболее независимые барышни, танцуют и тоже прихлопывают ладонями...

Просто и натурально! И по-сибирски демонстративно!..

У молодежи свои права, ей мало умного доклада, мало и созерцания шикарной обстановки Благородного или Дворянского собрания... Ей нужно непосредственное участие в веселом круговороте жизни. Дома, в тусклой и сырой каморке, достаточно можно наумничаться и наскучаться... Здесь же она ищет себе отдыха и тех светлых пятен, которые лучше прикрепили бы ее к жизни и ободрили бы в борьбе за свои права и светлое будущее...

В Сибирском собрании, благодаря крайне неудовлетворительной программе его действий, молодежь не всегда находит то, что ищет.

Отношение старших членов клуба к запросам молодежи в значительной степени холодное и неглубокое...

Но об этом уже достаточно писалось в сибирской печати.

### Х. В Финляндии у И. Е. Репина

Дедушка Потанин устроил мне «оказию», с которой я имел возможность поехать к великому русскому художнику.

Илья Ефимович Репин [252] живет в Финляндии близ Куоккалы, в собственной усадьбе, называющейся Пенаты.

Приемы бывают у него только один раз в неделю — по средам, от трех до пяти часов дня. Нужно было приурочить приезд таким образом, чтобы на извозчике от Куоккалы приехать не раньше и не позже трех-четырёх часов.

Начиная с вагонов и формы кондукторов, в Финляндии все имеет своеобразный, не русский вид. Слышна финская речь, иные одежды, иная природа и постройки. Подчищенный, любовно охраняемый лес; красивые, живописные раскинутые

дачные домики и густонаселенные, чистые деревеньки. Улички узенькие и прямые, яркие цвета покраски, точно нарисованные мостики и то и дело мелькающие ажурной резьбой павильоны и беседки. Но ярче всего бросаются в глаза большие красивые дома, стоящие, как кажется на первый взгляд, совершенно одиноко среди поля и леса, — с надписями: «Женская гимназия», «Мужская гимназия»...

И приятно видеть все это и больно, когда-то мы, подчинившие себе Финляндию, доживем до такой благодати?

Чем дальше от Петербурга, тем больше снегу. Становится светлее и дышится свободнее. Голос кондуктора звучит непринужденно и бодро. На его лице здоровый румянец и добродушная улыбка. Его обращение вежливо и приятно. Поезд мчится быстро-быстро. Через полтора часа:

— Куоккала...

Багажа у меня — всего одна тросточка. Без четверти три. Извозчики в круглых шапках с кожаными верхами. Лошади сытые. Мне, кроме того, угодил иноходец. На легких санках мчит он меня по совершенно непривычной дороге — сплошная, красивая, то и дело лавирующая в густом лесу аллея. Стройные ели убраны в снежные кружева. Легкий морозец и мягкий снег. После Петербурга глубоко и жадно дышится.

— Пенаты...

Нервы слегка натянуты.

Небольшой красивый дом с мезонином, и на дверях при входе предупредительная надпись: «Запасайтесь обратными извозчиками. Денег вперед не платите».

На следующих дверях, при входе в переднюю, новая надпись: «Свобода, равенство, самопомощь».

В передней никого. Звонка нет. Двери открыты. Висит медный тромбон, в виде большого таза, и резиновая колотушка. Надпись: «Звоните весело и громко».

Я ударил в тромбон раз, потом посильнее еще и еще... Сразу стало, действительно, весело и легко. Двери открылись, и вышла дама в черном платье. Это женщина-врач, большой друг хозяев, проповедница вегетарианства, Мария Львовна.

В первой комнате пахло уже художественным вкусом и массивностью красивой простоты. Огромный стол оригинально сервирован для чая: по краям его, рядом с бумажными чистыми салфетками и японской посудой, разбросаны широкие желтые и зеленые листья калины, а на них красные калиновые же гроздья.

Дальше дверь открыта, и я вхожу в большую комнату, представляющую собою нечто вроде маленького музея. Здесь каждая вещь — сокровище, и все в целом — гармония красоты, изящества и вкуса. Изразцовые печи, высокий, какой-то особенный потолок, сбоку стеклянная дверь в светлый павильон. Винтообразная лестница наверх в мастерскую.

Илья Ефимович, прямой, бодрый, с румянцем и серебряной сединой старичок стоял здесь в группе незнакомых мне людей и разговаривал.

Когда я поклонился, он обернулся ко мне и деловым тоном, сухо спросил:

— Что вам угодно?

Я ответил:

— Привез Вам поклон из Сибири от Григория Николаевича Потанина! — и подал ему письмо.

И этого было совершенно достаточно, чтобы затем весь вечер судьба улыбалась мне. Я как-то сразу почувствовал себя свободно, уютно и просто, как в доме близких и равных мне друзей. Боль-

ше того, мне выпала приятная и ответственная роль рассказчика о Сибири, об Алтае, о Григории Николаевиче Потанине, о сибирской литературе, о новом митрополите Макарии и о его деяниях. И, вероятно, в награду за эти рассказы я был приглашен на так называемый «сенной обед».

«Сенные обеды» у И. Е. Репина весьма популярны среди художественного и литературного мира Петербурга. На них по средам собираются большие знаменитости. Но на этот раз никого из знаменитостей, кажется, не было, кроме близких друзей и поклонниц Ильи Ефимовича. Всего гостей было человек шесть.

После чая все поднялись наверх в мастерскую Ильи Ефимовича, где у горящего камина расположились в кружок и продолжали начатый еще внизу разговор о Сибири, Алтае и Монголии. Затем, когда любезная хозяйка Наталья Борисовна [253], писательница и проповедница вегетарианства, пожелала снабдить меня своими книжками и увела вниз, одна из посетительниц, учредительница какого-то художественного бюро, дала толчок к новой теме. Очевидно, она просила Илью Ефимовича принять участие в ее организации, в которой объединились главным образом художники крайнего модернизма [254]... В то время, когда мы вернулись наверх, здесь шел горячий разговор, приведший Илью Ефимовича в сильное волнение. Он сидел на стуле и, размахивая руками, топал одной ногою в пол и искренно возмущался:

— ...Помилуйте!.. Ну как же я... Я пятьдесят лет работаю в одном направлении, и вдруг... Нет, что вы, что вы?.. И потом, извините меня, но эти люди, у которых нет ничего святого, не признающие ничего, кроме собственной бесцеремонности... Им ничего нельзя доказать! Как вы их ни убеждайте,



они вам свое: «А вот я так чувствую!..» Скажем, огонь в камине красный, а он вас будет уверять, что он зеленый, так-де я чувствую!..

Илья Ефимович приходил все в большее раздражение и продолжал одной ногой топтать в пол:

— Они пришли в храм искусства учинить дебош, оплевать в нем все святое!.. Оригинальность?.. Да эта оригинальность граничит с хулиганством!.. Скажем, здороваются все правой рукой, а я вот-де приду и при всей честной компании поздоровуюсь левой ногой: «...Я так чувствую! Я не хочу, как все!» Оригинальность!.. Нет, уж лучше и говорить на эту тему не будем!.. А вот пойдете-ка лучше все погуляем до обеда...

Оделись и вышли. На дворе было темно. Ходили по аллеям парка, и Илья Ефимович передней паре все время командовал:

— Направо! Прямо! Теперь налево!

Мы сделали по парку очень много замысловатых узлов и вышли опять к усадьбе. Но так как разговор, державшийся теперь около имени художника Крамского [255], еще не был окончен, то пошли снова в глубину парка.

Вернувшись, занялись избранием председателя «сенного обеда», которым и был избран Николай Дмитриевич Ермаков [256], деятель по обществу имени Куинджи [257] и почетный завсегдаятай у Репиных.

С этого момента хозяином делается председатель. Входим в огромную столовую, где стоит большой, аршин пять в диаметре, круглый стол. Всем указаны их места. Председатель садится на почетное место. Справа Илья Ефимович, слева Наталья Борисовна, взявшая под свое покровительство меня. Однако надо было все время помнить, что здесь «самопомощь, равенство и сво-

бода». Никаких услуг другим не полагается. За это налагается штраф в виде речи на злободневную тему. Председатель для поднятия настроения надевает на голову особую, сшитую из шелка, корону и приглашает начать кушать «сено».

«Сено» — довольно обильное, разнообразное и вкусное.

На столе громадный вращающийся круг, по краям которого стоят бочонки и разные сосуды и миски с готовой растительной пищей: грибами, овощами, салатами и плодами. Всякий, кто хочет взять себе то, что ему нравится, должен за особые стержни поворачивать круг, и пока он идет, могут успевать брать, что нравится, и другие.

За обедом все время веселый непринужденный разговор, остроты, каламбуры. Но потом вдруг вспыхнул горячий спор о женском равноправии, в котором наиболее активное участие приняла Наталья Борисовна, отстаивающая самые широкие права женщин.

После обеда был подан кофе. Некоторые забеспокоились о том, как бы не опоздать к поезду, но Наталья Борисовна успокоила:

— За всех заботится председатель. Он скажет о времени отъезда.

И действительно, вскоре председатель встал и стал торопить всех одеваться.

Мы горячо распрощались с гостеприимными хозяевами, причем Наталья Борисовна заявила мне, что она намерена поехать в Сибирь читать лекции о вегетарианстве и о женском равноправии и что ее будет сопровождать критик Чуковский [258], который будет читать лекции по литературе.

## **XI. В храмах искусства и науки**

Достоинства науки и плоды искусства, собранные в холодной северной столице, искупают собой многие отрицательные стороны «гнилого города».

Я не берусь, разумеется, делать сколько-нибудь обстоятельное обозрение «храмов муз», но хотел бы бегло поделиться тем настроением, которое навеяли на меня некоторые из сокровищ. В Эрмитаже, например, меня захватывал нижний этаж с его документами древней жизни... Все эти потрескавшиеся и пожелтевшие статуи и группы, тысячелетние египетские саркофаги и памятники, иероглифы и орнамент, кости и оружие — воскрешают то далекое былое, в котором так заманчиво его таинственное и неразгаданное... Хочется вдуматься, понять, разобраться, но не хватает широты мысли, чтобы все это охватить и усвоить как целостное и гармоничное... Явным становится лишь одно, эти остатки древности — живое предание о том, из чего явились мы, это оружие и доспехи, бронза и вещи наших предков, наших далеких пращуров, давно и навеки убаюканных и распыленных временем... И мы сами кровно, хотя и через глубокие века, связаны с ними... Если мы вернемся по нити наших родословий, мы неизбежно придем извилистым, но непрерывным путем к ним и еще глубже, через них, к началу начал...

Хорошо иногда от шумной и нервной сутололки уйти в музей [259] императора Александра III и там, избрав один из залов, безмолвно и красиво отдохнуть.

Путем созерцания здесь невольно приближаешься к красоте и останавливаешься на чем-либо немногом, но значительном и близком твоей душе. Трудно сказать, что лучше. Мы, профаны в искусстве, иногда восторгаемся тем, что слабо или старо.

Задержавшись перед бытовыми сюжетами, иногда изумляешься не тому, как они изображены, а тому, что в шикарных залах «храма муз» на почетных местах нашли себе уют неприглядные, грязные и оборванные живые русские мужики с их

горем и нищетою или с беззаветным и простодушным весельем... Задержит на час, на два какой-либо морской пейзаж, унося мысль далеко-далеко, вслед за свободными волнами; или увлекут старые полотна с библейскими и историческими сюжетами. Но больше всего привлекают внимание некоторые скульптурные произведения.

На «Летописца Нестора» [260] с его усталой старческой вдумчивостью можно смотреть целые часы и все думать, все углубляться мыслью в старину Руси, в ее ветхие летописи и вечно неоконченные и все новые и новые «последние сказанья» [261]. Долго и неподвижно сидишь в тусклых сумерках скупого петербургского дня и совершенно забываешь свои маленькие интересы...

Или вот скульптура Каменского [262] «Мальчик, лепящий птичку». Какой необычайной чистотой и свежестью веет от этого одухотворенного гипса! Детская сосредоточенность над работой до того мила и поэтична, что сюжет становится важнее самых сложных и мудрых, ибо своей простотой и прелестью он крепко-накрепко привязывает зрителя к жизни, утверждая ее.

Задержу ваше внимание еще на одной работе.

Там, где находится «Нестор» Антокольского, поставлена скульптура, кажется, Бельского [263] (хорошо не помню). Называется она «Сон». Лежит спящая молодая женщина, высеченная из белого мрамора. Не могу передать достоинств этой работы, но верю, что наиболее впечатлительные и чистые молодые люди, посмотрев на эту женщину внимательно и долго, могут влюбиться в нее до потери рассудка, как влюбились многие художники в Венеру Милосскую [264]. Кажется, что она дышит и видит дивные, святые сны; она так чиста и прекрасна, что на нее хочется молиться, как на идеал самого святого и прекрасного на земле. И

думается, что скульптор, создавший такую работу, на том свете попадет в рай и встретит там свой мрамор воскресшим и одухотворенным.

Так, с каждым днем, приходя в хранилища произведений искусства, все больше задумываешься над убожеством своих личных знаний, и жизнь, в ее целом, вырастает во что-то непостижимо огромное, чего не разгадать, не взвесить никаким гениям и мудрецам. И за все это больше влюбляешься в нее и в человека, одаренного таким бесценным богатством, как неиссякаемая творческая мысль...

С каждым днем делаешь для себя новые открытия и торопишься шире распахнуть сердце для восприятия красоты и благодаришь судьбу, что в душе все меньше остается места злу и скучному бездумью.

После осмотра музеев искусств я прошел в музей наук... Я шел не как ученый или исследователь, но как простой любопытствующий. Здесь жизнь глянула на меня совершенно иными, простыми и подлинными, но также мудрыми и загадочными глазами.

Зоологический музей — это целый животный мир.

Сюда заботливый ум и умелые руки человека собрали все живущее на земле в одну коллекцию и показали все ту же истину — о неисчерпаемости и непостижимости мира Божьего... Здесь земля и море, леса и степи, горы и пустыни имеют своих подлинных представителей, покорно преклоненных перед человеком и служащих ему для какой-то еще большей, чем наука, истины... Истины бессмертного бытия, для которого нужна и важна всякая тварь...

В морском музее на меня пахнуло безграничностью морской стихии, борьба с которой заставила ум человеческий изощряться до такой чудовищной виртуозности... Здесь, начиная с немудрого и трогательно наивного ботика [265] Петра Великого, вы видите последовательную эволюцию

мореплавания, постепенно доходящего до поразительных чудес хождения по водам и под водою... И не одна техника смотрит на вас в живых образах, но опять-таки мудрость жизни и опыта, поэзия творческого духа и богатырская сила человека, пылливо ищущего применения своего гения и на земле, и в небесах, и на дне морском под водою.

И все это для того, чтобы вечное движение не останавливалось ни на секунду, чтобы творение жизни неуклонно и уверенно шло дальше, в бесконечность, к своей цели — бессмертию!..

И эти мотивы мы увидим всюду и во всем, где искренне и любовно применен разум человеческий.

Целый день бродил я по залам этнографического музея, где отображены люди и племена со всего лица земли русской, заходил в аквариумы и зимние сады, в галереи и церкви — и всюду видел и чувствовал бессмертную мудрость жизни, а главное, то, что возвышает человека над животными и окружает его ореолом духовной красоты. И оттого на душе было отрадно, и даже вечные влажные сумерки петербургских улиц не могли затмить светлого, приподнятого настроения, и даже то, что придет смерть, не казалось страшным, так как от этого ни на волос не поколеблется осмысленное, красивое в жизни... А надежда на то, что, может быть, еще кое-что удастся узнать и увидеть в необъятном мире Божиим, освещала, как факелом, пути к будущему, которое, несомненно, лучше настоящего... И потому всякий час досуга хотелось отдать жадному любопытству и возможно больше вдохнуть образов и звуков красоты.

Торопясь в театры и оперы, на симфонические вечера и на собрания кружков, я не чувствовал усталости и уж, конечно, было не до скуки...

Заканчивая это мое несколько повышенное по тону письмо, сознаюсь вам, что не стыжусь свое-

го радужного оптимизма, который так энергично изгоняется теперь авторитетными отрицаниями жизни.

## ХII. Снова в глушь

Близилось Рождество с дурашливыми русскими святками. Петербург порядком утомил своим хаотическим блеском и толкотней. Трудно было представить праздник русской зимы в тумане северной столицы, где не только не видно звезд и неба, но где даже нет снега. Есть кое-где на задворках небольшие, закопченные дымом пятна его.

И в самый сочельник [266] я покинул Питер, решив встретить Рождество в вагоне со случайными спутниками.

Когда прозвучало три звонка, и маленькая группа друзей закивала с перрона, подумалось: «Увидимся ли когда?..»

Но вот, загромыхав, поезд отбросил назад платформу, а за нею и город и вынес на гладкий, не загруженный строениями города простор — и уже не было ничего, что еще удерживало бы в стенах Петербурга или будило бы грусть при расставании с ним.

Впереди был длинный путь в четыре с лишним тысячи верст. Вспомнилось, что на родине теперь трещат морозы, по просторам носятся метели, а солнце ходит в «рукавицах» [267]. И дремлют леса под парчовыми кружевами, а в ночном сумраке небо спускается ниже к земле и искрится звездами, как усыпанное смеющимися детскими глазами в золотых ресницах.

Четыре тысячи верст!..

Длинная дорога, но не неведомая и приятная, ведущая в родную глушь, в тихие захолустья, подернутые дымкою грустной дремы.

Длинная дорога!.. И все леса и поля, горы и степи... И снега, снега, снега... Для сдавленного стенами столицы человека, для утомленного суетней

и шумом — это не трудный путь, а отдых... Но отдых лицом к лицу с родной действительностью не всегда возможен. Всюду есть причины, рассеивающие лирические настроения. Сижу, наблюдаю и слушаю. Справа из дамского купе, несется трескотня дамского разговора вперемежку с криком двух грудных ребят. Дамы отводят душу, рассказывая одна другой про «чистое наказание с детьми». Слева — купе «курящих», в котором нашла себе уют теплая компания молодых людей. Один из них, племянник богатого сельского купца, едет в гости к невесте. С ними человек средних лет, подрядчик по малярному делу. Они ведут откровенный разговор насчет предстоящих перспектив жениха. Особенно их занимает вопрос о том, что будет тотчас после брака. Они аппетитно пьют водку, закусывая апельсинами, сок которых льется у них по подбородку, по рукам, на колени... По свойственной русскому человеку неопрятности, корки апельсинов и другой мусор они бросают под лавки других, куда выплескивают и остатки чая и водки. Тема разговора держит их в повышенном настроении, они смакующе смеются, удовлетворенно сплевывают и форсят друг перед другом тупыми каламбурами.

И только подрядчик читает мораль:

— Нет, ты ее поддержи ндравственно!.. Ндравственно... Ежели честная выйдет...

А один из товарищей советует:

— Эй, слышь, ежели честная выйдет, даю голову на отсечение — тебе доведется соседа пригласить... Ишь ты слабосильный!..

Подрядчик продолжает:

— Вы что, нынешняя молодежь... Только бы по мазуришным [238] делам!.. А насчет ндравственности — ни на грош!..

— Кто?.. — протестует вдруг обидевшийся жених. — Нет, это мазурики-то у вас в Шокше!..



— Нет, вот у вас, это верно!.. У вас в деревне семь дворов, а восемь воров!.. Какая у вас теперь нравственность, а?!

— У нас?.. У нас, по крайней мере, народ чисто ходит!

— Мазурик с виду всегда чист, а внутри... Внутри студень один и тот прокис весь...

Все дружно смеются, не исключая и жениха, но вскоре спор возобновляется и переходит в угрозы и крепкую ругань.

Чтобы дать больше простора на случай перехода угроз в действие, я ухожу на площадку. Там особая сценка. Молоденькая дама, мать одного из грудных детей, в компании с двумя студентами, ведет веселый разговор. Она прижалась в уголок и, видимо, польщенная осадой двух красивых молодых людей, звонко смеется и прячет обнаженные по локоть руки себе за спину. Ее бюст выдался вперед, а голова, с полурассыпанной прической, откинулась назад. Один из студентов пытается поцеловать ее полуоткрытую шею, а другой не дает, стараясь предупредить товарища... Мое появление на тесной площадке их ничуть не смущает, зато я, спеша на мостик, чуть не сваливаюсь под поезд...

Меня обдало струей сильного, смешанного со снегом и дымом ветра. Мостики вагонов, набегая один на другой, жуют друг друга, поскрипывая. Меня качает и осыпает снегом... Слева быстро несутся назад буйные кудри паровозного дыма. Он жметя к лесу, стелется по земле и, путаясь, тает в черном и онемелом лесу... Справа сплошная стена леса... Елки бегут, бегут, как живые, дружной толпой назад, в Петербург... Там везде в последние дни на площадях и на улицах из них появились целые рощи... Только вместо корней у них кресты, белые кресты...

Воспоминание о них и о крестах вместо корней наводит меня на аллегорические размышления, и я смотрю на быстро мелькающие сугробы снега...

Здесь уже много снегу... Он красиво искрится в бегущих по дороге светлых пятнах, брошенных из окон вагона... Длинной легкой пеленою волочится за поездом белый кудрявый дым, и в нем все гуще и гуще переливаются сыпучие искры... Они падают на снег и на его сверкающей глади, в холодном белом ложе вспыхивают последними улыбками жизни...

Звезд на небе не видно... Оно хмуро и темно-серо. Долго стою на мостике и, убаюканный равномерным покачиванием вагона и четким, точным стуком колес, хочу представить себе давнишнее прошлое, в котором затерялось скромное детство с наивной верою в то, что Христос рождается именно в эти часы и минуты... Как отклик былой веры, в душе ютится еще частица наивности и немножко стыдит своей предрассудочностью... Но ее жаль, и жутко сознание того, что время умерщвляет эту наивную чистоту, а вместе с тем умерщвляет и душу, делая человека простым механизмом, скрипучей, неумолимой машиною...

Вдали мелькают слабые огоньки, затерянные в лесу и за лесом... Должно быть, деревенька ждет праздника... Маленькая русская деревенька, наивная и пока суеверная, не совсем еще потерявшая Бога...

Из вагона в открытую кондуктором дверь на меня пахнуло табачным дымом и донеслись: ругань подрядчика, крик грудного ребенка и звонкий, веселый смех молодой женщины.

Мне не хотелось идти в вагон. Я стоял на мостике и чувствовал, как быстро-быстро по лесам и снегам змеевидный поезд с глазастым и запыхавшимся паровозом впереди мчит меня в далекую, далекую Сибирь и осыпает свою дорогу быстро гаснущими искрами...

Как мелькали они, в моих думах мелькали еще искры иной, только что оставленной жизни. Но я знал, что длинная дорога утрясет, уравнивает яркость пережитого, и думы устремлялись уже вперед, на родину, в ее ленивую, тускловатую, но близкую и понятную действительность...

И, когда несколько дней спустя по ухабистой трактовой дороге звенели докучные колокольцы, а тройка пурхалась в убродном [268] снеге, — все яркое и пышное осталось далеко позади, как в далеком прошлом, как сказка или яркий сон.

А в настоящем проносились мимо погребенные сугробами деревни и близилась скромная работа в захолустье, вблизи от скромных и простых людей...



## ПРИМЕЧАНИЯ

### Н. Н. ЯНОВСКИЙ. ГРЕБЕНЩИКОВ В СИБИРИ

Печатается по: Гребенщиков Г. Д. Чураевы. — Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1982. С.406–429.

1. Год рождения Г. Д. Гребенщикова на момент выхода данной книги точно не установлен. Самим Гребенщиковым назывался и 1882, и 1883, и 1884 года, однако документальных подтверждений ни одной из этих дат пока нет.

2. Начетчик — богослов у старообрядцев.

### В ПОЛЯХ

Печатается по: Гребенщиков Г. Д. Сибирские повести и рассказы (1911–1919). Книга 1. — Бийск: издательский дом «Бия», 2007. С. 19–48.

3. Суслон — снопы, поставленные в поле стоймя, колосьями вверх, покрытые сверху снопом, для просушки.

4. Гумно — площадка для молотьбы.

5. Кошёмная шляпа — крестьянская шляпа из кошмы (войлока).

6. Омёт — большая куча соломы, оставшейся после обмолота.

7. «Красный» — так назывался, по признаку цвета, царский десятирублевый кредитный билет.

8. Благовест — колокольный звон, возвещающий о церковной службе.
9. Заворашивать — т. е. ворошить солому после молотбы, чтобы освободить от нее обмолоченное зерно.
10. Сермяга — домотканое грубое некрашеное сукно; верхнее платье с длинными полами из такого сукна.
11. Зипу́н — крестьянская одежда для работы и непогоды из домотканого сукна.
12. Ота́ва — трава, выросшая на месте скошенной в тот же год.
13. Повéть — крытый двор, навес в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря.
14. Полати — настил из досок, устроенный в крестьянской избе под потолком между печью и противоположной ей стеной дома, на котором спали дети.
15. Тесница — доска, вытесанная из половины древесного ствола.
16. Крóсно — самодельный ткацкий станок, на котором ткали пряжеными нитями.
17. Куть — угол в избе для приготовления пищи, обычно возле русской печи, отделенный занавеской.
18. Вéршнем — у В. И. Даля (с пометой сиб.) сидя на коне.
19. Пособороваться — принять соборование, церковный обряд, совершаемый над тяжелобольными или умирающими.
20. Домовина — долбленный из цельного ствола дерева гроб.
21. Сутунок — деревянный обрубок.
22. Плаха — бревно длиной около полуметра, расколотое пополам в длину.

23. Глухая исповедь — исповедь, при которой больной не в состоянии отвечать на вопросы исповедующего его перед смертью священника.
24. Епитрахиль — часть облачения священника в виде длинной полосы ткани, которая надевается на шею и свешивается спереди.
25. Погребение с выносом — похороны по христианскому обряду, с участием священника.

## ХАНСТВО БАТЫРБЕКА

Печатается по: Гребенщиков Г. Д. Сибирские повести и рассказы (1911–1919). Книга 1. — Бийск: издательский дом «Бия», 2007. С. 101–167.

26. Киргизы (другие варианты «киргиз-кайсаки», «киргиз-казаки») — так вплоть до 1925 г. в научной литературе и документах назывались казахи. Наименование «казахи» было самоназванием нации, известной русским с XVI в. под именем «казачков», «казацкой орды». Позднее на них было ошибочно перенесено самоназвание соседнего народа — собственно киргизов.
27. «Чередить коней на скачку» — по В. И. Далю, приводить в порядок, обихаживать, подготавливать.
28. Камзол — короткая, без рукавов, поддевка под верхнюю одежду.
29. Девятая луна — по лунному календарю казахов, связанному с фазами Луны — девятый месяц года.
30. Залетовать — по В. И. Далю, провести лето заездом; в данном случае в степи, вдали от зимних стоянок.
31. Коддун-баксы — шаман, служитель языческого, домусульманского культа.
32. «Орус» — искаж. русский.

33. Малахай — шапка на меху с широкими наушниками и плотно прилегающей к затылку и шее задней частью.
34. Шайтаны — в мусульманской мифологии злые духи, дьяволы.
35. Молоканка — пункт приема молока для дальнейшей переработки.
36. Би́и — наряду с баями и ханами, являлись представителями родовой знати, их обязанностью, в частности, было ведение судопроизводства.
37. «Баян-Сулу и Козы-Корпеш» — один из самых древних памятников казахского эпоса о трагической судьбе красавицы Баян-Сулу и ее возлюбленного Козы-Корпеша (варианты: Ко-зу-Корпеч, Кызу-Курпеш), казахских Ромео и Джульетте.
38. Кипцовые (типцовые) травы — злаки, растущие в степях и полупустынях; желтики (желтушники) — опушенная трава семейства крестоцветных, усыпанная желтыми цветами; вязили — несколько разновидностей степных трав, иначе называемых горошком.
39. Нанбук — гладко-окрашенная хлопчатобумажная ткань сатинного переплетения, но более тяжелая и жесткая, чем обычный сатин.
40. Чембáры — просторные кожаные или холщовые шаровары, в них для удобства в работе заправлялись полы верхней одежды.
41. Шурф — вертикальная (редко наклонная) горная выработка небольшого сечения, проходима с целью поиска и разведки полезных ископаемых.
42. Штейгер — в горном деле мастер, заведующий рудничными работами, горный техник.
43. «Орда» — кочевой народ под правлением хана; ордынская башка — бранное название кочевых народов.



44. Бутылы, или бродни — повседневная крестьянская обувь: выворотные сапоги с мягкой подошвой, мягкими голенищами, подвязывались выше колен и вокруг щиколоток, внутрь стелили мягкую подкладку из сена, а зимой — из собачьей или овечьей шерсти.

45. Шпур — цилиндрическая полость диаметром до 75 мм, длиной до 5 м., пробуренная в горной породе для размещения взрывчатого вещества.

46. Штольня — горизонтальная или наклонная подземная горная выработка, имеющая выход на поверхность, предназначена для обслуживания подземных работ.

47. Штрек — горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая выхода на поверхность; гизенок — вертикальная подземная горная выработка, соединяющая разные этажи штреков, идущая снизу вверх.

48. Черки — повседневная кожаная обувь, по форме схожая с головками сапог, опушенная мягкой обшивкой, сквозь которую пропускаясь завязки.

49. Верный — русское военное укрепление (заложено в 1854 г.), в 1867 г. переименовано в город Верный, центр Семиреченской обл., с 1921 г. — г. Алма-Ата (столица Казахской ССР, совр. название — Алматы). Воскресенский рудник — имеется в виду Спасско-Воскресенский (вариант: Спасо-Воскресенский) медный рудник, входивший в Жезказганское месторождение полиметаллов. Расстояние между Алматы и Жезказганом — более 1300 км.

50. Олёкма — порожистая река на юге Восточной Сибири, правый приток Лены. В 1843 г. в районе Олёкмы и другого притока Лены, Витима, была открыта россыпь золота.

51. Таволга — степная береза.

## СТЕПЬ ДА НЕБО

Печатается по: Гребенщиков Г. Д. Сибирские повести и рассказы (1911–1919). Книга 2. — Бийск: издательский дом «Бия», 2008. С. 81–87.

52. Правнук Авраама — праведный Иосиф Прекрасный, ветхозаветный святой, почитаемый православной церковью как исполнитель воли Божией в священной истории до новозаветной эпохи.

53. Белоголовый орел — речь идет об орле-могильнике, крупной хищной птице семейства ястребиных. Название «могильник» связано со склонностью птицы устраиваться на отдых вблизи от каменных или саманных мавзолеев — больших надгробных сооружений.

54. Каин — старший сын Адама и Евы, позавидовавший своему младшему брату Авелю и убивший его, тем самым впервые запятнав землю пролитой кровью.

55. Конурбай-тамыр — в переводе с тюркского «конур» — смуглый; «бай» у тюрков (и казахов) означает богач — богатый, уважаемый человек; «тамыр» — друг, приятель.

56. Назыр-хан-богатырь — Назыр (Назар) в переводе с арабского: взгляд, внимание, рассуждение; «хан» у казахов — глава, правитель. Беркут-хан-богатырь — у казахов одно из многих имен, связанных с наименованиями птиц и зверей, по ассоциации качества представителей фауны: мужество, смелость, зоркость, ум — передавались носителю имени. Беркут (буркит) — символ героизма, отваги, силы и власти.

## ОПОРА

Печатается по: Георгий Гребенщиков. В просторах Сибири. 1906–1910 годы. — Париж: Русское книгоиздательство Я. Поволоцкий и Ко. С. 23–45.

57. Корчага — большой глиняный, в XIX веке также чугунный горшок или большая кринка с широким горлом с двумя вертикальными ручками. Использовалась для хранения различных пищевых продуктов и напитков (зерна, молока и т. п.).

58. Десятина — старая русская единица земельной площади, равная 1,09 гектара.

59. Борноволоки — крестьянские дети обычно возрастом 8-10 лет, во время боронования поля сидевшие на передней из трех-четырех лошадей и направлявшие их по определенной линии.

60. День Святой Троицы (сокр. Троица) — один из главных христианских праздников, в православной традиции празднуется в воскресенье в день Пятидесятницы — 50-й день после Пасхи.

61. Рукомесло — то же, что и ремесло, образовано под влиянием слова рукоделие.

62. Осенесь — по В. И. Далю, в прошлую осень.

63. Кошма — войлочный ковер из овечьей или верблюжьей шерсти.

64. Филиппов пост — простонародное название Рождественского поста. Назывался в знак того, что начинается на следующий день после дня празднования памяти апостола Филиппа (27.11 н.ст.; 14.11 ст.ст.).

65. Цедок — маленькое сито для процеживания молока.

66. Славить в Рождество — один из обычаев празднования Рождества в России. Взрослые и дети ходили по домам и распевали тропарь (одно из кратких молитвенных песнопений, в котором раскрывается сущность праздника, прославляется и призывается на помощь священное лицо), а также стихи о рождении Христа. Обычно носили с собой звезду, которая изготавливалась из бумаги и расписывалась красками. В заключение выступления славящие могли произносить: «Мы Христа славим-носим, у хозяев ничего не просим, а чего накладут — не бросим!» — или похожую фразу, после чего хозяева обязательно одаривали пришедших мелкими деньгами и угощениями.

67. В Российской империи совершеннолетие для поступления на службу у мужчин во втор. пол. XIX — нач. XX вв. определялось в 16 лет.

68. Подушная подать — форма налога, подати, взимаемой в одинаковом или примерно одинаковом размере с каждого подлежащего обложению человека по результатам переписи. Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона (т. XXIV (1898): Повелительное наклонение — Полярные координаты, с. 123—129) к податным сословиям принадлежала вся масса сельских обывателей, под разными наименованиями, а также, до 1863 г., мещане, цеховые и рабочие в городах. Они подлежали внесению в ревизию. При производстве ревизии в ревизские сказки вносились все лица податного состояния мужского пола. Этим фактом внесения в ревизию они уже были «положены в оклад», как выражался устав о податях. Сложности со сбором подати и огромные недоимки привели к тому, что с 1 января 1887 года подушная подать, как всероссийский налог, прекратила свое существование и после этого срока продолжала взиматься только в Сибири (до 1897 года).

69. В Российской империи совершеннолетие для вступления в брак у мужчин во втор. пол. XIX — нач. XX вв. определялось в 18 лет.
70. Опéчек — каменное или деревянное основание печи.
71. Дóнись — по В.И. Далю, то же, что и олонясь, т. е. в прошлом году.
72. Сельская сборня — дом, в котором собирался деревенский сход.
73. Христóсоваться — в православии: троекратно целоваться, поздравляя друг друга с праздником пасхи, говоря при этом: «Христос воскрес! — Во истину воскрес!»
74. Покрышка — здесь крышка на посудину.
75. Лохань — деревянная круглая или продолговатая посуда для стирки белья, мытья посуды, для помоев и т. п.
76. Душегрейка — женская теплая кофта без рукавов.
77. Нявжо — от белорусского няўжо — неужели; разве.

## ПО УКАЗУ

Печатается по: Гребенщиков Г. Д. Сибирские повести и рассказы (1911–1919). Книга 1. — Бийск: издательский дом «Бия», 2007. С. 94–100.

78. Миткаль — суровая ткань, по составу волокна и свойствам аналогичная ситцу. Обе ткани используют одинаковое, самое простое, полотняное плетение.
79. Екатерининская медная гривна — квадратная монета-плата средним размером 6х6 см. В 1725 году Екатериной 1 был издан указ о чеканке на Екатеринбургском горном заводе новых квадрат-

ных монет из меди, используя шведский опыт. Медные квадратные гривны выпускались в течение трех лет и были самыми распространенными квадратными монетами того времени.

80. Шпицрутен — длинный, гибкий и толстый прут из лозняка либо штатный металлический шомпол к дульнозарядному огнестрельному оружию, применяемый для телесных наказаний в XVII—XIX веках в Европе и России.

81. Грезит — от «греза», что в сибирских говорах означает «блажь, дурь, шалость».

82. Манифест императора Александра II об отмене крепостного права от 19 февраля (3 марта) 1861 года.

83. Кержаки — раскольники, по названию реки Керженец в Нижегородской губернии, где они скрывались от преследований государственной власти.

84. Гарус — мягкая крученая, белая или цветная шерстяная пряжа.

85. Картуз — мужской головной убор с козырьком.

## ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Печатается по: Гребенщиков Г. Д. Сибирские повести и рассказы (1911–1919). Книга 2. — Бийск: издательский дом «Бия», 2008. С. 119–123.

86. Стрикулист (строкулист) (шуточн.) — восходит к бранному прозвищу мелких чиновников и канцелярских служащих.

87. Паужин — прием пищи между обедом и ужином.

88. Щерба — уха из мелкой нечищенной рыбы.

89. Петров пост — пост в Православной церкви, установленный в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для про-

поведи Евангелия (Деян. 13:3). Начинается через неделю после Дня Святой Троицы, в понедельник, после девятого воскресения по Пасхе, а заканчивается 28 июня (11 июля), накануне Дня Петра и Павла, который отмечается 29 июня (12 июля).

90. Логушок — небольшой бочонок или ведерко.

## УБЕЖИЩЕ

Печатается по: Гребенщиков Г. Д. Сибирские повести и рассказы (1911–1919). Книга 1. — Бийск: издательский дом «Бия», 2007. С. 80–93.

91. Шашмура — повседневный головной убор замужней женщины.

92. Никониане — сторонники реформы патриарха Никона, начатой в 1650-х годах и вызвавшей раскол Русской церкви. Противники реформы, с 1788 года официально называемые старообрядцами, были объявлены еретиками и преданы анафеме на Московском соборе 1656 года (только держащиеся двуперстного крестного знамения) и на Большом Московском соборе 1666–1667 годов. В результате появились старообрядческие группы, впоследствии разделившиеся на многочисленные согласия.

93. В Российской империи в XIX — начале XX вв. сотские — один из низших чинов полиции на селе.

## ЛЕСНЫЕ КОРОЛИ

Печатается по: Гребенщиков Г. Д. Сибирские повести и рассказы (1911–1919). Книга 2. — Бийск: издательский дом «Бия», 2008. С. 4–30.

94. В словаре В. И. Даля — конора, кокор, кокорыга ж. копань, накур, кница, бревно или брус с корневищем, дерево с корнем клюкою, с коленом, для судостроения.

95. Губа — по В.И. Далю, грибастые наросты на деревьях, почему и трут, чагу зовут губой, губкой.
96. Кулема — ловушка на мелких зверей.
97. Тужурка — форменная двубортная куртка, сшитая из бобрика, шерстяной ткани со стоячим ворсом.
98. Прáсол — оптовый скупщик в деревнях мяса, рыбы, скота и лошадей для перепродажи.
99. Билеты — специальные бланки, выдаваемые лесничим за определенную плату, на рубку леса, сенокосение и пастьбу скота в лесу, а также сбор кедровых орехов, грибов и ягод. В билете указывались личные данные просителя.
100. Талон — отрывная часть билета, контрольный документ, содержащий те же сведения, что и в билете.
101. Знак сильного мороза.
102. Кошева́ — широкие сани, предназначенные для перевозки грузов.
103. От вятского «бастенький» — хорошенький, красивенький.
104. Четверть — четвертая часть аршина, т. е. чуть больше 17 см.
105. Кайки — лыжные палки.

## ВЕСНОЮ

Печатается по: Гребенщиков Г. Д. Сибирские повести и рассказы (1911–1919). Книга 1. — Бийск: издательский дом «Бия», 2007. С. 65–79.

106. Великий пост — центральный и самый строгий пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи. В зависимости от дня празднования Пасхи, который меняется каждый год, Великий пост



может начинаться в период с 2 (15) февраля по 8 (21) марта включительно и, соответственно, заканчивается в один из дней с 21 марта (3 апреля) по 24 апреля (7 мая). Таким образом, дни в период с 8 (21) марта по 21 марта (3 апреля) оказываются всегда приходящимися на Великий пост.

107. Трепало — орудие для трепания волокна — льна, пеньки, конопли — ручным способом.

108. Зажор — скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки в период осеннего шугохода и в начале ледостава.

109. Серные спички.

110. Азям — крестьянский кафтан из грубой шерсти, халатного покроя, то есть неприталенный, поверх него надевался пояс.

111. «Сечка» — у В. И. Даля — резка, изрубленная солома, сено, пересыпанное отрубями, для корма скота.

## РЕКА УБА И УБИНСКИЕ ЛЮДИ

Печатается по: Гребенщиков Г. Д. В просторах Алтая: Статьи и очерки (1911–1915) — Бийск: издательский дом «Бия», 2007. С. 24–104.

112. Линевич, Николай Петрович (1838–1908) — участник русско-турецкой войны 1877–1878; в 1905 главнокомандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке. Скобелев, Михаил Петрович (1843–1882) — герой русско-турецкой войны, успешные действия при штурме Плевны и Ловчей создали ему большую популярность в России и Болгарии. Куропаткин, Алексей Николаевич (1848–1925) — военный министр (1898–1904); главнокомандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке, не сумевший организовать взаимодействие войск, в результате чего русская армия

потерпела поражение под Мукденом. Стессель, Анатолий Михайлович (1848–1915) — участник русско-турецкой войны; с 1903 — комендант Порт-Артура, снискавший всеобщее презрение после его сдачи в декабре 1904; был уволен в отставку (1906), отдан под суд (1907), однако помилован в 1909. О Мищенко сведений найти не удалось.

113. См. выше примеч. I к повести «Ханство Батырбека».

114. Хлебозапасный магазин — (иначе амбар) — склад для хранения общественных запасов зерна, стоявший, как правило, в центре села.

115. Новоселы — крестьяне, переселившиеся из Европейской России после реформы 1861 г., а также в годы столыпинских реформ (1907–1914).

116. Старожилы — к началу XVIII в. относится появление на Алтае первых русских деревень, заселявшихся, как правило, выходцами из северных областей европейской части России. Первопоселенцы были не только легальными, но и самовольными (беглые крестьяне, рекруты, мастеровые и т. п., а также раскольники-старообрядцы).

117. Лоб (крыши) — фронтон, треугольное поле под двускатной крышей избы. Охлупень (крыши) — долбленое бревно, которым прижимали тесанные доски, покрывавшие крышу.

118. Печурки (в печи) — небольшие углубления в боковой стенке русской печи для хранения лучины и спичек, а также для просушки рукавиц.

119. Целó (иначе: чело) печи — устье, четырехугольное или закругленное отверстие в передней стенке русской печи, в которое закладывали дрова и где готовилась пища.

120. Кубовая скатерть — выкрашенная в синий цвет краской растительного происхождения (индиго).

121. Фарпосный (правильно: форпостный) — от «форпост», т. е. передовой пост охраняющих частей, а также укрепленный пункт на границе. Как правило, эту службу до 1917 г. несли казацкие войска.
122. Чудские курганы — речь идет о древних племенах (вторая половина 3 тыс. до н.э.), занимавшихся на территории Южной Сибири поисками руды и выплавкой золота, серебра, меди и др. Словом «чудь» обозначали в Древней Руси финно-угорские племена, позднее оно было перенесено на все неизвестные народы древности.
123. Курень — название жилого дома в южнорусских губерниях и на Украине.
124. Криница — в южнорусских губерниях родник, неглубокий колодезь, поставленный на роднике.
125. Свитка — украинское название длинного просторного кафтана без воротника, как женского, так и мужского, с глубоким запахом и застежкой на крючках; крестьянские свита шили из домотканого сукна. Понёва — в южнорусских и центральных губерниях предшественница юбки, лоскут домотканой материи, обертываемый вокруг бедер.
126. Бергайер (от немецкого Bergbauer) — горнорабочий, занимающийся добычей руд или их первичной обработкой.
127. Чалдоны — в сибирских диалектах: бродяга, беглый, каторжник. Рохля — разиня, неряха, сонный, тупой, неповоротливый человек.
128. Молокане — раскольники молоканского согласия (толка), отвергающие церковные таинства и священство, иконы и все православные обряды, а также гражданскую власть и военную службу, поскольку она связана с пролитием крови, не принимают в пищу мясо животных и птиц, едят только молоко и яйца.

129. Кабинет — после смерти А. Н. Демидова по Указу императрицы Елизаветы Петровны от 1 мая 1747 г. алтайские заводы и рудники перешли в собственность императрицы и под ведение Кабинета Ее Императорского Величества.

130. «Поляки» — самоназвание русских раскольников, поселившихся в Сибири со второй половины XVIII в. В к. XVII — нач. XVIII в. часть староверов, спасаясь от никонианских реформ, бежала в районы Польши, примыкавшие к русской границе (Стародубье и Ветку). Во второй половине XVIII в. эти территории снова вошли в состав Российской империи, и в начале царствования Екатерины II беженцам-раскольникам («польским староверам») было предложено на льготных условиях переселиться в Сибирь.

131. Кандидат (волостной) — лицо, предназначенное занять должность в волостном правлении.

132. Крупчатая мельница — выпускающая «крупчатую» муку, пшеничную муку высшего сорта.

133. Единоверческая церковь — основана по указу императора Павла I от 27 ноября 1790 г. Подчинялась архиереям новообрядческой (никоновской) церкви, однако все церковные службы совершались по старым, дониконовским книгам, сохранялись все старообрядческие обряды, чины, уставы и обычаи.

134. Кичка — старинный русский праздничный головной убор замужней женщины.

135. Белокриницкая иерархия — была учреждена в 1846 г. в полноте трех чинов (епископ — священник — дьякон) старообрядцами Белокриницкого, или Австрийского, согласия. Название происходит от с. Белая Криница, находившегося на территории Австрии.

136. Канцелярия Кольвано-Воскресенского горного начальства — была образована после передачи алтайских заводов в собственность Кабинета (см. выше, прим. 9) для управления демидовскими заводами, во главе нее стоял А. В. Беэр (1696–1751).

137. Ремингтон — название широко распространенной пишущей машины, первый образец которой был изготовлен одноименной американской фирмой еще в 1873 г.

138. Амвон — возвышенный, как правило, полукруглый и выдвинутый внутрь храма выступ в середине соли (возвышения перед иконостасом, являющимся как бы продолжением алтаря). С амвона священник произносил проповеди перед прихожанами.

139. Аналой — стол, на котором во время богослужения кладутся евангелие, крест и иконы, выставляемые для поклонения верующих.

140. Двуперстный крест — употребляется старообрядцами, в отличие от троеперстия, принятого в официальной церкви. Двуперстный крест является одним из важнейших разногласий с православной церковью в обрядовой стороне религии.

141. Служба часов — службы, совершаемые ежедневно, согласно часослову — церковной служебной книге, содержащей установленный суточный круг молитв и богослужений.

142. Указ императора Николая II «Об укреплении начал веротерпимости». Устанавливал свободу выбора религии и свободу отправления религиозных обрядов, сохраняя тем не менее приоритетные в государстве позиции Православной российской церкви.

143. Покромка — полоска края, кромки ткани, употребляемая для различных целей, обычно в качестве пояса.
144. По́шевни — сани-розвальни, широкие сани, обшитые лубом (внутренняя часть коры молодых лиственных деревьев).
145. Притор — дорожка, идущая опасным горным карнизом. (Примечание Г.Д. Гребенщикова)
146. Илья Муромец «едет, хлеба кус жуя» — цитата из первой строфы шутовой баллады А. К. Толстого «Илья Муромец» (1871): «Над броней с простым набором / Хлеба кус жуя, / В жаркий полдень едет бором / Дедушка Илья».
147. Игуменья — начальница монастыря.
148. Инокиня — монахиня, черница, в отличие от белицы — живущей в монастыре, но не постриженной в монахини.
149. Накрытая схимой — от «схима» — название двух высших степеней монашества: малой и великой, отличающихся принятием все более суровых обетов. Схимой называется также одежда великосхимника.
150. Лестовка — кожаные четки раскольников, с кистью кожаных лепестков.
151. Риза — верхнее облачение священника при богослужении; металлическая накладка на иконах, оставляющая открытыми только изображения лица и рук.
152. Клирос — место для певчих в церкви, на возвышении перед алтарем по правую и по левую стороны царских врат.
153. Хоругви — священное церковное знамя, которое вместе с крестами и иконами несут участники крестного хода. На хоругвях, изготовленных из метла, изображены Иисус Христос, Богородица, святые и т. п.

154. Слегка измененные строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка» (1846). У Некрасова: «От работы и черной и трудной», «не успевши расцвеств».

155. Бурханизм — национальное движение, возникшее в 1904 г. среди народностей, населявших Горный Алтай, как своеобразная религиозная реформация.

## АЛТАЙСКАЯ РУСЬ

Печатается по: Гребенщиков Г. Д. В просторах Алтая: Статьи и очерки (1911–1915) — Бийск: издательский дом «Бия», 2007. С. 117–152.

156. См. описание Белухи и ее ледников в книге: Сапожников В. В. Катунь и ее истоки. Путешествия 1893–1899 гг. Томск, 1901. С. 97–105. Сапожников, Василий Васильевич (1861–1924) — натуралист, географ, исследователь Сибири. С 1895 г. совершил несколько экспедиций на Алтай, первым из исследователей поднялся на Белуху. Автор книги «По Алтаю» (1895), первого туристического путеводителя «Пути по русскому Алтаю».

157. См. выше примеч. I к повести «Ханство Батырбека».

158. Проф<ессор> Щапов. «Земство и Раскол» (Примечание Гребенщикова). Щапов, Афанасий Прокофьевич (1831–1876) — русский историк и публицист, один из соратников Г. Н. Потанина по делу областников (1865). Автор многих трудов по истории сектантства и раскола. См.: Щапов А. Ф. Земство и раскол. Часть I. Земство и раскол. Часть II (Бегуны) // Сочинения А. Ф. Щапова. В 3-х тт. Спб., 1906. С. 451–504, 505–579.

159. Сугубая «аллилуйя» — повторяемый дважды у раскольников (в отличие от трехкратного повторения в официальной церкви) молитвенный

хвалебный возглас во время богослужения (греч. «аллилуйя» от древнееврейского «восхваляйте Иегову»); единый «аз» («аз» — название первой буквы русской азбуки, кроме того, на церковно-славянском языке «аз» означает единицу) — возможно, в этом выражении проявляется решительное несогласие старообрядцев с церковной реформой, инициированной патриархом Никоном (1652–1666), — пересмотр и исправление текстов богослужебных книг; смысл выражения — в отказе изменить хотя бы одну букву в освященных традицией старых книгах.

160. Беловодье — легендарная страна в пустынной благодатной местности, близ белых вод и белоснежных вершин, в которой обитают праведники, люди, сохранившие традиции истинного, древнего благочестия. Миф о Беловодье, первоначально сложившийся в среде раскольников, бежавших от реформ патриарха Никона, распространился среди других слоев населения, искавших Беловодье на Алтае.

161. «Русск<ое> богатство». Февраль и март 1912 г. (Примечание Гребенщикова). См.: Короленко В. Г. Русская пытка (Исторический очерк). Часть первая: В старину // Русское богатство. 1912. № 1. С. 127–146. Короленко В. Г. Русская пытка в XIX в. // Русское богатство. 1912. № 3. С. 199–224. Гребенщиков цитирует фрагмент из первой части статьи (Русское богатство. 1912. № 1. С. 130), который, в свою очередь, является цитатой из статьи Н. Н. Оглоблина «Бытовые черты XVII века» (Русская старина. 1892. № 10. С. 172).

162. Поторжной — временно наемный рабочий на заводе, не мастеровой.

163. Пучка — борщевник (*Heracleum sibiricum*).

164. Записки Семипалатинского Подотдела Императорского Геогр<афиче-



ского> Общ<ества> (Примечание Гребенщикова). Евгений Францевич Шмурло — историк, профессор Санкт-Петербургского и Дерптского университетов, один из председателей Императорского русского исторического общества. Летом 1896 г. совершил поездку в юго-восточные районы Семипалатинской области и на Южный Алтай, что позволило ему проследить историческую динамику «правительственной» и «народной» колонизации края, начиная с XVII в. По его мнению, зачастую «народная» колонизация (звероловы, «землепроходы» и др.) предшествовала «правительственной», которой оставалось только официально закреплять русские поселения. «Прилив русского населения в Южный Алтай <...> имеет много общего <...> с движением русского люда в старое время из Московского центра на средний и нижний Дон. Будет ли это раскольник, укрывающийся от карающей власти; подневольный ли фабричный, не вынесший тяжелых условий жизни на горных алтайских заводах и в рудниках; будет ли это отважный промышленник-зверолов, храбро ставивший свою избушку в совсем безлюдном месте, или, наконец, просто тот сорви-голова, которому везде тесно и неудобно, — всем им найдется место в глухом Бухтарминском краю». См.: Шмурло Е. Ф. Русские поселения за Южным Алтайским хребтом на китайской границе // Записки Западно-Сибирского отдела ИРГО. 1898. Кн. XXV. Омск, 1898. С. 9.

165. Речь идет о Кольванской области, учрежденной реформой, начатой на юге Западной Сибири в мае 1779 г. по повелению Екатерины II (центр области — Бердский острог, переименованный в город Кольвань). Упразднена Павлом I в декабре 1796 г.

166. Ясашная деревня (от тюрк, «ясак» — подать натурой) — в январе 1792 г. вышел указ импера-

трицы Екатерины II, согласно которому население Камня было обложено натуральным налогом, «ясаком», подобно инородцам.

167. Марфа Посадница — историческая личность, вдова новгородского посадника (правителя города) И. А. Борецкого, в 1471 г. вместе с сыном Дмитрием возглавила враждебную Ивану III партию новгородских бояр, желавших перейти в подданство в Литовское княжество, однако новгородское воинство потерпело поражение от московской рати в битве на реке Шелони. В переносном значении — символ сильной, властной и справедливой женщины-правительницы.

168. Причельшек (причельник) — верхний или нижний косяк в дверях и окнах.

169. Петров день — день святых апостолов Петра и Павла, приходящийся на 29 июня (12 июля).

170. 1911 г. — год, проведенный автором в крае (примечание Гребенщикова).

## ПИСЬМА К ДРУЗЬЯМ

Под диктовку интимности. Жизнь Алтая. 1912. 11 октября. №226.

171. Речь идет о деятельности Гребенщикова как редактора газеты «Жизнь Алтая». Во время его поездки в Петербург обязанности редактора исполнял А. И. Шапошников (1880—1937).

172. Летом 1907 г. Гребенщиков отправился в свою первую заграничную поездку, посетив Италию, о чем свидетельствует его рассказ «В Венеции. Впечатления сибиряка», датированный августом 1907 г. (Омское слово. 1909 — 19 апреля. №94; 21 апреля. №95), Ниццу и Монте-Карло.

## ПОДОРОЖНАЯ МОЗАИКА

Жизнь Алтая. 1912. 14 октября. №229.

173. Забаллотированный — не избранный на выборах; сравнение объясняется злободневной темой сложных взаимоотношений союзников по военно-политическим блокам Европы незадолго до Первой мировой войны.

174. В 1910-х гг. стихи Гребенщикова печатались в «Омском слове», «Сибирской жизни», «Жизни Алтая» и др. газетах. Критик Илья Савченко считал Гребенщикова «поэтом умирающего быта сибирской деревни» (Жизнь Алтая. 1913. 22 декабря. №284).

175. В 1911 г. население с. Камень составляло 15701 чел. (в 1915 г. преобразовано в безуездный город). По торговому обороту в нач. XX в. Камень занимал четвертое место в Томской губернии.

176. В декабре 1908 — апреле 1909 г Гребенщиков редактировал издаваемую А. Г. Сунгуровым газету «Омское слово». «Степной» генерал-губернатор — губернатор Степного края О. Е. Шмит. Редактор и издатель были арестованы за перепечатку недозволенных сведений из газеты «Слово» (СПб., 1903—1909) о событиях в Тюмени. См.: Рожнова С. П. Проза и публицистика журнала «Сибирские вопросы» // Очерки литературы и критики Сибири (XVII—XX вв.). Новосибирск, 1976. С. 206.

177. Названная сумма весьма солидна по тем временам: пуд (16 кг) муки стоил на рынках Сибири от 1 руб. до 1,5 руб., пуд сливочного масла — от 13 до 15 руб.

178. Село основано в 1910 г. крестьянами-переселенцами из южных губерний России, в 1914 г. получило статус города. В 1913 г. насчитывало 500 жилых домов.

179. Новониколаевск, получивший статус города в 1903 г., железнодорожный узел Транссибирской магистрали, быстро вырос как крупный центр торговли: к 1 января 1912 г. население Новониколаевска составляло, по данным Н. П. Литвинова, 63552 человек.

180. За честь называться «Сибирскими Афинами» в XIX в. спорили Барнаул, Томск и Иркутск. После открытия первого за Уралом университета (1888) победу одержал Томск.

## НА ОТКРЫТИИ ДОМА НАУКИ

Жизнь Алтая. 1912. 18 октября. №232.

181. Петр Иванович Макушин (1844–1926) — русский деятель просвещения, книгоиздатель, основатель книжной торговли в Сибири, издатель «Сибирской газеты» (1880–1888) и «Сибирской жизни» (1894–1919).

182. Макарий (в миру Михаил Александрович Невский) (1835–1922) — иерарх русской православной церкви, духовный писатель. Был начальником Алтайской духовной миссии, затем архиепископом Томским и Барнаульским. В последние годы жизни — митрополит Московский.

183. Алексей Иванович Макушин (1856–1927) — брат П. И. Макушина, врач, общественный деятель, председатель комитета по строительству Дома Науки.

184. Горохов Сергей Владимирович Горохов — почетный гражданин, сын томского купца 1-й гильдии, владельца торгового дома «В. А. Горохов».

185. Сведений не выявлено.

186. Александр Васильевич Адрианов (1853–1920) — этнограф, археолог, публицист, сотрудник томских и иркутских газет; о Завадовском и Вос-

кресенском сведений не выявлено; Сергей Викторович Лобанов (1870–1930) — профессор медицинского факультета Томского университета.

187. Литературно-художественный кружок томской интеллигенции организован осенью 1909 г. профессором Томского университета М. Н. Соболевым. На регулярных заседаниях члены кружка выступали с докладами на литературные темы, воспоминаниями, вечера заканчивались, как правило, музыкальными номерами.

188. Николай Яковлевич Новомбергский (1871–1949) — юрист, автор труда «Остров Сахалин» (1903), ординарный профессор кафедры полицейского права Томского университета; принимал активное участие в общественной жизни Томска.

189. Выступление Гребенщикова, наряду с другими, опубликовано в «Сибирской жизни» 10 октября 1912 г. (№224).

## НЕДЕЛЯ В ТОМСКЕ

Жизнь Алтая. 1912. 25 октября. №237.

190. Рассказ В. Я. Шишкова «Теща» был опубликован в «Жизни Алтая» 23 сентября 1912 г. (№212).

191. Тунгузы — прежнее название эвенков, народности, населяющей таежную зону Восточной Сибири.

192. Михаил Михайлович Щеглов (1885–1955) — художник. Учился в Строгановском училище в Москве. В 1906–1913 гг. жил и работал в Томске, преподавал рисование в Коммерческом училище.

193. Иван Дмитриевич Сытин (1851–1934) — владелец одного из крупнейших книгоиздательств России.

194. Прежнее название хантов, народности, живущей по нижнему течению Оби.

195. Сведений не выявлено.

196. Речь идет о дружеском шарже М. М. Щеглова, впервые опубликованном в бесплатном иллюстрированном приложении к газете «Сибирская жизнь» (1913. 15 января. №12).

197. Николай Михайлович Ядринцев (1842–1894) — журналист, публицист, поэт, ближайший друг и соратник Потанина, один из идеологов сибирского областничества.

198. Всеволод Михайлович Крутовский (1964–1945) — садовод, журналист, сотрудник томских газет.

199. Возможно, поэт Павел Радимов (1887–1967), в 1914–1916 гг. его публикации встречаются в томских изданиях — газете «Сибирская жизнь» и журнале «Сибирский студент».

200. Мария Георгиевна Васильева-Потанина (1863–1943) — уроженка Барнаула, поэтесса, вторая жена Потанина. Автор единственного сборника стихов «Песни сибирячки» (СПб., 1901).

201. Борис Петрович Вейнберг (1871–1942) — физик, профессор Томского Технологического института и Томского университета (1909–1924), сын П. И. Вейнберга, поэта, переводчика, историка литературы. М. Е. Вейнберг — супруга Б. П. Вейнберга.

202. Василий Иванович Анучин (1875–1945) — этнограф, прозаик, публицист, автор «Рассказов сибиряка» (СПб., 1890); Георгий Андреевич Вяткин (1885–1941) — поэт, прозаик, сотрудник «Сибирской жизни»; Владимир Михайлович Бахметьев (1885–1963) — прозаик, драматург, литературный критик. Оказался в Сибири в ссылке за участие в революционной деятельности.

203. Рассказ «Суд скорый» опубликован в сборнике В. Я. Шишкова «Сибирский сказ» (Пг.: Изд-во «Огни», 1916).

204. Речь идет о литературных сборниках, издававшихся при участии М. Горького петербургским книжным издательством «Знание». Публикация «сибирского» сборника «Знания» не состоялась.

## **ЗА УРАЛ**

Жизнь Алтая. 1912. 4 ноября. №246.

205. Военно-политическая обстановка на Балканах, «пороховом погребке» Европы, была дежурной темой разговоров в начале 1910-х гг.

206. Старообрядцы, оказавшиеся «в предгорьях Алтая задолго до известного горнопромышленника Демидова», как пишет Гребенщиков в историко-этнографическом очерке «Алтайская Русь».

## **НА НЕВЕ-РЕКЕ**

Жизнь Алтая. 1912. 2 декабря. №269.

207. По всей видимости, это был третий приезд Гребенщикова в Петербург. Ранее он побывал здесь в декабре 1907 г., о чем свидетельствует его письмо Е. П. Карпову от 17 декабря 1907 г. с указанием места жительства в Петербурге (Невский, угол Литейного, 59, кв. 19), и в марте 1910 г. — стихотворение «Девичья горенка» (Сибирская жизнь. 1910. 4 апреля. №75) содержит указание на дату и место создания: 18 марта 1910 г., Санкт-Петербург.

208. Речь идет о реках и урочищах Горного Алтая, которые Гребенщиков преодолевал летом 1911 г. в этнографической экспедиции в долине реки Бухтармы.

## **В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ**

Жизнь Алтая. 1912. 2 декабря. №269.

209. Василий Михайлович Вершинин (1874—1946) — владелец типографии «Алтайское печатное дело», издатель газеты «Жизнь Алтая», депутат

- 4-й Государственной Думы от Томской губернии.
210. Бывший дворец князя Г. А. Потемкина-Таврического, построен в 1783–1789 гг. архитектором И. Е. Старовым. В 1906–1917 гг. — место заседаний Государственной Думы.
211. Действовала с ноября 1912 г. по февраль 1917 г., формально была распущена в начале октября 1917г.
212. Имеется в виду второй этаж конки, так называемый «империял».
213. Жупан — верхняя одежда украинцев и поляков, род полукафтана.
214. Владимир Митрофанович Пуришкевич (1870–1920) — монархист, один из лидеров крайне правых депутатов 2-й-4-й Государственной Думы.
215. Иван Яковлевич Голубев (1841–1918) — русский государственный деятель, вице-председатель (временно исполняющий обязанности) Государственного совета Российской империи. Открывал заседания Государственной думы второго, третьего и четвертого созывов.
216. Михаил Владимирович Родзянко (1859–1924) — один из лидеров партии октябристов («Союз 17 октября») председатель 3-й и 4-й Государственных дум, председатель Временного Комитета Государственной думы в 1917 г. Автор мемуаров «Крушение империи» (1929).
217. В ежедневной томской газете «Утро Сибири» был опубликован фельетон «Хождение Гребенщикова за три моря», в котором высмеивался очерк «Неделя в Томске», а его автор был назван «тщеславным, наивным и себялюбивым писателем».



## СРЕДИ ПИСАТЕЛЕЙ

Жизнь Алтая. 1912. 18 декабря. №280.

218. Гребенщиков инициировал эпистолярные контакты с М. Горьким письмом от апреля 1911г. См.: Письма Г.Д.Гребенщикова Горькому (1911–1928) / Вступ. ст., подготовка текста и примечания Л. В. Суматохиной // Горький в зеркале эпохи (Неизданная переписка). — М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 307–311.

219. Евгений Александрович Ляцкий (1869–1942) — критик, историк литературы, этнограф, фольклорист, прозаик.

220. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852–1912) — прозаик, автор широко известного романа «Приваловские миллионы» (1883, 1897).

221. Федор Федорович Фидлер (1859–?) — немецкий литератор, живший в России, переводчик на немецкий язык русской классической поэзии. Письмо Гребенщикова Ф. Ф. Филлеру от 19 октября 1912 г. с просьбой об участии «в чествовании Мамина-Сибиряка... от имени молодой сибирской литературы». См.: Гребенщиков Г. Д. Письма (1907–1917). Книга вторая. — Бийск, 2010. С. 18-19.

222. Ксения Михайловна Жихарева (1873–1953) — литератор, известная переводчица, в 1914–1924 гг. вторая жена В. Я. Шишкова.

223. «Приношение» Г.Д.Гребенщикова — сборник «В просторах Сибири» с дарственной надписью «Доброму другу русских литераторов Ф. Ф. Филлеру Георгий Гребенщиков. 4 Ноября 1913 г. СПб», который хранится в Рукописном отделе ИРЛИ РАН. (Сообщено А. А. Санниковой).

224. Николай Иванович Кареев (1850–1931) — историк, публицист. Автор семитомной «Истории Западной Европы в новое время» (1892–1917).
225. Александр Алексеевич Измайлов (1873–1931) — критик, журналист.
226. Аполлон Аполлонович Коринфский (1868–1937) — поэт, прозаик, автор стихотворных рассказов из народной жизни «Волга: Сказания, картины и думы» (М., 1903).
227. Федор Кузьмич Сологуб (Тетерников) (1863–1927) — поэт, прозаик, драматург, переводчик. Автор романа «Мелкий бес» (1907).
228. Надежда Александровна Тэффи (Бучинская) (1872–1952) — писательница, широко известная в 1910-е гг. своими юмористическими рассказами. В «Жизни Алтая» в 1912 г. были перепечатаны ее рассказы: «Палагея» (15 июня. №132), «Письма» (12 июля. №154), «Инкогнито» (29 августа. №193).
229. Александр Степанович Рославлев (1883–1920) — поэт. В «Жизни Алтая» (1913. 17 марта. №61) напечатана рецензия Гребенщикова «Писатель буйных сил» на его «сборник стихотворений, второй том рассказов и книжку сказок». Дмитрий Николаевич Овсянко-Куликовский (1853–1920) — литературовед, лингвист, критик, публицист. Автор трехтомной «Истории русской интеллигенции» (1906–1911).
230. Владимир Владимирович Сладкопевцев (1876–1957) — актер, чтец, педагог. С 1907 г. — актер театра Литературно-художественного общества в Петербурге, играл характерные и комедийные роли. Автор книги «Мои рассказы» (в двух томах) (СПб., 1912–1914).
231. Владимир Николаевич Ладыженский (1859–1932) — автор рассказов и сказок для детей «На пашне» (М., 1893), сборников прозы и поэтических сборников.

232. Валентина Георгиевна, жена писателя Евгения Николаевича Чирикова (1864–1932); Николай Фридрихович Олигер (1882–1919) — писатель, автор книг, посвященных сибирской каторге и ссылке.

233. Петр Васильевич Быков (1844–1930) — писатель, критик, историк литературы, библиограф. Евтихий Павлович Карпов (1857–1926) — драматург, режиссер, мемуарист. Письма Г. Д. Гребенщикова Е. П. Карпову (1907–1908, 1912, 1916) опубликованы: Гребенщиков Г. Д. Письма (1907–1917). Книга вторая. Книга вторая. — Бийск, 2010. С. 6–12.

234. Сергей Николаевич Сергеев-Ценский (1875–1958) — писатель, автор повестей «Печаль полей» (1909), «Пристав Дерябин» (1911), «Наклонная Елена» (1913); Виктор Васильевич Муйжель (1880–1824) — писатель, автор рассказов о «мрачной», «кошмарной» жизни крестьянства. Александр Серафимович Серафимович (Попов) (1863–1949) — писатель, автор романа «Город в степи» (1906) и многочисленных рассказов.

## ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Жизнь Алтая. 1912. 30 декабря №289.

235. Федор Иванович Шаляпин (1873–1938) с 1899 г. служил в Большом театре и Мариинском одновременно. По его инициативе и под его режиссерским руководством в Мариинском театре была поставлена опера М. П. Мусоргского «Хованщина». Премьера состоялась 7 ноября 1911 г. Ф. И. Шаляпин исполнял партию Досифея.

236. В. П. Сукачев (1849–1920) — городской голова Иркутска (1885–1887), с 1905 г. жил в Петербурге, издатель журнала «Сибирские вопросы».

237. Мария Ивановна Долина (1869–1919) — певица (контральто) исполняла песню М. П. Му-

соргского «Калистрат» (1864) на стихотворение Н. А. Некрасова, написанное в 1863 г.

238. Ядвига Залеская, выпускница Варшавской консерватории, в 1888–1894 гг. вместе с мужем, профессором Томского университета, жила в Томске, в 1894 г. семья переехала в Петербург.

239. Митрофан Ефимович Пятницкий (1864–1927) — собиратель и исполнитель народных песен, основатель и руководитель Русского народного хора (1910).

240. Никифор Михайлович Барышев (1879–1944) — оперный артист (тенор), окончил Петербургскую консерваторию, в 1909–1915 гг. пел в Петербургском Народном доме в антрепризе Н. Н. Фигнера; Вильгельм Наполеонович Гартевельд (1859–1927) — композитор, дирижер, автор нескольких песенных сборников «Песни с каторги» (СПб., 1908, 1909), основанных на фольклорном материале, собранном в 1908 г. в Сибири; Александр Сергеевич Даргомыжский (1813–1869) — русский композитор. О каком произведении идет речь, не установлено.

241. Имеется в виду «Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым» (1859–1918), основанное по инициативе писателя Д. В. Григоровича.

242. Мария Гавриловна Савина (1854–1915) — актриса Александрійского театра (1874–1915); Стравинская — ошибка автора, речь идет о Варваре Васильевне Стрельской (1838–1915) — замечательной исполнительнице ролей в пьесах А. Н. Островского; Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова (1866–1948) — актриса Александрійского театра с 1886 г.; Григорий Григорьевич Ге (1868–1942) — артист и драматург, племянник художника Н. Н. Ге; Владимир Николаевич Давыдов (1849–1925) — выдающийся актер Александрійского театра с 1880 г.; Николай Николаевич Ходотов (1878–1932) — актер

Александрийского театра с 1898 г.; Иван Иванович Судьбинин (1866–1919) — актер на ампула русских бытовых персонажей, в Александрийском театре с 1909 г.; Юрий Михайлович Юрьев (1872–1948) — актер героико-романтической школы, в Александрийском театре с 1893 г.

243. Илья Яковлевич Гинцбург (1859–1939) — известный скульптор, автор нескольких скульптурных изображений Л. Н. Толстого. Предположительно речь идет о посмертном монументальном портрете писателя (1911), сидящем в кресле (тонированный гипс), общая с деревянным постаментом высота скульптуры — 285 см.

244. Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) — историк, юрист, социолог, издатель журнала «Вестник Европы» (1909–1916).

245. Эмма Львовна Штембер — пианистка, воспитанница Петербургской консерватории.

246. Речь идет о третьей части сонаты для фортепиано № 2 си-бемоль минор Фридерика Шопена (1810–1949) — «Похоронный марш» (Marche funebre), написанный в 1837 г.

247. Драмы Л. Н. Толстого «Власть тьмы» (1886), и «Живой труп», созданная в 1910 г., опубликованная в 1911 г.

248. Сведений об исполнительнице не найдено.

249. Мария Андреевна Ведринская (1877–1947) — актриса драматического театра В. Ф. Комиссаржевской (1904–1906) и Александрийского театра (1906–1909), участвовала в спектаклях и музыкальных вечерах В. Э. Мейерхольда.

250. «От ней все качества» — двухактная пьеса Л. Н. Толстого, написана в 1910 г., впервые опубликована в 1911 г. В этом же году была поставлена в Александрийском театре.

251. В. И. Лосев — дополнительных сведений не найдено; Сергей Порфирьевич Швецов (1858–1930) — статистик, с 1880 г. проживал в Сибири как политический ссыльный; Николай Михайлович Павлинов — сибиряк, в начале 1860-х гг. окончил Санкт-Петербургский университет, затем работал в Иркутске; Владимир Иванович Дзюбинский (1860–1927) — депутат 3-й Государственной думы от Тобольской губернии, член сибирской парламентской группы.

## В ФИНЛЯНДИИ У И. Е. РЕПИНА

Жизнь Алтая. 1913 — 13 января. №11.

252. Илья Ефимович Репин (1844–1930) — выдающийся русский живописец. В 1903 г. он поселился на постоянное жительство в усадьбе Пенаты, в 45 км от Петербурга, на берегу Финского залива.

253. Наталья Борисовна Нордман-Северова (1863–1914) — вторая жена И. Е. Репина, прозаик, драматург, публицист.

254. Речь идет, скорее всего, о «Союзе молодежи», обществе художников-модернистов (1909–1917). В него входили Ю. Анненков, Д. Бурлюк, В. Татлин, П. Филонов, М. Шагал, А. Экстер. В организованной «Союзом молодежи» в Петербурге выставке (1912) участвовала также группировка «Ослиный хвост» (Н. Гончарова, М. Ларионов, К. Малевич).

255. Иван Николаевич Крамской (1837–1887) — русский живописец, рисовальщик, художественный критик, один из создателей Товарищества передвижных художественных выставок.

256. Николай Дмитриевич Ермаков (1867–1927) — коллекционер, художественный деятель. Известен как большой знаток и ценитель художественных произведений, хозяин большой коллекции

произведений изобразительного искусства; был в дружеских отношениях с И. Е. Репиным, имел значительное количество его произведений.

257. Архип Иванович Куинджи (1841–1910) — русский живописец, пейзажист. Общество художников им. Куинджи (1909–1931) было основано по его инициативе для сохранения и развития реалистических традиций в искусстве, а также для охраны памятников культуры.

258. Корней Иванович Чуковский (1882–1969) — писатель, литературный критик, литературовед. Сосед И. Е. Репина по даче в Куоккале, автор воспоминаний о нем. Предполагаемая поездка не состоялась.

## В ХРАМАХ ИСКУССТВА И НАУКИ

Жизнь Алтая. 1913. 13 января. №11.

259I. Полное название — Русский музей Императора Александра III (основан в 1895 г.).

260. Автором работы является известный скульптор Марк Матвеевич Антокольский (1843–1902).

261. Цитата из монолога Пимена, персонажа трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов»: «Еще одно, последнее сказанье / И летопись окончена моя».

262. Федор Федорович Каменский (1836–1913) — русский скульптор. Выпускник Академии художеств, с 1863 по 1872 г. жил в Италии, с 1873 г. — в США.

263. О Вельском сведений не найдено. Предположительно мраморная скульптура С. Т. Коненкова «Сон» (1913), созданная под впечатлениями пребывания в Греции в 1912-1913 гг.

264. Венера Милосская — древнегреческая скульптура из мрамора (II в. до н.э.).

265. Ботик (от голл. boot — небольшое гребное или парусное судно) — национальная реликвия в память о создании Петром I военно-морского флота России.

## **СНОВА В ГЛУШЬ**

Жизнь Алтая. 1913. 20 января. №17.

266. Рождественский сочельник отмечался 24 декабря (по ст. ст.).

267. В. И. Даль разъясняет это сибирское выражение как «уши», «столбы», «пасолнца», «побочные солнца или луны».

268. По В. И. Даю, мазурик — карманный вор, жулик; мазурничать — промышлять карманным воровством, особенно на ярмарках и на торгах.

269. В словаре В. И. Даля «уброд» — рыхлый, глубокий снег.







## СОДЕРЖАНИЕ

<i>От составителя</i> .....	5
Н. Н. Яновский. «Г. Д. Гребенщиков в Сибири».....	9

### ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

#### Повести

В полях.....	55
Ханство Батырбека.....	87

#### Рассказы

Степь да небо.....	155
Опора.....	163
По указу.....	181
Под открытым небом.....	189
Убежище.....	195
Лесные короли.....	209
Весной.....	237

### ПУБЛИЦИСТИКА

#### Литературно-этнографический очерк

Река Уба и Убинские люди.....	255
-------------------------------	-----

#### Историко-этнографический очерк

Алтайская Русь.....	341
---------------------	-----

### ПИСЬМА К ДРУЗЬЯМ

Цикл очерков.....	381
Примечания.....	411

Георгий Дмитриевич Гребенщиков

## ИЗБРАННОЕ

Редактор-составитель — А. В. Онофрейчук  
Художественное оформление — Ю. В. Раменская  
Каллиграфия — О. А. Алексеенко  
Портрет Г. Д. Гребенщикова — Н. С. Зайков  
Корректор — Ю. А. Зименкова  
Верстка — Е. П. Василенко



Подписано в печать 01.08.2022 г.  
Формат 84x108/32. Печать офсетная. Бумага мелованная  
Тираж 1500 экз. Заказ №462.

Отпечатано в типографии ОАО «Алтайский дом печати».  
656043, г. Барнаул, ул. Б. Олонская, 28.  
тел.: 8 (3852) 63-79-71,  
e-mail: zakaz@adp.alt.ru











